

НОВИЙ
МІР

2

1932

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 2

СТАТ — формат Б/5 176×250

Уполн. Глав. В 20841. Объем 13 печ. лист. по 64.000 знаков. Техн. ред. В. Белегодь. Зап. 1135.
Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
1. Демьян БЕДНЫЙ. — Как четырнадцатая дивизия в рай шла, <i>пьеса</i>	5
2. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Мадагаскар, <i>повесть</i>	38
3. Бор. ПАСТЕРНАК. — Три стихотворения	82
4. М. ШОЛОХОВ.—Поднятая целина, <i>роман</i> , продолжение	84
5. Ф. ГЛАДКОВ. — Энергия, <i>роман</i> , продолжение	103
6. Лутфей ГУМИРОВ. — Байский плен, <i>отрывок из поэмы</i> «Таныб»	135
7. И. ЕВДОКИМОВ. — Чегодань, <i>рассказ</i>	138
8. Ф. КРЕТОВ. — Февральская революция, <i>статья</i>	147
ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
9. М. ЛУКЬЯНОВ. — Столица ткачей	169
10. П. ЛУКНИЦКИЙ. — За «синим памирским камнем», <i>очерк</i>	176
ИЗ ПРОШЛОГО:	
11. Неопубликованные письма Валерия Брюсова и Алекса- ндра Блока с <i>примечаниями И. Ямпольского</i>	190

Как четырнадцатая дивизия в рай шла

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Занимательное, дива и любопытства достойное, силою благочестия и убеждения исполненное и красноречием дышащее народное зрелище в трех священнодействиях с музыкой, пением и танцами¹⁾.

ПЕРВЫЙ АКТ

Вступление

Параллельно справа и слева русские и немецкие окопы. Видны головы русских солдат в фуражках и немецких солдат в касках. Щегина штыков там и тут. Молятся у русских поп с кадилом в руках, у немцев — пастор с крестом в руках.

Поп. С на-а-ами бог! Разумеете, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог!

Пастор. Готт мит унс! Готт мит унс! Эре зей готт ин дер геге!

Поп. Господи, Иисусе Христе, бо-о-о-оже на-а-аш, подаждь нам силу и крепость для одоления врагов на-а-аших...

Пастор. Господи, господи, да-руй всемогущество пушкам нашим, рас-пространи средь врагов ядовитые газы наши...

Поп. Сотри, господи, с лица земли всех супротивников наших с женами, чадами и домочадцами и-и-и-их...

Пастор. Да будут бесплодны поля и жены врагов наших, да превратятся в нищих дети их, да будут опозорены дочери их...

Поп. Ангелов всегубительных пошли на них, воздухом тлетворным отрави кровь их, нашли страха, смятение и

¹⁾ Пьеса является попыткой дать комсомольский антирелигиозный народно-художественный «балаган», «лубок». Соответственно с такой установкой допустимо применение максимального шаржа как в декорациях и костюмах, так и в гриме, и игре. Шарж, однако, не должен переходить в безудержное шутовство, которым бы смазывались драматические моменты.

слепоту на воинов их и безумие на военачальников и-и-и-их...

Пастор. Да ослепнут враги наши, да выдохнется их боевая ярость..

Поп. Господи, покарай Германию!

Пастор. Готт, штрафе Русслянд!

Поп. Ты бо еси крепость наша, и сила, и слава (бормочет)... ныне, и при-сно, и во веки веко-о-о-ов...

Пастор. Эре зей готт ин дер геге! Ист готт фюр унс, вер маг видер унс...

Поп. Ами-и-и-и-инь!

ОБА ныряют в окопы.

СОЛДАТЫ там и тут берут ружья на при-це!

Картина 1-я

Военная «заря». Команда — «На молитву!» Хор мужских голосов грубо солдатски поет «Спаси, господи, люди твоя и т. д.» Замирает.

Занавес еще не поднят За занавесом слышен голос попа:

— Тпр-р-р-ру-у-у!.. Приехали! Стой ты, неладная... Распрягай, Кузьма... Горячая она. Не пои ее сразу Простудишь... Где покупочки-то?.. Давай сюда, давай... Осторожнее, уронишь дьявол... То-то матушке тридцать три удовольствия... (Поет). Спаси, го-о-споди лю-ю-ди твоя-я-я-я...

(Выходит из-за занавеса на авансцену, перегруженный всякими свертками. Идет медленно вдоль ramпы, хитро скáшивая глаза на свертки, и продолжает петь:)

И бла - го - сло - ви до - сто - я - ни - е
тво-е-е-е-е...

(Скороговоркой). И мое достояние то-
же.

Попадья в шелку, и поп не в рогоже.
(Продолжает петь) Побе-е-ды благовер-
ному императору нашему Николаю Але-
ксандровичу-у-у на супротивные да-а-
а-ру-я...

(Говорит) Ой-ё-ё-ё-ё!

С победами чтой-то не таё...

Бьют нас супротивные, сколько уго-
дно.

Плачет Русь всенародно

И в праздники, и в будни,

До полдня, и по полудни.

Зарождаётся смута в разоренном
народе.

Стонут все под напором тяжелой
судьбы...

Во всем моем—не малом—приходе
Непроплаканной нету избы.

Устал я, роздыху не зная,

Убиенных воинов поминая.

Все панихиды, да панихиды!..

(Лукаво)

Положим, что нету мне в этом
обиды.

Даже наоборот.

Не без выгоды я утешаю народ

И в загробную жизнь укрепляю в
нем веру.

С чего-б и покупочки эти, к при-
меру?

(Косит глаза на покупочки)

Пред Христом, пред небесным ца-
рем,

Не будь по солдатам вдовьих по-
минок,

Попадья не имела бы столько нови-
нок.

Тем и берем.

Тем и стоим.

Царство небесное им,

Прихожанам моим—

(привычной скороговоркой)

Кикину Андрону,

Заикину Софрону,

Киловатому Ивану,

Небогатому Степану,

Кучину Алексею,

Онучину Елисею,

Косых Кузьме,

Босых Фоме,

Шалому Захару,
Беспалому Макару,
Самоварову Гавриле,
Угарову Вавиле,
Митькину Климу,
Титькину Касиму...

(Кончив скороговорку).

Ох-ох-ох!.. Наша жизнь... Чье она
рукоделье?

Вправду-ль божье?.. Подумать
всерьез...

Вот сегодня купил попадье оже-
релье...

Ожерелье... из вдовьиних слез.

(Весело)

Хе-хе-хе! Попадья и не ждет этой
штуки.

Ожерелье, хе-хе!.. Стоит денег теперь

(Уходит за занавес)

Ма-а-аты!.. Скорей!.. Что ты там?

(Стучит). Отворяй же мне дверь!

Вон подарочков сколько привез!

Полны руки!

Картина 2-я

Часть поповской горницы. Стол. Икона в
углу. На стене большой портрет главковержа
Николая Николаевича и большая любочная
картина, изображающая казака Крючкова,
звездшего на копье полдюжины немцев. На
столе самовар. Чайный прибор. Пряники и
конфеты в вазочке. Мерцает лампадка перед
образом. В глубине сцены открытая дверь в
спальню. Видна гора подушек, образа и тоже
мерцающая лампадка.

За столом попадья и ухарь-молодчик, кулац-
кий сын. Сидят в обнимку, целуются врасос
после каждой фразы.

Попадья. Мит-тя-я-я!

Ухарь. (Ввиваясь губами в попадью)

М-му-у-ум!

Попадья. Ми-и-итенька-а-а!

Ухарь. М-м-му-у-у-м-м!

Попадья. Ах, ты не знаешь, Ми-
тенька...

Ухарь. Чего не знаешь?

Попадья. Бою-ю-юсь я.

Ухарь. Чего-же ты боишь-си?

Попадья. Война-то все идет да
идет.

Ухарь. И пушай себе идет.

Попадья. Народу-то сколько пе-
реводится.

Ухарь. И пушай переводится. Нам-
то што?

П о п а д ь я. Царь новую мобилизацию об'явит.

У х а р ь. И пушай об'являеть.

П о п а д ь я. Бо-ю-ю-юсь я.

У х а р ь. Чего бояться?

П о п а д ь я. В солдаты тебя возьмут. (Всклиывает).

У х а р ь. Небось, не возьмут.

П о п а д ь я. На войну пойде-ешь. (Чуть не ревет).

У х а р ь. Авось, не пойду.

П о п а д ь я. Убью-ю-ю-ют тебя там.

У х а р ь. Пушай дураков убивают. А мы — умные.

П о п а д ь я. (Веселее). Чем-же ты умный, Митенька?

У х а р ь. Тем, что меня не убьют.

П о п а д ь я. Почему-ж тебя не убьют?

У х а р ь. Потому что я на войну не пойду.

П о п а д ь я. Почему-ж ты на войну не пойдешь?

У х а р ь. Потому что меня в солдаты не возьмут.

П о п а д ь я. (Совсем разыгравшись). Почему-ж тебя в солдаты не возьмут.

У х а р ь. Потому что у тятеньки деньги есть. Откупимси.

П о п а д ь я. (Тревожно). Все про вас это знают. Донесут.

У х а р ь. Кому донесут.

П о п а д ь я. Начальству.

У х а р ь. Начальство тоже умное.

П о п а д ь я. А чем оно умное?

У х а р ь. Знает, кого на войну брать, а с кого деньги за белый билет драть.

П о п а д ь я. Покажи твой белый билет.

У х а р ь. (Вынимает книжечку. Передает попадье, щелкнув по книжке пальцем).

— Во!

П о п а д ь я. (Долго ее рассматривает, быстро целует и возвращает ухарю).

— Ах, как хорошо, что все вы умные!

Мить-тя-я-я-я!

У х а р ь. М-му-у-ум-м!

О б а. (Встают, обнявшись, и направляются спать).

П о п а д ь я. М-м-ми-и-и...

У х а р ь. М-мууу-у-у...

(Отскакивают друг от друга, потому что за дверями стучит и зовет поп).

П о п. Ма-а-а-ать!.. Скорее... Отворяй... Встречай мужа с подарочками... Ну,

чего ты та-а-а-ам... (Стучит). Прихорашиваешься?

П о п а д ь я с у х а р е м (все это время мечутся. Наконец, ухарь лезет под стол. Попадья выскакивает в сени, торопливо поправляя прическу и оглаживая кофточку. Открыв двери попу, пьются назад к столу).

П о п. (Входя в коми.). Без прихорашиваний хороша-а-а... Ух ты!.. Ну, бери-же, бери скорей... От радости, вижу, растерялася... К месту приросла... (Чмокает попадью в щеку). М-му-у-ум!

П о п а д ь я. (Не сходя с места, берет подарки и кладет на стол, не разбирая, что куда, успокоившись несколько только после того, как поп сел за стол).

(Поп снимает с себя верхнее платье — толстую рясу — и остается в подряснике. Садится к столу. Попадья подбегает к нему, целует несколько раз, быстро гладит полуплешную голову, потом хватается за попку).

П о п. Ну, гляди, гляди... Угодил я тебе, аль нет?

П о п а д ь я. Ах, какая прелесть!.. Это-ж чулки... Ах, какие чулки!.. А это... туфельки! Ну, где ты достал такие туфельки?..

П о п. Мало ли где? Были бы деньги.

П о п а д ь я. А эта шаль... Какая шаль!.. Цены ей нет.

П о п. Без цены ничего не бывает.

П о п а д ь я. Модеполам... Дивный!.. Дивный!.. Наверно не дешево тоже...

П о п. Бывают вещи подороже.

П о п а д ь я. Ах, это что-ж?.. Ожерелье!.. Ожерелье!.. Боже мой, какая прелесть!.. Чего оно стоит!

П о п. (Поморщившись) Чего стоит, не спрашивай. Знай, носи на помин... Тьфу!.. На здоровье!

П о п а д ь я. Какой ты добрый, Вася!.. Ну, как-же тебя благодарить?

П о п. (Подмигивая) Захочешь, найдешь как, го-го-го!

П о п а д ь я. Сумею-ли?

П о п. Захочешь, сумеешь, го-го-го!

П о п а д ь я. Чайку вот с вареньем... (Придвигает чашку, приготовленную для ухаря).

П о п. (Отодвигая чай). Спасибо. Авось, найдется что-либо послаще, го-го-го!

П о п а д ь я. Что послаще? (Потупившись) Уж ты, право... Лакомка... Прянички вот...

П о п. Прянички постные... Мне бы чего поскоромнее, го-го-го! (Щекочет попадью).

Попадь я. Ско-ром-ник!!.. Нескром-ник!!.. Вспомнил-бы: сан-то у тебя ведь священнический.

Поп. (Вставая). А сан на этот случай и сняты можно!

(Быстро снимает с себя подрясник. На попе сапоги, штаны, жилет, рубаха вышитая под жилетом. Вид сластолюбивого лавочника. Поет)

Осанна в вышних, осанна. (Говорит). Вот и нету сана! Снял. Чтобы не мешал, го-го-го! (Снимает жилет). Эта штука тоже без пользы. (Садится и хватается за сапоги). И сапоги заодно... Не в сапогах же, го-го-го! (Вскакивает босой). Что дальше снимать, го-го-го?

Попадь я. Ты же не в бане.

Поп. Сильна баня паром,

А попадь я — жаром.

Попадь я. Не обожгися.

Поп. Уже обожгла,

Как Ева Адаму, и душу, и тело

(Решительно хватаясь за пояс).

Разоблачуся сейчас до гола.

Кому какое до этого дело?

Попадь я. Красавец, подумать, какой. Аполлон!

Побойся икон!

Поп. Пугали судью законами,

А попа — иконами.

Смеялися оба — и поп и судья

(Всасывается попадь в щеку).

Баба — яд! Нет ее ядовитее.

До икон-ли мне, попадь я,

Коль нашло на меня... наитие!

(Начинает приплясывать и петь на мотив камаринской).

Бросим, мать, мы чаепитие.

На меня нашло наитие,

Сердца жаркое горенце,

Плоти буйное взбодрение.

Настроение любовное,

Помышление греховное.

Фу, ты! Ну, ты! Ноги гнуты!
Эх-ха-ха!

И попу не обойтиса без греха.

Подносили попу меду три
бадьи,

А попу нет слаще в свете —
попадьи.

Отче наш, иже еси на небесех,
Что есть слаще попадьи во
телесех?

Телеса есть чудо велие,
Божье суть бо рукоделие!

(Поп облапывает попадью и влечет ее к супружескому ложу. В это время раздастся стук в дверь. Попадь я пятается опять к столу).

Поп. Благословен грядый во имя господне! (Крестится). И кого это черт несет не в пору? (Плюется). Вот тебе и наитие!

(Надевает сапоги, подрясник и идет в сени. Возвращается с убогим старым крестьянином Досадливо).

— Дед Андрей?.. Эх ты, право...

А н д р е й. Добрый вечер, батюшка!
(Поп его крестит, он целует попу руку)

Извините, матушка! (Кланяется попадь)

Попадь я (растерянно). Спасибо... Спасибо...

Поп. (Нетерпеливо) Ну, ладно, ладно... За каким делом? Что так поздно? Не мог перетерпеть до утра?

А н д р е й. Дело не терпит, батюшка

Поп. Какое дело?

А н д р е й. (Старчески, неторопливо).

Прибилася ко мне утресь старушка.

Убогая побирушка,

Просилася с устатку прилечь.

Подсобил я ей взобраться на печь.

Вскипятила жена ей заветную травку.

А сейчас мы стащили старуху на лавку.

Бесперечь кашлем старуха давила-
лася,

А нынче у ей уж икотка появилася.

Губами шевелит, что-то молвить
старается...

Видать по всему, помирать соби-
рается...

Душа расстается старухина с те-
лом...

Поп. (В тон) Вот оно, за каким притесался ты делом... (Скребет затылок). Ин ладно... Приходится ити... Ступай Обожди там.

А н д р е й. (Уходит).

Поп. (Надевает рясу. Вынимает из ящика под иконой епитрахиль, оттуда же — крест, евангелие и дары, заворачивает все это в епитрахиль, задерживается, смотрит с сокрушением на попадью, собой усиленно прикрывающую стол, вздыхает, скребет затылок).

Я мигом обернусь... Час, однако, поздний. Ты двери-то возьми на крючок... Я постучусь, как вернусь. Ты... того..

Пригрей постельку... Да не засыпай без меня, го-го-го... (Уходит).

П о п а д ь я. (Подскакивает к двери, прислушивается к замирающим шагам, защелкивает крючки в сенях и в комнате. Становится среди комнаты, раскинув руки и исступленным полупологом зовет):

— Мить-тя-я-я-я!

У х а р ь. (Вылезает из под стола, отряхивается и вливается в попадью).

— М-м-му-у-ум-м-м!

О б а (замирают, потом медленно пятятся в спальню).

ИНТЕРМЕДИЯ.

Деревенская околица. Огоньки в домах.

Х о р.

- 1) вдов,
 - 2) стариков и
 - 3) военных инвалидов.
- Поют одновременно.

В д о в ы.

Все наши мужья на войне перебиты.

Не вернется в родную деревню никто.

— Не дождусь я Петра!—Не увижу Никиты!

Господи боже, за что?

Дети-сироты плачут, а кто им поможет?

Горьких слез наших вдовьих не осушит никто.

Господи боже, господи боже,

Господи боже, за что?

С т а р и к и.

Сыновья наши все на войне перебиты.

Не вернется к отцам-старикам уж никто.

— Не дождусь я Петра!—Не увижу Никиты!

Господи боже, за что?

Кто нам, старцам беспомощным, хилым, поможет?

Наших старческих слез не осушит никто.

Господи боже, господи боже,

Господи боже, за что?

Военные инвалиды.

Искалечены мы на войне, не добиты.

Наших рук, наших ног не вернет нам никто.

Лучше-б в братских могилах мы были зарыты.

Господи боже, за что?

Инвалидам беспомощным, кто нам поможет?

Безутешных калек не утешит никто.

Господи боже, господи боже,

Господи боже, за что?

(Поп медленно проходит мимо с дарами)

Картина 3-я

Убогая крестьянская изба. На лавке — головой к иконам — лежит старуха. Слабо поворачивает голову из стороны в сторону. Время от времени икает. Шевелит губами. Хозяйка — старенькая тоже — жалобно смотрит на нее, подперев подбородок рукой и качая головой. Входят поп и дед-Андрей.

П о п. Здравствуй, Пелагеюшка.

П е л а г е я. Здравствуйте, батюшка (Прикладывается к поповской руке).

П о п. Ну, как новопреста... болящая. то бишь?

П е л а г е я. Плохо ей, видать, батюшка. Не говорит ничего.

П о п. Авось все-же...

(Надевает поверх рясы епитрахиль, кладет умирающей старухе на грудь евангелие, одной рукой прикрывает старухе голову епитрахилью, в другой руке крест. Делает глазами хозяевам знак, чтоб ушли).

А н д р е й и П е л а г е я, потоптавшись, уходят.

П о п. (Проводит старухе крестом по губам, начинает исповедывать).

Звать тебя как, раба божия?

С т а р у х а. (Шевелит губами, хрипит).

П о п. Имя, имя какое твое православное?

С т а р у х а. (Издает нечто неразборчивое). Фр-р-р-р... Хр-р-р...

П о п. (Старается вслушаться). Фр-р-р-р!.. Фр-р-р-р!.. Федора, что-ли?

С т а р у х а. Фр-р-р-р!.. Фр-р-р-р!.. (Может отрицательно головой).

П о п. Федора, значит. (Смотря на публику, привычной скороговоркой, переходя часто в неразборчивое бормотанье). Боже, спасителю наш (неразб.)... рабу твою Феодору (неразб.)... вся содеянная, (неразб., потом отчетливо и повысив голос)... яко ты еси бог

наш, ныне и присно и во веки веков. (Еще что-то бормочет, потом) Скажи мне, раба божия, Феодора (Наклоняется. Не разборчиво бормочет).

Старуха. Фр-р-р-р!.. Хр-р-р-р!..

Поп. Эк расфыркалась! Слышу. Феодора, значит... Скажи мне, раба божия, Феодора (неразб.)... Не кощунствовала-ли?.. На иконы божии не плевали-ли?

Старуха. (Впадая все в большее беспокойство). Фр-р-р-р!.. Фр-р-р-р-р-р!..

Поп. Не растлила-ли еси девства твоего...

Старуха. (Силится подняться, мотает отчаянно головой, хрипит, откидывается назад и падает).

Поп. Не растлила... Девственница, значит? Вот так на!.. Так таки за всю жизнь... Скажи мне, раба божия...

Старуха. (Лежит неподвижно и молчит).

Поп. Не было ли какого блудного искушения... Или на кого воззрела еси с помыслом блудным...

Старуха. (В том же положении).

Поп. (Вглядывается). Мать ты моя!.. Отошла, никак! (Присматривается ближе, щупает рукой). Так и есть... Отошла... Девственница столетняя!.. Случай, действительно... (Скребет себе крестом плешь, а потом — крестом-же — скребет под-мышкой). Тек-тек-тек!.. Надо сообразить... Никто не проверит... Девственница, так девственница. (Скороговоркой). Владыко, господи... (неразб.)... душу рабы твоея Феодоры (неразб.) во веки веков. (Пристально вглядывается в старуху, начинает быстро шарить у нее за пазухой, вытаскивает кисет на шнуре, дергает и срывает шнур, трясет кисет у уха и удовлетворенно ослабляется).

— Позвякивает, хе-хе! (Еще трясет). До чего приятная старуха. царство ей небесное, рабе божией... (Озирается на дверь)... Девственнице Феодоре. (Сует кисет в карман, шарит в изголовьи, вынимает суму, выгребает оттуда всякую всячину — тряпье какое-то — сует и это в карман и кладет суму обратно)... Во веки веков... Аминь! (Встает, открывая дверь, делает знак войти. Входят хозяева).

Поп. — О-то-шла-а!

(Хозяева крестятся).

Андрей. Царство небесное!

Пелагея. (Пробует голосить, всплеснувши руками). Да на кого-о-о-ж ты на-а-с-с...

Поп. Брось, Пелагея, брось. Не время. Потом наголосишься. (Многозначительно). Слушайте, милые, в село то в наше, в Душегубовку, кого бог привел? (Лица хозяев вытягиваются). Девственницу непорочную!

Андрей и Пелагея. — Господи!.. Кого сподобились...

Поп. Сподобил нас господь душу праведную на тот свет напутствовать.

Андрей и Пелагея. — Слава тебе, господи!.. Привел бог на старости...—Девственница, скажи-ж ты!—

Поп. Всем обществом у церковного предела похороним с честью деву сию.

Андрей и Пелагея. — Опчеством!.. — Опчеством, батюшка!

Поп. Каждый расщедритя по силе своей...

Андрей. На такое дело, батюшка...

Пелагея. Торопливо вынимает откуда-то из угла платочек, разворачивает узелок, вынимает несколько пятак и сует батюшке).

Поп. Соседям дай знать, Андрей!.. Чтоб все село... Гроб и все такое... Забеги в церковную сторожку к сторожу Михею. Скажи, чтоб он немедленно отзвонил новопоставленную... как бишь, ее... Феодору.

(Снимает епитрахиль и заворачивает в нее свои принадлежности. Выходит, не переставая что-то говорить и жестикулировать. Хозяева, кланяясь и приговаривая «Господи! Сподобил! Девственница непорочная!» — выходят за попом).

В избе остается мертвая старуха. Через несколько времени стоящая за старухиним изголовьем лампа начинает давать большой и малый огонь, часто-часто мигает и гаснет. Мрак.

Слышно, как возвращаются Андрей и Пелагея. Оба возятся, сопят и кряхтят возле покойницы. Андрей несколько раз чиркает спичкой.

Пелагея. Пустая сума. Ничего нет.

Андрей. Полная была. Сам видел. Ищи лучше.

Пелагея. Пустая сума.

Андрей. Кисет на шее был.

Пелагея. И кисета нет. (Плачет) Ирод!.. Ирод!..

Андрей. Поисповедал, растуды его... Нищую ограбил, сукин сын!.. Покойницу обчистил, аспид!.. Все забрал... Погибели на тебя негу!.. Мы то, мы то

дураки, опростоволо-о-о-о-о-о-сились!.. (Ругается несвязно).

Пел а г е я. (Воет).

ИНТЕРМЕДИЯ.

Снова деревенская околица. Девушки. Две из них играют на гармошках. Остальные кружатся и поют поочередно частушки:

Ох вы, годы, наши годы.
Верно нету вас черней.
Это что за хороводы,
Если нет на них парней!

Ой ну! «Ай да ну!
Взяли Ваньку на войну,
Ванька там измучился,
Объ мне соскучился.

По ночам мне все не спится,
То любовь моя не спит.
А засну, так все мне снится:
На войне Ванек убит.

Ой, лихо мне:
Мой миленок на войне.
Без мово милашки,
Ходь иди в монашки.

У монашек есть монахи:
Знай, встречай ночных гостей.
А у нас ночные страхи:
С фронта ждем худых вестей.

То ли в петлю мне дорога,
То ли в омут я нырну.
Уж кончали-б, ради бога,
Эту царскую войну!

Мне грозит Семен из плену:
— Только сделай мне измену!—
Понапрасну что пенять,
Если не с кем изменять!

Ах зачем мне енти груди,
Ах, зачем мне ента стать?
Вы скажите, добры люди,
Где миленка мне достать?

Не спала бы я, не ела,
На миленка все-б глядела,
Целовала-б, миловала,
Передышки-б не давала!

Были парни, пляски, свисты,
Нынче жизнь—судьба лиха.
Эй, вы, девки-гармонисты,
Раздувай живея меха!

(Игра приобретает разудалый характер).

Грунь, Малань, живея играй!
Дунь! Не плачь, холера!
Круче юбки подбирай,
Кто за кавалера!

(Половина девушек подворачивают юбки и в танце изображают развязных кавалеров. Пары, танцуя, сближаются, пытаются друг друга страстно прижать, иллюзия натурально-го томления).

ТАНЕЦ ТОМЛЕНИЯ.

Кончается интермедия срывом гармошек на грустный мотив и общим девичьим истеричным плачем, переходящим в вой.
Мимо проходит с дарами ПОП.

Картина 4-я

Снова поповская комната. Полумрак. Из спальни выходит ухарь. Попадья, прикрывшись доскутным, пестрым одеялом, провожает его. У дверей замирают.

П о п а д ь я. М-мечь-тя-я-я!
У х а р ь. М-му-у-ум-м-м!

П о п а д ь я. (Тихо снимает крючок. Выходит в сени и возвращается). Никого не слышно, Митенька. Иди.

(Оба выходят в сени. Попадья возвращается, защелкнув снова дверь на крючок. Уходит в спальню, откуда выходит в полураздетом виде. Зажигает лампу. Ставит перед собой зеркало и начинает расплетать и заплетать на ночь косу. Стук в двери).

П о п а д ь я. (Выйдя в сени). Это ты отец?

Г о л о с п о п а. Я, я! Кому-ж больше?

П о п а д ь я. Что долго так?

П о п. И то торопился.

(Входят в комнату. Поп укладывает епитрахиль с вещами, раздевается, разговаривая).

Не спишь, мамочка?

П о п а д ь я. (Снова перед зеркалом, завая). Сам же сказал: не спи.

П о п. Ну да, сказал... Кто-ж думал, что...

П о п а д ь я. Я и че спала.

По п. Ну, поспишь... поспишь... (Уже без подрясника. Садится, снимает один сапог, потом другой. Держа сапог в руке)

— Жалко!

По па д ь я. Кого тебе жалко?

По п. (Швыряет сердито сапог на пол). Не кого, а чего. Наитие сорвали!

По па д ь я. (Недослышав и зевая во весь рот). Что сорвали?

По п. Наитие, говорю, сорвали.

По па д ь я. А-а-а... ты про что... (Насмешливо). Най-и-итие... Вправду, пожалеешь: редкое оно у тебя... (зевает) и не надолго.

По п. У других и того не бывает.

По па д ь я. У кого-бы это?

По п. А вот, к примеру, старуху столетнюю на тот свет напутствовал.

По па д ь я. Стару-у-у-ху... столе-е-етню-ю...

По п. Она и молодой была. Одначе, соблюла девство свое до старости. Девственницей и богу душу отдала.

По па д ь я. А ты ей верь.

По п. Стала бы она на исповеди перед смертью врать. Сам слышал: Хр-р-р-р-р!.. Хр-р-р-р-р!.. Хр-р-р-р-р!..

По па д ь я. Чего хр-р-р-р-р?

По п. Хранила девство, значит.

По па д ь я. Хранила, хранила! Что толку в том?

По п. В чем?

По па д ь я. Да что девственность-то она хранила.

По п. (Удивленно). Как что толку? Девственница—христова невеста. Сказано в писании: дева непорочная на том свете обрящет небесного жениха. Шутка-ка! Прямо в рай без пересадки.

По па д ь я. Не плохо, стало быть, ей будет.

По п. Ей не плохо, и нам впрок.

По па д ь я. А нам какой прок?

По п. Еще бы не прок: в своем приходе умершую 100-лётнюю девственницу объявить! Тут во все колокола трезвонить надо. Сделаем сбор пожертвований, часовенку воздвигнем. Молебны заказные деве-Феодоре пойдут. Приношения. Мало ли что. Может, нам с тобой счастье привалило. Разбогатеет—обновками тебя закидаю, да какими! Не теперешним чета. (Смотрит, прищурившись, на попадью). Старуха вообще... для нас счастливая... я так думаю. (Встает, берет рясу, выуживает оттуда кисет, развязывает

и, сев за стол, начинает вытряхивать из кисета содержимое. Сыплются золотые монеты).

По па д ь я. Это что-же?.. У старухи...

По п. По завещанию... На сорокоуст и все такое. (Считает). Есть за что помянуть!

По па д ь я. (Живо). Сколько? Сколько?

По п. Хватит с нас... для начала. Молодец старуха!.. (Попадьё). То-есть, какими подарками теперь тебя закидаю!

По па д ь я. (Жеманно и податливо) Это другое дело. Так бы сразу и сказал. А то с наитием: сорвали! Сорвали! При хороших-то делах (заигрывающе) может оно... наитие... и не будет у тебя таким.. срывчатым.

По п. (Рыскав рот и тарашит на попадью глаза).

По па д ь я. Чего уставился?.. Аль не узнал? (Смеется)... Все та-ж... (Выразительно). Не де-вствен-ни-ца...

По п. Чего?

По па д ь я. Вот того... (Делает игривый знак и заливается смехом). Не девствен-н-ни-ца я... И не ме-е-е-ерт-ва-я!.. Жива-а-а-я!.. Те-е-е-еп-ла-я!..

(Уходит в спальню, маняще глядя на попа)

По п. (Начинает стремительно снимать с себя жилет, расстегивает воротник рубахи — торопливо и безуспешно. Становится перед образами на колени, шепчет молитву, оглядывается, постепенно поворачивается лицом к лубку — «Казак Крючков», крестится на него. не замечая ошибки, скребет яростно поясницу, засунув руку под рубаху, часто оглядывается на дверь спальни, обрывает молитву. гасит лампу и лампаду, потом гасит лампаду в спальне. Мрак).

Издали начинается доноситься медленный похоронный перезвон.

Картина 5-я

Наружная алтарная сторона церкви. У ямы гроб на полотенцах. Народ. Попадьё, ухарь, его палаша — церковный староста, регент-дьячок, певчие — деревенские подростки обоего пола, басы дюжие. Поп и дьякон в облачении. У попа в правой руке кадило.

(Еще до поднятия занавеса слышно:)

Пе в ч и е. Господи, помилуй, господи помилуй, господи по-ми-и-и-и-луй.

(При поднятии занавеса).

По п. (На-распев): Яко ты еси во-скресение и живот, и покой усопшия

рабы твоя девы-Феодоры, христе боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим отцем, и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веко-о-ов.

Певчие. Ами-инь.

Поп. (Произносит надгробное слово).

Что се есть? До чего мы дожили, о душегубовцы! Что видим? Что делаем? Феодору, девственницу великую, погребаем. До глубокой старости сохранив непорочным девство свое, внидет она в царство небесное и примет венец из рук жениха своего небесного, самого господя нашего Иисуса Христа. И встретят ее в раю также и новопреставленные односельчане наши, христоролюбивые воины, за веру, за царя и отечество живот свой на поле брани положившие—Кикин Андрон, (в толпе раздаётся плач вдовы Кикиной, и после каждого нового имени плачущие голоса прибывают), Заикин Спиридон, Киловатый Иван, Небогатый Степан, Кучин Алексей, Онучин Елисей, Косых Кузьма, Босых Фома, Шалый Захар, Беспалый Макар, Самоваров Гаврила, Угаров Вавила, Митькин Клим, Титькин Касим (за общим бабим ревом временно почти ничего не слышно)... Будем же мы сии девственные останки беречь и почитать, яко святыню, и соорудим здесь надгробие каменное, часовню то-есть... Не поскупимся, православные, на дело благое. Аминь. (При последних словах церковной староста начинает обходить толпу с кружкой. Надпись «На сооружение»).

Диакон. (Откашлявшись). Во блаженном успении ве-е-ечный покой подаждь, господи, новопреставленной рабе божей Феодоре-девственнице и сотвори ей ве-е-еч-ну-ю па-а-а-мя-я-ть.

Певчие. Ве-ечная память, вечная память, ве-ечная па-а-мять.

(Дюже мужики берут на полотенцах гроб и опускают в яму. Все смотрят в яму. Бабы голосят. Поп и диакон, снимая облачение, перемигиваются. Попадья с ухарем за кустом шутякутся и уходят. Уходят постепенно все. На сцене остаются двое крестьян, Ерофей и Дорофей, закапывающие могилу. Начинает смеркаться).

Дорофей. Каково, Ерофей?

Ерофей. Таково, Дорофей.

Дорофей. Слышал, что поп брехал?

Ерофей. Я-ж не глухой стоял.

Дорофей. Старуха-то... прямо в рай.

Ерофей. Куды-ж ей больше?

Дорофей. За што в рай-то ее?

Ерофей. Просто сказать, ни за что.

Дорофей. Девичество соблюла, подумаешь.

Ерофей. Може она такая уродина была, что на девичество ее никто и не позарился.

Дорофей. В раю-то она, чай, тоже краше не станет.

Ерофей. Надо полагать.

Дорофей. Одначе, она там обневестится.

Ерофей. Мели тоже.

Дорофей. Чего мели! Поп сказал: Христовой невестой будет.

Ерофей. Станет на нее Христос глядеть, на старуху-то.

Дорофей. Всамделе. Вот бедняжка!

Ерофей. Кто бедняжка!

Дорофей. Да Христос, знамо, бедняжка. Старых-то девственниц этих, что в раю с Христом невестятся, небось их там чертова уйма.

Ерофей. Старых! Чай и молоденькие да смазливенькие то-ж среди них попадаются.

Дорофей. Сумнительно, чтоб смазливенькие при жизни не продевичились.

Ерофей. Ну, может как-нибудь... не успевши...

Дорофей. Все равно Христу от этого не легче.

Ерофей. Почему так?

Дорофей. Да невесты вокруг Христа снуют.

А жениться ему на них не дают.

Ерофей. На всех сразу не женишься.

Дорофей. Да хоша-б на одной.

Ерофей. Всамделе... Христово положеньице-то.

Дорофей. Не позавидуешь.

Ерофей. (Сокрушенно вздыхает) Вот те и рай! (Помолчал).

Дорофей. Язык-то у нашего бати.

Ерофей. Волк без клыка, поп без языка чего стоят!

Дорофей. Проповедь какую загнул.

Ерофей. Известно, поп, что кот: не поворчав, не с'ест.

Дорофей. Возрадуемся, говорит.

Ерофей. Как ему не радоваться? Попу покойник хорошо пахнет.

Дорофей. А старые старухи особливо. (Помолчав). Про часовню слышал?

Ерофей. Попу — новая лавочка.

Дорофей. Чудеса старой дуры смастерят.

Ерофей. Для того и вся затея.

Дорофей. Старую дуру — в святые произведут.

Ерофей. Обнаковенное дело.

Дорофей. А там и дурины мощи об'явятся.

Ерофей. И за этим дело не станет.

Дорофей. Преподобная дура-Феду-у-у-ра, моли бо-о-га о на-ас!

Ерофей. А то как же иначе? (Закручивает козью ножку).

Дорофей. (Берет у Ерофея щепотку табаку, крутит ножку тоже. Фыркает). Ах-ха-ха!.. Девственница!.. Смешно!

Ерофей. А что?

Дорофей. Святая, ха-ха-ха!

Ерофей. Назовут святой.

Дорофей. До святость-то, стало-быть, ее... в каком месте у ей обрегається!?

Ерофей. В каком! (Сообразив). Тьфу, дьявол!

Дорофей. Прикладываться к святому месту не заставили бы!

Ерофей. Тьфу, язви ее душу!

(ОБА УХОДЯТ, смеясь, чертыхаясь и отплевываясь).

Сумерки сгущаются. Темнота. Из могилы медленно-медленно, стоймя, поднимается слабо изнутри просвечивающий манекен старухи и возносится на небо. Где-то тьякает и завывает собака.

Картина 6-я

У райских врат. Два архангела у входа — смесь форм традиционно-архангельской и полицейской. Отбирают пропуска. Вдоль человеческой очереди важно ходит аккуратный фронт и ухажер архангел-околочный. У врат будка. У окошка будки время от времени показывается то рука, то голова апостола Петра. В очереди больше народ простой и средних классов. Очередь волнуется, оживленный разговор, жестикация, особенно когда вне очереди проплывают важные персоны — генералы, банкиры, архиереи, красивые и похоронно-нарядные барыни, явные высокосортные проститутки и т. д. Околочный к таким «душам» подлетает, козыряя, вынимает из порт-

фелика и вручает кропуска, провожает до врат, стража отдает честь. Из очереди души кулацкого и жульнического типа подзывают архангелов и тоже устраивают свои делишки: архангел их проводит в рай.

Крестьянин. Гос-поди боже-ж мой... Куды я попал? (Озирается на все стороны. При виде важных персон таращит испуганно глаза и шарахается).

Мужской голос. Не опомнишься?.. Как помер-то?

Крестьянин. С кумпола свалился... В церкви работал... Плотники мы.

Мужской голос. Плотники — божи работники. В раю тоже, чай, в них надобность есть.

Крестьянин. Дома жена осталась, дети малые. Как они там?

Барынька. Ай!.. Ай!.. Осторожнее ты, сиволапый!.. Все ноги мне отдавил.

Крестьянин. (Сконфуженно) Ды я тут... Простите, барыня... Они вот тут спереди толкаются.

Вторая барынька. (Первой, стоящей впереди) Ужас, ужас, ужас!.. Допускают сюда кого попало... Осторожнее, мадам... Вы смотрите, какая у мужика по спине вошь ползет...

Первая барынька. (Уставясь в крестьянскую белую рубаху). Ай, ай!.. Вошь!.. Мерзость какая! (Шарахается назад так, что вся очередь чуть не валится).

Голоса из очереди. Что вы там, черти!.. — Кроме вас тут людей нету?.. — Мерзость нашли... — Барыни какие!..

Первая барынька. (Истерично). Вошь!.. Вошь!.. Вошь!..

Мужской голос. (Елейно). Ну, так что-ж такое, что вошь? Тоже, чай, тварь божия. Ей тоже, чай, в рай хочется.

Женский гол. (Зло). Мало-ли кому чего хочется... Напусти в рай вшивых мужиков, так какой-же это рай получится?

Втор. мужск. голос. Так, може она — райская вошь — не кусливая.

Вторая барынька. Заступник какой вшивый выискался! Привык, небось, вшей за пазухой носить.

Втор. мужск. голос. Лучше вошь за пазухой, чем такая гадина, как ты.

Вторая барынька. (Исступленно). Арха-ангел!.. Господин архангел, уймите этого!.. Безобразничает!.. Держать себя

в обществе не умеет!.. Негодяй!.. Мерзавец!.. Сукин сын!!

Женский голос. Пропустили бы уж скорей. Ноги не держут. Кто мог подумать, что на небе очереди тож появились.

Мужск. голос. Солдатам в окопах хоть та выгода: убьют, сразу в рай. Маршевым порядком. Утром сегодня много их — солдатиков — прошло.

Второй голос. А мы все стоим да стоим, стоим да стоим.

А пропустят ли в рай, неизвестно.

Третий голос. В какой, говорят, день сюда попадешь. Сегодня, говорят, апостол Петр зол, как собака. Придирается... Чаше не в рай, а в сторону куда-то людей уводят.

Четвертый голос. Куда-то!.. В ад, значит.

Третий голос. Кто-же его знает... Может, и в ад... В темень какую-то... Тут не разберешь...

Четвертый голос. Вот ентих финтифлюшек разных, да которые из себя поважнее, их, небось, без проводочки... Вон как старший архангел увиается...

Голос в глубине. Нет правды на земле... И нет ее на небе.

Пятый голос. Ай, ай, ай!.. Как вы неосторожно... Услышат.

Голос в глубине. Нап-пле-вать. Общий гул. Пьяный!.. Пьяный!.. — Скажите, пожалуйста: до раю дошел — не протрезвился!

Первая бар. Что это на вас вот та девушка, что впереди — пятая от нас — стоит, так все время злобно оглядывается.

Вторая бар. Прислуга моя... Дарьюшка.

Первая бар. В одно время...

Вторая бар. Вышло так. Я намедни велела ей истопить печь, да закрыть пораньше. Тепло беречь надо. Дрова нынче дороги. А она, Дарьюшка, такая дрянь, такая дрянь. Вечно преколовит. Угорим, говорит, барыня. Не угорим, говорю. Угорим. Не угорим. Угорим. Не угорим, говорю.

Первая бар. И что-же!

Вторая бар. Ну и... угорели. Эта мерзавка, представьте, успела даже угореть на час раньше меня. Потому и в

очередь раньше попала. А, может, она и с умислом вперед проскочила.

Первая бар. С каким умислом?

Вторая бар. Известно, с каким. Какие умислы у прислуг бывают: напакостить господам, навредить. В последнее время она вообще стала грубиянкой невыносимой. Невыносимой! Погодите, говорит, барыня, кончится война, так вам кружева-то обомнут, шелка-бархаты оборвут...

Первая бар. Не может быть! Ах, бесстыдница!

Вторая бар. Теперь вы понимаете. Чего она может про меня апостолу Петру наговорить?

Первая бар. А вы, милочка, попросите этого любезного старшего архангела...

Обе (усиленно машут руками)— Псссс!.. — Псссс!.. — Господин архангел!.. — Господин архангел!

Арх.-околоточн. (подходит).

Обе барыни что-то шепчут ему и указывают руками на девушку. Суют ему что-то в руку.

Арх.-околоточн. (Подходит к девушке, тащит ее за рукав из очереди. Она упирается. Он ее все-таки выводит.)

— Ладно, ладно, поговори у меня!

Девушка. Я же... Чего пристал?..

Арх.-околоточн. Становись сзади. Лезешь вперед. Постарше тебя пассажиры есть. (Девушка становится последнею. Архангел засматривается на нее.)

ЧАСЫ НА БАШНЕ выбивают «Христос воскрес из мертвых», потом бьют семь часов.

Апостол Петр. (Ошалело выскакивает из будки. На боку у него болтаются два аршинных ключа. В зубах трубка.)

— Сколько пробило? Сколько пробило?

Арх.-околоточн. Семь часов. ваше апостольское превосходительство!

Апостол Петр. (Хватается за голову) Семь часов. Чорт знает что такое! С пяти уж полагается будку закрывать. Мне еще к парикмахеру. Да переоблачиться надо. Выдался сегодня денек. Прут и прут души без конца. (Всматривается в очередь). Сколько вас еще тут?.. Раз, два, три, четыре, пять (продолжает считать шопотом).

Очередь галдит: — Ради бога!

— Ваше апостольское!

— Помилосердствуйте!

— Намайлись мы тут!

— Куда нам на ночь-то...

— Немного уж осталось!

— Бога ради!

Апостол Петр. Ладно уж. Шут с вами. Ну, живей!

(Идет в будку. Начинает быстро выдавать пропуск. Очередь превращается в толкучку у окна. Хватают пропуски, как попало. Тянутся к окошку несколько рук сразу. Особенно работает локтями вторая барынька. Получив пропуск в рай, она крестится и со злым смеком тычет пропуск под нос прислуге.)

Вторая бар. — Ну что! Ну что! Выкусила! Кружева оборвут? Оборвут? Оборвут?

(Возле прислуги во время толчеи увивается околоточный архангел. Пока прислуга жеманилась и кокетничала, Ап. ПЕТР, выглянув и с окриком — «Довольно!» — захлопнул окно. ПРИСЛУГА смотрит растерянно то на окно, то на архангела. Архангел моментально изловчается, вырывает у второй барыни пропуск толкает барыню в темень — «Пошла ко всем чертям!» — а сам галантерейно — пропускает ПРИСЛУГУ в рай).

АРХАНГЕЛЫ-СТРАЖИ залихватски ей козыряют, щелкают шпорами и подмигивают.

— Э, кхе! — Сто чирьев ему в печонку!

— Захороводил девчонку!

Апостол Петр. (Выходит из будки). Баста!.. Закрывай лавочку!

(Стражи хватаются за обе половины ворот. Петр снимает с пояса свои громадные ключи. Начинает прислушиваться. Из глубины сцены, снизу доносятся, постепенно нарастая, раскаты пушечной пальбы и сцена освещается огненными вспышками. Петр сокрушенно качает головой).

Начинается опять... Большая каша заваривается... Не иначе, это 14-я дивизия в ночную атаку идет... Сегодняшние солдатские души из этой дивизии передавали: что-то готовится. (Вспышки. Раскаты.) Как палят! Как палят! (Прислушивается приложив к уху ладонь). Закрывай скорей врата!

Старуха-Феодора (в это время медленно с иконкой в руках подходит к райским вратам.)

Апостол Петр. (С раздраженным удивлением). Бат-т-тюшки!.. Еще этого чучела тут не доставало!.. Стой! Стой! Куда тебя нелегкая несет?

Феодора. (Что-то неслышно бормочет).

Апостол Петр. (Приложив к уху ладонь) Чего?.. В рай?.. Только тебя тут и ждали!

Феодора. (Бормочет).

Апостол Петр. Чего?.. К кому пропустить?.. К жениху небесному? (К архангелам) Жениха на небе ищет!.. (Архангелы фыркают) Да ты, поди, скольких мужей уже похоронила! Мало тебе еще... Жадная какая!

Феодора. (Бормочет).

Апостол Петр. Чего?.. Не было?.. Мужей не было?.. Да говори ты ясней!.. (Весело к архангелам) Девственностица, говорит! (Архангелы со смеху за животы хватаются). Вона ты с каким товаром. А нам его не нужно даром... Жениха пришла искать. Какого-же ты счастливица невеста будешь?

Феодора. Хр-р-р-р!.. Хр-р-р-р-р!..

Апостол Петр. Хр-р-р-р-р... Чего хр-р-р?.. Хр-р-р-р-р-р-р? Ай, уморила! (К архангелам) Хрис-то-ва невеста! (Архангелы тычутся в стенку, машут руками, дрыгают ногами со смеху). Ну, бабка, удружила!.. Хр-р-р!.. Ах, чтоб тебя!

Арх.-околоточн. (Взяв под козырек, подлетает к Петру) Ваш-апостольство!.. Чего с ней, бестолковой... Разрешите, я... (делает жест коленом — «под задницу ее!») Определенно сумасшедшая старуха!

Апостол Петр. (Не переставая смеяться; машет рукой) — Гони!!

Все архангелы. (Толкают старуху:)

— Отчаливай отселева!

— Нечего тут...

— Не сумасшедший дом тут для тебя.

— С девственностью носишься.

— Всем напоказ.

Арх.-околоточн. (Петру) Бесстыжая старуха!

Апостол Петр. (В воротах).

Смешна старухина мольба.

Какой наслушался я чуши!

(Прислушивается. С земли снова доносятся пушечные раскаты. Вспышки).

А на земле опять пальба.

Заткну, пожалуй, ватой уши.

(Сует в уши вату).

Ночь будет, видно по всему...

Народу укокошат тьму...

Со всех сторон, с морей и с суши.

— Кровавых схваток результат —

Досрочно к нам несутся души

Бойцов, матросов и солдат.

Война все жарче год от году.

В раю порой бывают дни:
 Нет ни проезду, ни проходу,
 От матросни и солдатни!
 Бывали, помню, прежде войны.
 Шли в рай, изранены и гнойны,
 Христолюбивые рабы,
 А нынче—дерзки, беспокойны...
 В раю-б не начали пальбы.
 Внушает это мне тревогу.
 Чем это кончится, ей-богу?
 (Скрежет затюлок).

С Николой тож моя игра...
 Намедни дулись до утра.
 Везет хитрошему Николе.
 Подсунет карты мне под нос,
 Как задурманенной тетёрке,
 Я и к сидению прирос.
 (В трагической позе).

Брать иль не брать — вот в чем
 вопрос,

И прикупать иль нет — к пятерке?!

(Все у ворот вместе с Петром падают, оглушенные сильным взрывом. После взрыва слышны издали дикие вопли, стоны, постепенно затихающие. Тишина. Петр и остальные приходят в себя, встают).

Петр. (Отряхиваясь). Свят, свят, свят!.. Мать пресвятая богородица!.. Пропала, значит, дивизия!.. Нет 14-й дивизии!.. Не иначе — на немецкую мину напоролась!.. Вот это те-е-ех-ника!! (К страже). Запирай врата! Запирай врата!.. Господи, господи, господи... (все время бормочет и крестится).

Все уходят. Райские врата закрываются. Слышен двойной протяжный дружинный звон замков. Тихо. Часы на райской башне бьют «Коль славен наш господь в Сионе».

В углу скорбно маячит сторбившийся, освещенная фигура старухи Феодоры.

ИНТЕРМЕДИЯ — ЖИВАЯ КАРТИНА:
 «После боя». (По картине Верещагина).
 (Занавес).

ВТОРОЙ АКТ

Картина 1-я

Райский рынок. Торговые ларьки с золочеными куполами и крестами на куполах. При поднятии занавеса освещены сначала только купола. При полном свете видны ларьки с торговыми вывесками. Не все перечисленные ниже вывески могут быть показаны на сцене, а первые восемь, десять или двенадцать. Остальные могут быть развешаны в фойе театра. Желательно, чтобы из «ЖИТИЙ СВЯТЫХ» были шаржированно перерисованы святые, упоминаемые на вывесках.

Вывески:

ОГОРОДНЫЕ СЕМЕНА СВЯТЫХ
 ФИЛИППА И ФАЛАЛЕЯ ОГУРЕЧ-
 НИКОВЫХ.

ОГУРЧИКИ СОЛЕННЫЕ СВ. ЕВДО-
 КИИ ОГУРЕЧНИЦЫ.

ЗЕЛЕННАЯ ЛАВКА
 СВ. ИРИНЫ РАССАДНИЦЫ.

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ
 СВ. АКУЛИНЫ ГРЕЧИШНИЦЫ И
 ЕЛИСЕЯ ГРЕЧКОСЕЯ.

СЕННЫЙ БАЗАР
 СВ. ФИНОГЕНА КОПНОГНОЯ.

СЕРПЫ И КОСЫ СВ. ЗАХАРИЯ
 СЕРПОВИДЦА.

ТОРГОВЛЯ ОВСОМ
 СВ. НАТАЛИИ ОВСЯНИЦЫ.

ПОЛОТНА САМОТКАННЫЕ
 СВ. ХАРИТИНЫ ТКАЧИХИ.

МЕРЛУШКА И ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
 СВ. АВРААМИЯ ОВЧАРА И
 НАСТАСЬИ
 ОВЕЧНИЦЫ.

УПРЯЖЬ, ХОМУТЫ, ВОЗЖИ
 СВ. ЕРЕМЕЯ ЗАПРЯГАЛЬНИКА.

ТЕЛЕГИ ЛАЖУ!
 СВ. АЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ.

ХЛЕБ СВЕЖИЙ,
 БАРАНКИ, ПРЯНИКИ СВ.
 АРСЕНИЯ ПШЕНИЧНИКА.

ПОСУДА, МИСКИ,
 ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ
 СВ. ТИТА ЛОЖКАРЯ.

«ВОТ ЗАВЕДЕНИЕ»!
 ТРАКТИР СВ. ИВАНА БРАЖНИКА

РАЗМЕН ДЕНЕГ.
 СВ. ПЕТР МЫТАРЬ.

НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРИ
 СВ. СПИРИДОНА СОЛНОВОРОТА.

«ЗУБЫ ЗАГОВАРИВАЮ!»
 СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АНТИПИЙ.

РАЙСКИЕ БАНИ

св. ИВАНА КУПАЛЫ и
АГРАФЕНЫ КУПАЛЬНИЦЫ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

св. ИЛЬИ ПРОРОКА.

СКОТОЛЕЧЕБНИЦА священномуче-
ника ВЛАСИЯ.

КОНТОРА ПО ПРИЕМУ БРАЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ св. НЕОНИЛЫ и
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

«ДАЮ СОВЕТЫ ПЕРВОРОДЯЩИМ
АНГЕЛАМ!»

св. АННА ЗАЧАТНИЦА.

«ВЫВОЖУ МЫШЕЙ, КРЫС, И ТА-
РАКАНОВ!» священномученик и чудо-
творец ТРИФОН.

ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
апостола ЛУКИ.

«ЕРОФЕИЧ». ТРАКТИР с крепкими
напитками св. ЕРОФЕЯ.

ОХОТНИЧЬИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

св. МЕФОДИЯ ПЕРЕПЕЛЯТНИКА.

«РАЙСКИЙ АРХИВ».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
св. АГАФИИ ПОМИНАЛЬНИЦЫ.

РАЙСКАЯ ПОЧТА. СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА ПОСЫЛОК НА ДОМ.

св. УЛИТА.

КАПУСТА СВЕЖАЯ и КВАШЕНАЯ

св. НИКОЛАЯ КОЧАННОГО
И ПЕТРА КАПУСТНИКА.

«НЕТ БОЛЬШЕ СТАРЫХ МУЖ-
ЧИН!» СРЕДСТВО ОТ БЕССИЛИЯ.

св. СИЛА.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
св. ИВАН ЗЛАТОУСТ.

РАЙСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОН-
ТОРА

св. ФОМЫ НЕВЕРНОГО.

ШКОЛА ОРАТОРСКОГО ИСКУС-
СТВА св. ЕМЕЛИ.

ПАРОХОДСТВО ДАЛЬНЕГО ПЛА-
ВАНИЯ св. НИКОЛЫ МОРСКОГО.

МАРИЕ-МАГДАЛИНИНСКИЙ

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ.

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ «ВИФЛЕЕМ»

под высочайшим покровительством ЦА-
РЯ ИРОДА.

«СЛАДОСТНЫЙ ПРИЮТ».

Гостиница для прибывающих св. ВЕРЫ.
ЛЮБВИ, НАДЕЖДЫ И МАМАШИ
ИХ СОФИИ.

НЕПРОМОКАЕМЫЕ ВЕЩИ

И РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
св. МОКРИДЫ.

При даче полного света сцена оглашается
криками лавочных зазывальщиков и торгашей
вразнос. Лавочники за прилавками в нимбах.

ВЫКРИКИ.

О г у р ч и к и соленые,
Огурчики!

Г р е б е ш к и, гребешки,
Расчесочки!

А вот кому мы ль ц о,
Кому мыльцо —
Умыть рыльцо!

А вот ма х о р к а-вырви глаз!
А вот махорка!

А вот р ы б а!
Давай, давай,
Да любую выбирай!
Сам ловил,
Сам солил,
Сам и продавать принес!

Кому продам, кому
Ар-ригинальную п а н а м у —
Отпыли от загара
От солнечного удара!

Купцы райские,
П р я н и к и хозяйские,
Сахарные, на меду,
Во все карманы накладу!

Эх, навались, навались,
У кого денежки завелись!

Вот так квас,
В самый раз,
Пробки рветь,
Дым идеть,
В нос шибаеть,
В рот икаеть!
Ай да квас!
Специально для вас!

Вот и грушка —
Веселый Петрушка,
Большой ар-ригинал,
Такого рай не видал:
Вина не пьет,
Стекол не бьет,
С девками не якшается,
Сам собой утешается!

Булавки, иголки,
Стальные приколки,
Давай, выбирай,
Выбирай, покупай,
За любой пучек
Адин пятак!

Постричь, побрить,
Побрить-поголить,
Бороду поправить,
Усы поставить!

Вот книжицы, так книжицы —
От Аза до Ижицы,
Сочинения Ивана Ноздрева,
Да Степана Глухарева,
Еще Сашки Носастого
Да Пашки Брюхастово, —
Писано — прописано
Про чорта лысово,
Про Кузьму да Демьяна,
Про Фому Грубияна,
Про Арину, Акулину,
Про бабушку Марину!
Всё тут! Всё тут!
Гривна за пуд!
И работнички и лодыри,
Читайте до одури!

Ай да книжица,
Сама в руки движеца!
Путешествие пьяного богатыря
В царство нетверезого царя!
Рассказ Фомы Старичка
Про блудливого дьячка,
Про молодую попадью
И про их шашни в раю!

КРИКИ на общем фоне выделяются то один, то другой. Замирают. ПОКУПАТЕЛИ толкаются у прилавков. Среди них и типы из «райской очереди» первого акта.

Панкрат (растерянно) Куды я попал?.. Куды попал?.. (Останавливается против первого прилавка и глядит на товар бессмысленно).

Первый продавец. (Насмешливо).
Купить собираешься?

Аль так прицениваешься?

Второй продавец. (В тон первому). Зачем покупать, чужак?

Можно стибрить и так.

Покупатель — видать сразу.

Не спускай с него глазу!

Панкрат. (Очнувшись). Куды я попал?.. (Топчется без толку).

Сапожник уличный.

Эй, корявые,

Сапоги дырявые,

Лапти с подковыркой,

Походи, не фыркай,

Все копыта подкую:

Первый мастер в раю!

Кому сапожки подобьем,

Недорого возьмем,

Старые носи,

Новых не проси!

Перв. продавец.

— Вот мы на небо с земли

Всего привезли:

Шали турецкие,

Шелка немецкие,

Байки, фуфайки,

Сапоги из лайки,

Пуговки, гребешки

Расписные петушки,

Два жирных сига,

Комариная нога,

От хромого клюшка,

От ведерка дужка,

Одеяла, покрывала,

Здесь дешевка не бывала.

Кто прет вперед

Становись вперед.

Ройте, копайте,

Деньги давайте.

Продавец.

Что угодно, господин?

Ситец, сатин.

Без лишнего разговору.

Было бы впору.

Крик в публике. Кар-ра-ул!..
Гор-ро-до-вой!.. Часы срезали!

— Держи его, держи!

— Ах, сукин сын! Догони его: полетел на крыльях!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СВИСТКИ. СУМАТОХА. Слышно, как за кулисами верещит мальчишка, которого бьют. Из-за кулис крики:

— Так его! Так его! Так его!

— Подбавь, подбавь!

— До чего воров в раю развелось!

— Житья с ними нету!

Панкрат. Куды я попал?

Картина 2-я

Вдоль ramпы — «Адский проспект». Вглубь с уходом в нарисованную на задн. кулисе перспективу — «Биржевая площадь». Вдоль задней кулисы — еще улица. Левый — передний угол этой улицы в ограде из зелени, арка с надписью **ЪДА**. Через нее проход к парадному, над которым тоже надпись—**АДЪ**. Слышно, как за углом этим подезжают и уезжают автомобили. Проходит в **АДЪ** и выходит из него чистая пышная публика. Швейцар распахивает двери, кланяется. Мальчишки-рассылные. Тут же продавец газет — «Райское слово», «Вечерняя раевка», «Адский Курьер». Фотографическая витрина с райскими красавицами. Левый внутренний угол — «Кафе-де-Парадиз». Правые углы и везде, где можно, в вывесках: Райская биржа, Банкирский дом **НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ** и К-о, Марие-Магдалининский венерологический институт. Клиника Пантелеймона-Целителя. **БАНИ** с номерами. Гостиница «Сладостный приют». Родовоспомательное заведение — Вифлеем.

Левый угол ramпы—**ВИНА** Армении из Ноевских виноградников. «Адские напитки». Громадная афиша **«АДЪ — АДЪ — АДЪ Гаала-представление. Сплошная чертовщина. Ангельский БАЛЕТ. ХОР мироносиц. Апостольский джазбанд. Отрывки из божественных ОПЕР Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 13-я адская КАКОФОНΙΑ»**.

Правый угол—доска **«ТЕЛЕГРАММ»**: На фронте без перемен. Найдено тело **РАСПУТИНА**. Выступления **ПЕТЕРБУРГСКИХ РАБОЧИХ и ЗАБАСТОВКИ**. Продовольственные затруднения.

Сует все время повсюду публика.

Торговка. (Проходит с корзиной). Яблочки райские, моченые! Яблочки райские! (Повторяет выкрики время от времени, то уходя за кулисы, то возвращаясь).

Архангел. (Выходит, из-за угла с **ПРИСЛУГОЙ** под руку и направляется к **СЛАДОСТНОМУ ПРИУТУ**).

Прислуга. (Останавливается и конфузливо упирается).

— Боюсь... Боюсь...

Архангел. Ну вот еще...

Прислуга. Мне стыдно.

Архангел. Пустяки какие. (итти).

Прислуга. Я же никогда...

Архангел. Ну вот еще...

Прислуга. Вот истинный бог!

Архангел. Пустяки какие!

Прислуга (что-то говорит, не разобрав).

Архангел. (Увлекает ее в парадную дверь).

Швейцар. (Козыряет архангелу и ухмыляется).

(Слышно тарактенье пролетки).

Голос извозчика. Тпр-ру! Сюда вам, не иначе, барыня.

Барыня. (Выходит из-за кулис, роется в ридикюльчике, что-то сует извозчику, вышедшему за ней).

Извозчик. (Взвешивая деньги на ладони). Что-же вы, барыня!.. Посовестились бы... От самых райских ворот...

Барыня. Дала, как рядился.

Извозчик. Прибавили бы малость.

Барыня. Будет с тебя. На земле дерете, и тут тоже.

Извозчик. А с вас и в раю не получишь...

Барыня. На земле жалуетесь: овес дорожает! Овес дорожает! А в раю что?

Извозчик. Да что ж в раю-то кобылка моя чем питается?

Духом святым, что ли?

Барыня. (Возмущенно). Что он говорит!

Извозчик. То и говорю. Чай она, кобылка-то, молится по-своему, по-кобыльему, как? Сначала во имя бога-овса и бога-сена, а потом уже бога-духа святого.

Барыня. (Оторопело). Бога-овса... бога сена...

Извозчик. Ясно. У кобылки без овса и сена никакого и духа не будет.

Барыня. (Шарахается). Ай, ай! Кошунство!.. (Крестится и бежит к дверям) Кошунство на духа святого!

Извозчик. А ты думала как?.. Хе-хе-хе-хе!

Тем временем

СТАРИК ИКОНОПИСНОГО ВИДА. все время наблюдавший за приезжей барынькой, торопливо семенит за нею в «Сладостный приют», сунув на ходу чаевые швейцару.

Швейцар. (Потирает руки и подмигивает извозчику).

— Хе-хе-хе-хе!

Извозчик. Хе-хе-хе-хе!.. За каким добром св. Касьян погнался? Есть на

что позариться! Ни того в ей, ни енто-го... Ни спереди, ни сзади... Пиголица мокрохвостая! (Смочит с сокрушением на ладонь с вырубкой). Эх, эх, эх!.. Тоже капиталы. Маешься целый день, за день на полбутылки не выездишь.

Торговка. (На этот раз, выйдя из-за кулис, устраивается на панели).

Яблочки райские!.. Моче-е-еные!

Извозчик. (Подходит к ней). Ты мне огурчиков... И к огурчикам. (Крякает и щелкает себя по горлу) На весь мой почин. (Дает ей деньги).

Торговка. (Подает ему два огурца и, порывшись под яблоками, достает полбутылки с водкой). Я-а-аблочки!.. Моче-е-ные!

Извозчик. (Берет бутылку, выбивает пробку, выпивает содержимое бутылки, возвращает бутылку торговке, жует огурцы и пробует пощекотать торговку).

Торговка. Отвяжись!

Извозчик. Куды-ж нам с суконным рылом да в калашный ряд. Брезгаешь... С архангелами путаешься...

Торговка. Что толку с вас голодраных?.. Яблочки ра-айские!

Извозчик. (Скрежет затылок). Знамо дело... Где ж нам денег накопить?.. Пассажиры хорошие где взять? Покойнички ныне — с войной этой — пошли — ф-фить!.. Шушера сплошная. Пешком ходят. Провоевались!.. А который пассажир выдается солидный, из спекулянтов, военных подрядчиков да интендантов особливо, тот лихача берет, аль в автомобиле чоровит... (Уходит за кулисы. За кулисами). Ох-ох-ох, кобылка! Дела наши райские!.. Одра ты несчастная. Хуже тебя во всем раю не нашлось.

(Слышно тараканье отъезжающей пролетки).

Панкрат. (Появляется, пятясь. Смотрит на дома и вывески, все время норовит перекреститься, но не на что. Пятясь, чуть не опрокидывает у торговки корзину с яблоками).

Торговка. Яблочки райские моченые!.. Яб.. Куда прешь, черт леший?

Панкрат. (Глядит на торговку осовело). Свят-свят-свят!.. Куды я попал, а?.. Куды я попал?

Торговка. Стану я тебе об'яснять, куда ты попал. Сам, мужик, должен чувствовать, куда попал.

Панкрат. Не туды попал! Чувствую, не туды попал!

Торговка. (Саркастически) Не туды-ы, не туды-ы-ы!.. У, нетудыкала, несуразный! (Отворачивается, вытирая грязным фартуком губы). Яблочки моченые!.. Яблочки райские моченые! (Видит приближающегося околоточного, подхватывает корзину и улепетывает).

Околоточный. (Грозит ей пальцем).

Панкрат. (Направляется к дворнику. внимательно всматривается в него и радостно орет).

— Калистрат!

Дворник. (С бляхой, метлой и совком для уборки, после лошадей).

— Панкра-а-ат!

Панкрат. Где довелось!

Дворник. Какими судьбами?

Панкрат. Известно, какими.

Дворник. Помер, понятно. А с чего помер-то?

Панкрат. Не помер — убилися. Церковь новую заместо сгоревшей строили — с кумпола свалился.

Дворник. С кумпола... с кумпола... Все церкви строите. У самих у вас кумполы (показывает себе на голову)... того... С какого лиха церковь стали строить?

Панкрат. Именно с лиха. Поп уговорил.

Дворник. Богачи какие.

Панкрат. Какое уж там богатство. Обнищали совсем. Обносились. Есть нечего. Жену, детей жалко: ни с чем остались. Мне то в раю...

Дворник. Что в раю?

Панкрат. В раю, бог даст...

Дворник. (Смеется). Даст, даст!..

Держи карман широким. Кверху!

Панкрат. Чему смеешься?.. Ты тут уж присмотрелся?

Дворник. Присмотрелся и... притерпелся, будь они трижды... (Сплевывает).

Панкрат. Аль не сладко?

Дворник. (Сплевывает). Мука мученическая.

Панкрат. Вот я так и подумал, что не туды попал. Мне, дураку неграмотному, как об'яснили? РАЙ вот так пишется. (Чертит пальцем в воздухе). АДЪ — вот так (чертит). Выходит, я перепутал. Вместо раю, сам в ад напросился.

Дворник. (Смеется и показывает на АДЪ). Нет ты в рай попал. Она где ад.

Туда ты не допросишься. Там райское начальство. Оттуда сам бог почти никогда не вылезает: пьет там запоем, с блаженными женами балуется, с богачами в карты режется.

Панкрат. С кем в карты?

Дворник. С богачами, с кем же. У них деньги — им и в ад доступно.

Панкрат. А мы-то богачей адом страшали!

(Продолжают разговор неслышно. На авансцене фронт с шикарной дамой).

Дама. Ха-ха-а-а! Было на вечер очень весело?

Франт. А-адски весело!

Дама. Приятно провели время?

Франт. Адски приятно!

Дама. Интересные номера были?

Франт. Адские номера!

Дама. Ха-ха-ха! Адский мужчина, скажите...

(Проходят).

Дворник. Слыхал? Страшали мы богачей адом — дураками были. Не понимали, почему это у господ ад с языка не сходил: адски! Адски! Адски! В карты резались — адски! В любви там, в шура-гмурах — везло адски! Шампанеи нахлестались — адски! Все — адски! Господа знали, какие им удовольствия ад сулит.

Панкрат. (Грустно) Понял я теперь. (В отчаянии) Куды я попал?.. Куды попал!

Газетчики (пробегают через сцену, с криками):

— Райские вечерние новости!

— Райские вечерние новости!

— Подробности убийства Распутина!

— Распутин на приеме у Господа Бога!

— Адский банкет в честь Распутина!

Дворник. Слышишь, Панкрат? В аду сегодня большой банкет назначен Царициного полюбовника, Распутина, на земле укокошили, так в аду его сегодня чествовать будут.

Панкрат. Кто чествовать будет?

Дворник. Бог, ангелы, святители... Черт их там... Все!

Панкрат. Распутина чествовать!

Дворник. Тут, брат, все распутины...

(Продолжает неслышно оживленную беседу. На сцене появляется «Пьяница» — интеллигентного вида. Идет «еле можаху», размахивая руками, декламирует).

Пьяница. Нет правды на земле... И нет ее на небе!.. Где б-бог?.. Я с ним поговорю... Мир миру твоему даруй?.. А война — это мир мир-рови?.. Старая ты с-собака, а не бог!.. (Чуть не валяется, хватается за фонарный столб. Публика шарается).

Голоса публики. — Безобразие какое!

— Чего смотрят!

— Позволяют тут всяким...

— Богохульство!

— Оскорбление божеского величества!

— Он — против войны!

— Арестовать его надо!

Два гороховых пальто (подхватывают пьяницу, волокут за кулисы).

Панкрат. (Хочет что-то сказать дворнику и застывает, воззрясь на необычайную процессию. На сцене появляется поддерживаемый двумя пьяными диаконами тоже вдрызг пьяный архиерей в полном облачении. Вокруг — пьяные попы, монахи. Два попа на гармошках наяривают, третий — на гребенке. Все приплясывает. Архиерей тоже пытается плясать. Останавливаются).

Третий ДИАКОН становится в позу, поднимает правую руку с орарем и молитвенно возглашает:

— Во-он-мем! Еще мо-о-лимся о райской сени и архиерейском спасении.

Хор. Ах вы, сени, мои сени,

Сени новые мои!

Диакон. Как у райских у дверей
Вопиял архиерей.

Хор. Ах вы, сени, мои сени,

Вопиял архиерей.

Диакон. Торопился старец в рай:

— «Стража! Двери отпирай!»

Хор. Ах вы, сени мои, сени!

Стража, двери отпирай!

Диакон. «Я подвижник, мол, такой.
Со святыми упокой!»

Хор. Ах вы, сени мои, сени!

Со святыми упокой!

Диакон. В рай попавши, старичок
Сразу в первый кабачек.

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Сразу в первый кабачек!
Диакон. Там вскричал архиерей:
— «Райской водки мне скорей!!»

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Райской водки мне скорей!
Диакон. Как монах и человек,
Пил он водку весь свой век.

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Пил он водку весь свой век!
Диакон. Лишь не пил святой монах
На своих похоронах.

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
На своих похоронах!
Диакон. Но в раю — иная статья:
Надо пропуск наверстать.

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Надо пропуск наверстать.

Диакон. Наверстал он презело:
Вот как старца развезло!

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Вот как старца развезло!

Диакон. Ну-к, святитель наш род-
ной,

Приложись еще к одной.

Хор. Ах вы, сени мои, сени!
Приложись еще к одной!

Диакон. (Подносит архиерею причастную чашу, в которую из громадной бытулы наливает вина. Архиерей пьет).

Хор. Исползаѣти де-ес-по-та!!

В это время с противоположной стороны приближается группа монашек, сопровождающих в рай мать-игуменью. Две красивых, рядных монашки ведут игуменью под руки. Две на скрипках играют, одна в бубен бьет. Остальные поют и приплясывают.

У игуменьи у нашей
Монастырь был полной чашей.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

По ночам, что было здесь,
Хоть фонарик принавесь.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Мать хлестала шампанею,
А монашки вслед за нею.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Мать на грудь архиерею,
А монашки вслед за нею...
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Вот где было развеселье:
Гость с монашкой в каждой келье!
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Угощались, причащались,
Рано утречком прощались.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Пресвятую жизнь сию
Мы продолжим и в раю.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Обцелуем мы уста
Бога-господа-христа.
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

Зацелуем всех святых,
Особливо молодых!
Барыня, барыня,
Барыня-сударыня!

(Группы монахов и монашек соединяются. Облобзавшихся архиерея и игуменью почетно сажают на крыльцо. Музыканты садятся на другое. Монахи и монашки образуют пары и — под соответственную музыку на один из известных церковных мотивов — танцуют

БОЖЕСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ.

применяя церковно-молитвенные телодвижения — поясные и земные поклоны, крестные знамения, поцелуи — перемежающиеся разухабистыми фигурами танца.)

ВСЯ ПРОЦЕССИЯ шумно удаляется.

Панкрат. Чур меня, чур! Своими глазами не видел-бы, не поверил-бы.

Дворник. Свежий ты.

Панкрат. Сегодняшний, сам знаешь.

Дворник. Не того еще насмотришься... Ну, не стой тут, Панкрат. Иди, иди. Мне еще попадет за тебя.

Панкрат. Куды-ж мне итти?

(В это время из-за угла появляется фигура урядника. За урядником в кольце конвойных арестованные мужч. и женщ., простой народ в самом жалком виде, некоторые в кандалах. Выделяется фигура пьяницы, тоже закованного).

Дворник. (Панкрату) Чего спрашивать: куды? Да хоть с этими (показывает на арестантов). Я бы тоже... Какая для нас разница? (Уходит).

Панкрат. (Втискивается в группу арестованных. Вся группа уходит).

Архангел и прислуга. (Выходят из «Сладостного Приюта». У прислуги пришибленный вид).

Прислуга. Мне стыдно... стыдно...

Архангел. Ну, вот еще.

Прислуга. Что ты со мной сделал?

Архангел. Пустяки какие.

Прислуга. Не надсмеешься?.. Не присишь?..

Архангел. Ну, вот еще.

Прислуга. Как же теперь мне быть?.. Как быть?..

Архангел. Пустяки какие!

Прислуга (плачет, закрыв глаза руками).

Архангел. (Пользуясь этим, поспешно скрывается за угол).

К плачущей девушке подходит явная сводница и что-то ей говорит, поглаживая ее руку. В двух шагах стоит, зарится на девушку и нетерпеливо дрыгает ногой пижончик. Сводница уводит девушку, делая пижону знак, чтобы он следовал за ними.

Замечается у ада сильное оживление и суета. Швейцар, мальчики, — газетчики, все — вытягиваются в струнку. На панелях толпятся любопытные. Снуют гороховые пальто. Фыркают автомобили.

Разговоры на панели. — Царский проезд.

— Царь небесный едет.

— С христом-наследником,

— Весь божий двор и свита.

— В адском театре, говорят, парадное представление.

— Эх, нам бы повидать.

— Не повидать. Ангелы-охранители не пропустят.

— Шагу не ступишь без охранителей!

— Ти-ше!..

— Ти-ше!

— Ти-ше!

Картина 3-я

АД. Эстрада. В ложах у эстрады святые воинно-архангельского вида с красивыми угодницами. В правой ложе БОГ (иконописный, в роговых очках с подзори, трубой в руках, сменяемой слуховой трубой), ХРИСТОС (подрумяненный, усики вверх, цилиндр, фрак), БОГОРОДИЦА (Джиоконда с лорнетом), МАРИЯ МАГДАЛИНА и ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА (костюм иконный с максимальным обнажением). Возле них лебезит РАСПУТИН. АРХИСТРАТИГ-МИХАИЛ возле богородицы, НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ и ПЕТР поиграют в орла и решку серебряным рублем.

Музыка играет фокстроты на мотив «Боже, царя храни» и «Коль славен наш господь в Сионе», фокстроты сменяются танго тоже на церковные мотивы.

Первый номер хоровой: типичные церковные певчие поют «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй на-а-ас!» Номер не имеет никакого успеха, божественная ложа его не слушает, бог демонстративно отворачивается. Певчие быстро смаываются.

Вторым номером «Райская синяя блуза» исполняет ритмическую гимнастику под песню «Христос воскрес из мертвых». Бог смотрит в подзорную трубу и, неудовольствованный увиденным, кладет ее в сторону. Пробует слушать, потом машет рукой и кричит:

Б о г. Не интересно!.. Агитка!..

Х р и с т о с. Агитка!.. Надоело!

П е т р. (Оторвавшись от игры в решку). Заладили — христос воскрес да христос воскрес!.. Дали бы повеселей что-нибудь!

Н и к о л а й. (Прищелкивая пальцами). Трам-блям-блям! Трам-блям-блям!

Номер «Искушение святого Антония» имеет успех. Бог не сводит трубы с искусительниц, выполняющих ряд танцевальных и песенных «искушений».

Ряд других номеров по средствам и силам театра.

Последним номером балерина в русском костюме исполняет народный танец, который особенно приходится по вкусу Распутину. Распутин (роль которого исполняет танцор), выскакивает из ложи через барьер, взбирается на эстраду и в паре с танцовщицей лихо отплясывает русскую. На нем малиновая рубаха, плисовые шаровары, поддевка, лакированные сапоги, поясок, «который сама царица шила». грим известный.

ПЛЯСКА РАСПУТИНА вызывает ураган одобрений — аплодисменты и крики.

Божеская кампания вся взбирается на эстраду. Богу пододвигают подобие трона. Статс-секретарь в образе пьяного Победоносцева читает, заглушаемую общим гулом, бошью грамоту. Слышен ее конец:

...За все сие жалуем тебя, верный раб наш, Григорий, чином священномученика и награждаем орденом Святого Духа высшей степени, каковой орден носить по установлению.

Музыка играет туш. Аплодисм. Ура.

РАСПУТИНА подводят к БОГУ. Бог надевает на него орден с широкой трехцветной (царск.) лентой через плечо и прикрепляет ему НИМБ.

Раздается пение в вышине.

— Священномучениче, Григорие, моли бо-ога о нас.

— Слава отцу и сыну и святому духу.
— Священномучениче, Григорие, моли бога о нас.

— И ныне и присно и во веки веков аминь.

— Священномучениче, Григорие, моли бога о нас.

ГАЗЕТЧИКИ появляются в партере. Кричат:

— Экстренная телеграмма.

— Последние фронтовые сообщения.

— На немецком минном поле взорвалась вся 14-я дивизия!

— Взорваась 14-я дивизия!

— 14-я дивизия в рай идет!

— 14-я дивизия в рай идет!

На сцене суета. Гул. БОГ машет руками и что-то приказывает. Слышно повсюду:—

«Встреча!.. Встречать!.. Встреча!»

Богородица оправляет складки своего облачения.

Магдалина и прочие красавицы— кто сморгится в зеркальце, кто красит губы, кто пудрится. Все торопятся к выходу. Бог и К^о идут медленно и важно.

Картина 4-я

На сцене абсолютный мрак. Слабо просвечивает верхняя часть задней кулисы, так что можно видеть силуэты солдат и щетину штыков, когда они поднимаются по невидимой, косяк площадке «на небо». Издали слышен военный марш. Все ближе. Оркестр проходит через сцену, поднимается «на небо» и постепенно замирает. Идет дивизия. Часто вспыхивают папироски. Фыркают лошади. Неразборчивые разговоры. Сменяющимися голосами.

Команда. Ать-два!

Ать-два!

Ать!

Ать-два!

Ать!

Солдатские разговоры:

— До чего устал, ей-богу!

— В раю отдохнем.

— Хоша-б итти днем,

А то разбери дорогу.

Команда. Лево!

Лево!

В ногу!

Ать-два!

В ногу!

В ногу!

Солд. разговоры. — Темно, некуда темней.

— Не споткнешься. Дорога без камней.

— Тьфу! В рот лезет паутина.

— Не паутина, Лука!

Это — облака.

Офицер. голос. — Не разговаривать, с-ска-тина!

Солдат. голос. — Я, ваш-бродь, говорю, что путина!..

Офицер. голос. — Мал-чать!

Команда. — Ать-два!

Ать!

Р-рав-не-ние на пр-ра-во!

Жулев, гляди браво.

Должен, подлец, понимать:

В рай идешь, т-вою мать...

Солд. голос. — Садануть бы его прикладом:

Поминай мать да не мою.

— Ничего-о! Мы с этим гадом

Поквитаемся в раю!

Команда. Раз-два-три-четыре!

Раз-два-три-четыре!

Лифатов! Ты в строю

Аль в тракторе?

Головкин! Опять перепутался местом!

Выдержу в раю месяц под арестом!

Солд. голос. — Уй-ю-ю-ю!

— Поквитаемся с ним в раю!

Команда (передается спереди назад, нарастая).

— Р-рота, стой!

— Р-рота, стой!

— Вольно!

— Вольно!

— Рота стой!

— Вольно!

Привал. (Вспыхивает маленький костер. Вокруг солдаты в разных позах).

Солдатские разговоры. Федя! Кузя! Повеселите душу, что-ль!

— Айда, Кузя, сыграем

В последний раз перед раем.

— На последнем привале попляшем.

Девчонкам с неба руками помашем.

— Не плачь. В раю, може,

Девчонки есть тоже.

— Да ведь они, поди, недотроги.

В раю порядки строги.

— Несет нас нелегкая в рай.

— Федя, играй!

ГАРМОНИСТЫ ИГРАЮТ.

Группа солдат (с присвистом и прибаутками пляшет).

(Через некоторое время).

Голоса: — Генерал Арнольди идет!

— Дивизионный идет!

— Дивизионный...

(Солдаты отступают на задний план. Входит генерал Арнольди с начальником штаба и священником).

Генерал. Где-же полковник Богатырев?

Богатырев. (Выходит с противоположной стороны).

Я здесь, ваше превосходительство.

Генерал. Через час в раю будем. Все у вас в порядке, полковник?

Богатырев. Так точно, ваше превосходительство.

Генерал. Это которая рота?

Богатырев. Пятая рота, ваше превосходительство.

Генерал. А где та рота вашего полка, что так в последних боях отличалась?

Богатырев. Это она и есть, ваше превосходительство.

Генерал. Пол-роты георгиевских кавалеров?

Богатырев. Так точно.

Генерал. Есть даже герои с четырьмя георгиями?

Богатырев. Так точно: два героя.

Генерал. Покажите мне этих молодцов.

Богатырев. (Уходит к солдатам, оттуда возвращается с двумя георгиевскими полными кавалерами — по 4 креста на груди у каждого).

— Вот они, ваше превосходительство.

Генерал. Ну, молодцы, молодцы!.. (Кавалеры берут под козырек).

Вот — в рай идете... Вот... Как, бишь, тебя зовут...

Перв. кавалер. Евстигнеев, ваше превосходительство!

Генерал. Ну, вот... Молодец, Евстигнеев... Ну, ступай! (Евстигнеев ух-

дит). Ну вот... (Обращается к второму герою). И ты тоже... в рай... Потому сумел — за веру, царя и отечество... Молодец, как, бишь, тебя...

Втор. кавалер. Рабинович, ваше превосходительство!

Генерал. (Опешив). Что?! Рабинович?.. Жид?!

Второй кав. Еврей, ваше превосходительство!

Генерал. Что-ж ты мне сразу не... Крещеный, может быть?

Втор. кав. Никак нет, ваше превосходительство!

Генерал. Пош-шел вон!.. (Солд. уходит)... Безобрази!.. Как же это так, полковник, а?.. Жид! Где ротный?.. Как-же это, капитан, а?.. Жид!

Капитан. Выдающейся храбрости, ваше превосходительство! В бою при...

Генерал. В бою, в бою!.. Что вы мне в бою!.. Ведь мы через час — в раю. Как же мы в рай жида проведем?

Капитан. В роте еще имеются евреи, ваше превосходительство!

Полковник. Во всем полку.

Нач. штаба. Во всей дивизии.

Генерал. Гнать! Гнать! Гнать!

Нач. штаба. Куда прикажете гнать?

Генерал. Ко всем чертям! Куда угодно! Чтoб ни одного жида в дивизии!

Нач. штаба. У нас имеются магометане... лютеране...

Генерал. Да, в самом деле... Позвольте, как-же быть? Полковник Саид-Балиев — магометанин... Полковник Швейнкопф — лютеранин... (Задумывается. Потом решительно). В рай, в рай!.. Всех офицеров — в рай! И магометан, и лютеран. Раз в офицерский корпус допущены, значит, и в рай имеют право... А жидов вообще — гнать, гнать, гнать!

Нач. штаба. Святое дело, ваше превосходительство, гнать... При других, однако, обстоятельствах. А сейчас у нас такое положение. Изгнать строевых — куда ни шло. Но куда врачей денем?

Генерал. Обойдемся в раю без них.

Нач. штаба. А с музыкантами как? Ни одного оркестра в дивизии не останется, так как большинство музыкантов...

Генерал. Жида!

Н а ч. ш т а б а. Так точно. Дивизия войдет в рай без музыки.

Г е н е р а л. В рай — без музыки?! Это невозможно!.. Немыслимо!.. Как же без музыки... Вести дивизию в рай без штанов — еще куда ни шло. Но без музыки... Невозможно!.. Немыслимо!.. Как-же быть? Чор-рт побери!.. Послушайте, полковник: нельзя ли всех жидов в дивизии немедленно... крестить?! Го-го-го-го!

К а п и т а н. Ги-ги-ги! (С подхалимством). Ги-ги-ги!

П о п. Гы-гы-гы-гы!

Н а ч. ш т а б а. Го-го-го-го!.. Это уж по специальности вот батюшки.

Г е н е р а л. Как, батюшка, а? Можете немедленно всех наших дивизионных жидов крестить?

Е л п и д и ф о р. Поздно, ваше превосходительство. В священном писании...

Г е н е р а л. (Раздраженно) Что мне ваши писания! Тут дивизия, а не писания!..

Е л п и д и ф о р. Сказано-бо: после смерти нет крещения.

Г е н е р а л. Сказано! Ска-а-зано! А вот как выйти из затруднительного положения—не сказано! Чего они стоят—ваши священные писания!

(Что-то говорит дальше, но его не слышно, вследствие нарастающего среди солдат гула. Наконец, можно разобрать отдельные

С о л д а т с к и е в ы к р и к и:)

— Кого гнать?

— Евреев гнать?

— Офицерню гнать надо, вот кого, а не евреев!

— Как в окопы, так и евреи хороши, а как в рай...

— Рабинович, не плошай!

— Шапиро, плюнь! Вместе в рай пойдем!

— Вместе воевали, вместе и на тот свет.

Г е н е р а л. Что это?.. Бунт?.. Бунт?!

Н а ч. ш т а б а. Похоже на то.

С о л д а т с к и е г о л о с а:

— Довольно нам про евреев!

— В бой, так все одинаковы!

— Довольно!

— Гнать их, золотопогонников!

Г е н е р а л. Полковник! Это — бунт!

Н а ч. ш т а б а. (Хмуро). Очевидно.

Г е н е р а л. Расстрелять!.. Расстреля-я-ять!! Расстрел...

Н а ч. ш т а б а. К сожалению, это средство уже недействительно.

Г е н е р а л. Нельзя?.. (Визжит истерично). Нельзя?.. Крестить нельзя!.. Расстреливать нельзя!.. Как-же дивизией командовать, если нельзя ни крестить, ни расстреливать?! (Отдышавшись). Нельзя, говорите... Хорошо!.. Я с ними, мерзавцами, в раю...

Н а ч. ш т а б а. Дойти бы как-нибудь до рая.

С О Л Д А Т С К И Й Г У Л крепнет.

Г е н е р а л. (Попу) Вот... слышите?.. Всё из-за... Веди их!.. Как же нам вести в рай... этих... этих...

Е л п и д и ф о р. Насколько известно, Ваше превосходительство, в раю имеется не мало жид... то-бишь, евреев... некрещеных.

Г е н е р а л. Некрещеных?.. Да что вы!.. Например?..

Е л п и д и ф о р. Праотец Адам и праматерь Ева... Праведный Ной... Патриархи Авраам и Иаков... Псалмопевец Давид...

Г е н е р а л. Праотец Адам... Прамать Ева...

П о п. Да что прамать Ева! Сама мать богородица — еврейка некрещеная. Ей-богу!

Г е н е р а л. Правда, чорт побери!

Б о г а т ы р е в и к а п и т а н. — Правильно! — Верно! — Вот так штукенция!

П о п. Да сам Иоанн Креститель... того...

Г е н е р а л. (Успокоенный). Будет, будет... С этого бы и начали... Так по-вашему...

Е л п и д и ф о р. Есть на всякий случай перед богом от-го-во-о-роч-ка.

Н а ч. ш т а б а. (Смеясь). Вопрос, оказывается, благополучно разрешается! Жидов придется брать в рай. Да нам, действительно, ничего другого и делать не остается. Иначе — бунт. Надо скорей солдат успокоить. Приведем дивизию в рай в полный порядок. Мы, так сказать, свое дело сделали: отвоевались. А вопросы расформирования... Этим пусть райское начальство занимается.

Генерал. Вы правы. (Вздыхнув)
Ничего не поделаешь. Приказываю вести
всю дивизию в рай. Идем-те, господа.

(Полковник Богатырев идет к солдатам, что-то говорит. Гул спадает).

(Генерал и штаб уходят).

Команда. (Спереди назад утихая).

- Стро-о-ой-ся!
- Стро-о-ой-ся!
- Р-р-равня-я-яйсь!
- Р-ра-вняйсь!
- Пр-равое плечо вперед, шаг-гом...
а-арш!

(Где-то впереди чуть слышно играет военный оркестр. Затихает).

Солдат. голоса: — Напоролись
на мину!

- Вот дела!
- И храбрость нам не помогла.
- К храбрости тож нужно умение.
- Вывели нас безоружных в поле.
- Храбрости бы поменее,

А снарядов поболее.

— Без снарядов, что в храбрости
толку?

- Вот и дали нам по голым рукам.
- За что бились мы, братцы? За
царя, за Миколу!

— Так нам и надо, дуракам!

— Задурманили нас, обрядили в
шинели.

— И пошли мы ни за что под шрап-
нели,

Как покорная, темная орда.

- Поздно мы, братцы, поумнели.
- Поумнеть не поздно никогда.
- Обездолили сами вдов и сирот.

Офицерск. голос. Не разговари-
вать в строю!

Солдат. голоса: — Недолго кри-
чать тебе, Ирод!

— Доберемся до тебя мы в рай!

Команда. Ать-два!

- Ать-два!
- Ать!
- Ать-два!
- Ать!

Махмуткин, свиная кожа!

На что твоя выправка похожа?

Шире шаг!.. Шире!

Шире!

Раз-два-три-четыре!

Козлов, не напирай!

Не напирай!

Солд. голоса: Ведь вот как дьявол
привяжется!

— Скорей бы уж этот рай.

— Сейчас, говорят, покажется.

Команда. (Вдали). Ать-два!

Ать!

Ать!

Ать!

(Слышна песня: «Соловей, соловей, пта-
шечка...»).

(ЗАНАВЕС).

ТРЕТИЙ АКТ

Картина 1-я

Рай. Дворцовая площадь. В глубине сцены
дворцовый подъезд. Возле подъезда — помост,
разрушенный трехцветными флагами и божь-
им флагом, на котором вместо орла — изобра-
жение духа святого «в виде голубине».

По краям помоста две полосатых будки с
ангелами-часовыми в смешанной форме — ан-
гельской и Преображенского полка.

Сторожко проходят по площади — англ-
пристав, околоточный, трое городских и два
«гороховых пальто», (небесные шпионы, один
в темных очках, оба в галошах глубоких, с
зонтиком). Пристав курит.

Слышна издали военная музыка. У божьего
подъезда оживление.

Выходят — БОГ, ХРИСТОС, БОГОРОДИ-
ЦА, МАРИЯ МАГДАЛИНА и т. д. ТЕ-ЖЕ,
кто был в адском театре с богом, плюс ПА-
РАСКЕВА-ПЯТНИЦА своднического вида —
с группой своих «девочек». У БОГА поверх
риз генеральские эполеты. У ХРИСТА —
полковничьи, военные фуражки, аксельбанты,
португезя. Нимбы поверх фуражек. У БОГО-
РОДИЦЫ и МАГДАЛИНЫ звезды и ленты
через плечо. Нимбы поверх модной шляпки у
МАГДАЛИНЫ и старомодной шляпы у бо-
городицы, РАСПУТИН в прежнем одея-
нии — с лентой. БОГ и СВИТА занимают
место на помосте.

ГЕНЕРАЛ АРНОЛЬДИ везжает на
белом коне, держа шашку «на караул».
За ним оркестр. Дивизия идет колоннами, впе-
реди каждой колонны офицер с шашкой «на
караул». ГЕНЕРАЛ и ОФИЦЕРЫ в воен-
но-походной одежде, изрядно серой. СОЛ-
ДАТЫ ободраны до последней степени.
Многие в перевязках. У иных на од-
ной ноге сапог, на другой — ботинок. Обмот-
ки. Лица не бритые, хмурые. У одного сол-
дата на спине клетка, а в ней заяц. Другой
солдат под-мышкой поросенка несет. У тре-
тьего из сумки выглядывает гусь. За четвер-
тым собачка бежит. У пятого на боку гар-
мошка. И т. д. Военно-бытовое.

Бог (кричит) Здорово, молодцы!
Офицеры и один-два солдата
(нестроенно отвечают:)

— Здрав-жлам — ваш-божск-вли-
че-ство!!

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ хмуро
молчат.

Бог. — Молодцы, ребята!

Ответ (такой же жалкий): Рады ста-
раться ваш-божск-вличе-ство!

Бог. Ур-р-ря-я!!

Ответ (тот же, два-три — голоса)—
Ур-ра!

ПРИВЕТЫ и ОТВЕТЫ повторяются. Про-
ходит военный оркестр вторично. В одном слу-
чае даже нет совсем солдатского ответа. БОГ
и СВИТА удивленно и тревожно переглядыва-
ются. Шествие дивизии продолжается.

Картина 2-я

Декорация 5-й картины первого акта — у
райских врат. Виден хвост входящей в рай
дивизии. Райская стража стоит, вытянувшись.
Справа видна сидящая спиной к рампе Феодо-
ра-девственница. За кулисами с той же сторо-
ны слышно фыркание лошади и песня каше-
вара.

Ривела буря, дождь шумел,
Во мра-а-ки молнии блистали,
И бисприрывный гром гриме-е-ел,
И ве-стры в дебри бушевали.
И к славе страстию дыша
В стране суровой и угрюмой.

Кашевар. (Везжает на походной кухне,
продолжая петь:)

На диким бреги Иртыша-а-а-а
Сиде-е-ел Ирмак с глыбокой думой.

(Кляча останавливается. Полусонный каше-
вар повторяет:)

На диким бреги Иртыша-а-а-а
Сидел Ирмак с глыбокой думой.

(Говорит, очнувшись). Еще бы не с глы-
бокой думой. (Сплевывает). Проиграешь-
ся в карты так, как я наемни продул-
ся ротному писарю, так поневоле задум-
маешься. Сукин сын этот самый писарь,
Кузькин Николка. Жулик не иначе. При
каждом прикупе мне зубы заговаривает.
Все приговаривает: помоги мне, отче-чуд-
отворче! Помоги мне отче-чудотвор-
че! Тезка его, значит, Микола чудотво-
рец ему помогает. Первый, будто, кар-
тежник на небе — чудотворный тезка
этот. Будь ты проклят с тезкою твоим

вместе. (Сплевывает как раз на старуху, за-
мечает ее). Аминь, аминь рассыпся! Это
еще что за чучело? (Слезает с передка,
одергивает клячу возжами). Стой ты, без-
ногая! (К старухе) Ты чего тут уби-
ваешься, убогая?

Старуха. (Плачущая, ему что-то шеп-
чет).

Кашевар. (Вслушиваясь). Да ну!..
Да что ты?

Неужто не было охоты?

Девствовала до ста лет?

Сознайся все-же по секрету...

Есть докторский билет?..

(Скептически). Не-ету!..

Выходит нескладно...

Ну, ладно.

В раю—там проверят все в точности
Насчет твоей столетней непороч-
ности.

Чего?.. Не пустили непорочную в
рай?

Ай-ай-ай!

Не обрадовались такому подарку.

Столетнее девство на смарку!..

Так тебе и надо, дуре стоеросовой,

С твоей непорочностью бросовой!

Старуха плуце плачет.

Кашевар. Ну, неча пущать пона-
прасну слезу.

Как-нибудь я тебя ужо в рай про-
везу

Не сошла за непорочную старуху,
Сойдешь в раю за полковую пота-
скуху.

Так-то, брат, старушенция! не
унывай!

Ну, вставай!

Старуха встает, поворачивается ли-
цом к публике.

Кашевар (берет у нее из рук иконку
и швыряет ее в передок, а из передка выни-
мает чудовищно-громадную шляпу с черным
пером, мантилью, зонтик, ридикюль громадно-
го размера, в котором туалетные разные при-
надлежности и косметика).

— Обрядить мне тебя соответствен-
но нужно.

Чтоб была потаскухою ты хоть
наружно.

У меня вот найдется как-раз

Подходящий припас.

Накопил я трофеев для моей для
Марухи.

(К публике) Какую-ж я стервзу
сделаю сейчас

Из этой непорочной старухи!

(Обряжает старуху. Наводит ей красоту белилами и румянами. Время от времени отойдет и сам полюбуется).

— Ну, рожа!.. Ну, рожа!

(Подносит, наконец, ей осколок зеркала)

— Ну, рожа!.. Ну, рожа!

Полюбуйся, на что ты стала по-
хожа!

Старуха (долго всматривается в зеркало, начинает кокетничать. Музыка играет из Фауста «переодевание Маргариты»). Старуха, наконец, приходит в амурное неистовство, бросается с объятиями к кашевару, шепчет ему на ухо нечто такое, что тот в страхе отскакивает).

Кашевар. Вот так на!.. Вот так на!

Отвяжись, сатана!

Опомнись ты, старая дура!

Кто польстится на такого амура?

(Бежит вокруг кухни).

Старуха. (Гонится за ним).

Кашевар. Отвяжись!.. Отвяжись!..
Отвяжись!

Тьфу!.. Рехнулась старуха, кажись.
Вот тебе и девица без никакого
пороку!

Вот так нажил себе я мороку!

(Вспрыгивает на кухонный передок).

Из-за тебя тут застрянешь у врат.

Мне же нужно попасть на небесный
парад!

Старуха. (Ловко вспрыгивает на передок слева и пытается обнять кашевара правой рукой. В левой ридикюль и зонтик).

Кашевар. (Погоняет лошадь). Но!
Но! Но! Дуй, лети в три карьера! (Старухе раздраженно) Отвяжись ты, холера!

Картина 3-я

СНОВА РАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ. Продолжение парадного шествия дивизии. Третий раз идет оркестр и за ним колонна. Колонна кончается. Лица бога и свиты вытягиваются в сторону райских врат. Оттуда с гиком и криком влетает кашевар, нахлестывая лошадь и не обращая внимания на бога.

Бог (орет). — Ур-р-ря!

Старуха. (Обнимая кашевара и размахивая зонтиком и ридикюлем, орет истощным голосом).

— Ур-р-ра-а-а!!!... Ур-р-ра-а-а!!!...

— Ур-р-р-ра-а!!!

БОГ со свитой и райская публика тоже орут ура и бурно аплодируют старухе.

После этого к помосту подходят в строевом порядке ГЕНЕРАЛ АРНОЛЬДИ и ГРУППА ОФИЦЕРОВ, с ними ПОП.

Бог. (Пробует сказать речь). Э-э-э... Я оч-чень рад, господа... э-э-э... господа офицеры... что вы... так сказать... доблестно... э-э-э... так сказать... э-э-э-э... Поздравляю вас, господа... с прибытием... Ур-р-ря!

Арнольд и офицеры. Ур-р-ра-а!!

Поп. становится на колени и, воздев руки, молится.

Магдалина с Распутиным, глядя на попа, перемигиваются и фыркают.

Бог. Господа офицеры!.. Богородица и я... э-э-э... мы просим вас... (Пригласительный жест в направлении дворца) на торжественную трапезу... э-э-э-э... Ур-р-ря-я!!

Арнольд и офицеры. Ур-р-ра-а!!

Поп. (Бухается головой о землю. На его лице выражение молитвенного восторга).

Музыка играет бравурный марш, смахивающий на вальс. БОГ со СВИТОЙ важно проходит во дворец.

Арнольд и Гос-спода офицеры!!
На-ле-опп!! Прав-вое плечо вперед ша-агом аррррр-шш!

(Идет впереди. Офицеры строем за ним. Сзади семенит в ногу архистратиг Михаил).

Картина 4-я

Зал в божьем дворце. Пиршественный стол буквой П. Божье место посередине. Одесную Христос, ошую Богородица. Мария Магдалина, Параскева-Пятница со своими «девочками», Распутин, Николай Чудотворец, ап. Петр. Лот с двумя красавицами дочерьми, царь Давид с арфой. Ангельская военщина на правом крыле, дивизионные офицеры с Арнольди на левом. Все сильно пьяны, особенно Саваоф!

Музыканты видны в арке за Саваофом. При под'еме занавеса гул от музыки, разговоров и смеха. Офицеры пляшут с райскими «ангелочками». Архирей спит у стола против бога полусидя. Митра свалилась с его головы и мешает танцующим, ее отталкивают ногами. Общий танец сменяется ТАНЦЕМ ДОЧЕРЕЙ ЛОТА под музыку ЦАРЯ ДАВИДА, играющего на арфе! Балетный ориентальный номер.

Восторг пирующих. Офицерия атакуют лотовых дочерей. Мария Магдалина в задоре сменяет у арфы Давида. ДАВИД ПЛЯШЕТ.

Бог. (Плачет, хватаясь за голову.)
Ап. Петр. Готово Надрызгался.

А-а-а-а-а-а!.. А-а-а-а-а!.. А-а-а-а-а-а!

Опять про паму-маму заладит.

Бог. Сирота я распранесчастная... У

всех отцы, матери были, а у меня...
А-а-а-а!

Петр. Дела не поправишь. Не было, так не было.

Бог. У подкидышей и то отцы-матери есть... А меня кто на свет породил?

Ап. Петр. Кто-нибудь, наверно, породил. Может, вы, ваш-бож-вличество, запомнили по-старости...

Бог. Не надо старости!.. Не хочу старости!.. Хочу быть отроком!.. Отроком!

Крики: — Отроков! Отроков!

Бог. — Отроков!.. Отр...

(Бегают отроки. Групповой танец под оркестр. Святители библейские особенно — растаскивают отроков. Сверху сыплются розы. Нечто вакханальное. Группа офицеров насадет на Распутина).

Перв. офицер. Ты, сволочь, и тут устроился.

Распутин. Мил-лай...

Втор. офицер. И тут тебе раздолье, хамово отродье?

Распутин. Мил-лай...

Перв. и втор. офицеры. — Молчи, собака! — Гнус! —

Третий офиц. (Бьет Распутина по физиономии. Свалка. Распутин хрипит. Ангелы-военные растаскивают дерущихся. Распутин взлохмаченный с покривившимся нимбом шатается. Ангелы его уводят).

Архистратиг Михаил (подходит встревоженно к генералу Арнольди).
Что это значит, генерал?

Арнольди (пьяно и грубо) То значит, что значит.

Михаил. Оскорбить так святого Григория...

Арнольди. Если вы все тут такие святые, то всех вас надо к распра...пра...на... (силится выговорить).

Михаил. Генерал, успокойтесь. Вы обещали прислать сюда дивизионных пельсельников.

Арнольди. (Насмешливо) Так точно-с. Обещал.

Михаил. Посылали за ними?

Генерал. Так точно.

Михаил. Что же их нет?

Арнольди. Нет и... не будет. Пойте сами!

Михаил. Генерал!

Арнольди. Что «генерал»? Был генерал. Теперь генеральствуйте вы.

Михаил. Что с вами?

Арнольди. Что со мною, я знаю. А вот, что будет с вами, я не знаю.

Михаил. Вы что-то хотите сказать...

Арнольди. Я хочу сказать: пельсельников не будет.

Михаил. Почему?

Арнольди. Потому. Дивизия взбунтовалась.

Михаил. Взбунтовалась?

Арнольди. Так точно, взбунтовалась.

Михаил. То-есть, как это взбунтовалась?

Арнольди. А так, как вообще солдаты бунтуют: примкнули к ружьям штыки, нагрузились патронами...

Михаил. (Крайне взволнованно) Хорошенькое дело!.. Военный бунт!.. Как с неба свалилось!

Арнольди. Не с неба свалилось, а с земли.

Михаил. С земли!

Арнольди. Поступили с землей крайне тревожные известия. Петроград на осадном положении. Рабочие всех заводов вышли на улицу. Часть войск взбунтовалась.

Михаил. (Хватаясь за голову) Ужас!.. Ужас!.. Ужас!..

Арнольди. Слухи с земли проникли в 14-ю дивизию, и она взбунтовалась — здесь, на небе.

Михаил. (Тараща глаза) Взбунтовалась против царя небесного.

Арнольди. По симпатии. Заодно. Бог на небе, царь на земле.

Михаил. Бунт в раю может перекинуться на остальные части.

Арнольди. Не сомневаюсь.

Михаил. Генерал!

Арнольди. (Саркастически). Чего изволите, ваше архангельское высокопревосходительство.

Михаил. Я вас прошу...

Арнольди. Приказывайте.

Михаил. Усмирите их!

Арнольди. Нет, усмиряйте уж вы теперь сами. Вы здесь начальство.

Михаил. У вас опыт. Вы усмиряли в 905-м году.

Арнольди. У вас тоже опыт. Вы когда-то усмиряли восставших ангелов.

Михаил. Библейские враки. Поэтические выдумки. Никто не бунтовал, ни-

кого не усмиряли. Опыт усмирительный у вас.

А р н о л ь д и. Мой опыт кончился на земле.

М и х а и л. (Трусливо) Послушайте... Взбунтовавшаяся дивизия... Солдаты с ружьями... Они могут притти сюда.

А р н о л ь д и. Почему им и не притти, раз их никто не задержит?.. (Машет безнадежно рукой). Ни хрена вы тут все, я вижу, не стойте. (Отворачивается. Сквозь зубы). Ар-р-хангельская балда!

М и х а и л. Не говорите богу. Я сейчас. Я узнаю. Я приму меры. (Уходит озабоченно за кулисы. За кулисами слышно пение. Грубые голоса поют «Царю небесный, утешителю...»)

Б о г. (В пьяной радости). Песельники!.. Песельники!..

А р н о л ь д и. Нет, это не. песельники... (Удивленно). Скорее похоже на...

Х р и с т о с. (Картавя) Навегное, это — противные попошайки... (Брезгливо)... гайские н-ни-щи-е.

Б о г. Блаженни нищие!.. Гнать их!.. (В направлении, откуда доносится пение, кричит, отмахиваясь обеими руками). Бог подаст!.. Бог подаст!.. Бог подаст!..

(Вваливается орава городских — изорванных, изуродованных, обвязанных платками и бинтами, несколько приставов и жандармов с жандармскими офицерами).

Г о р о д о в ы е и ж а н д а р м ы (продолжают петь) ...душе, истинный, иже везде сый и вся исполняй... Сокровище благих и жизни подателю... прииди и всели-ся в ны...

Б о г. (Кричит). Молчать!.. Молчать!.. Безобразия!

Г о р о д. и ж а н д а р м. (Поют)... и очисти ны от всякия скверны...

Б о г. (вскочивши, свирепо) Молчать, сук-кины сыны!..

Г о р. и ж а н д а р м. (замолкают).

Б о г. Кто вас сюда звал?.. Откуда вы?.. Как вас сюда пропустили?!

(Среди пировавших суматоха. Все устались на городских и жандармов с крайним любопытством).

Ж а н д а р м. о ф и ц е р (выступив вперед и взяв под козырек). Честь имею доложить вашему божескому величеству... Офицеры и нижние чины петроградской жандармерии и полиции в числе... в числе... мн... мн... доблестно павшие от руки...

Б о г. Какой руки...

Ж а н д а р м. о ф и ц. От взбунтовавшейся столичной черни, рабочих и... восстановшего петроградского гарнизона...

О б щ и й с т о н. Гарни-зо-о-она! (У небожителей вытягиваются лица, у бога встают дыбом волосы).

Б о г. (Оседая) Что случилось?

Ж а н д. о ф и ц. Р-ре-во-лю-ци-я, ваш-бож-вличество!

Б о г. (Хватаясь за сердце) Бунтуют рабочие... куда ни шло... Но войска... войска... Кто будет усмирять? Некому усмирять...

Ж а н д а р м. о ф и ц. Так точно. Больше некому. Жандармерия и полиция держались, пока было можно... Теперь их избивают... Мы—первые жертвы расправы...

Б о г. (Всклипывая.) Великомученики вы мои... Стратотерпцы вы мои... (Поворачивается к небесному статс-секретарю). Венки на них надеть... мученические!.. Произвести на небесные архангелы... Зачислить на удвоенный райский паек!..

С е к р е т а р ь б о ж и й делает распоряжения. Вбегают несколько ангелов с нимбами и крыльями под-мышкой. Прикрепляют нимбы и крылья жандармам и городовым. Музыка играет веселенькую «молитву».

«Новопроизведенные» выстраиваются.

Б о г. Поздравляю вас с производством в чины ангельские!

Ж а н д. и г о р о д. Ур-р-р-ра!!! (Затем общее молчание).

Б о г. (Секретарю) Пусть они уходят.

С е к р е т а р ь— (машет руками, показывает жанд. офицеру, что надо уходить).

Ж а н д а р м. о ф и ц е р (делает головою отрицательный жест. Так продолжается несколько раз).

Б о г. (Нахмурясь) В чем дело?

Ж а н д а р м. о ф и ц е р. Осмелюсь доложить: они (показыв. на нижн. чинов) без водки не уйдут. По случаю производства.

Н и ж н. ч и н ы (вкусно крякают, переступают с ноги на ногу, вытирают усы, всячески выражают свое желание выпить).

Б о г. (Секретарю). Угостить их!

С е к р е т а р ь (устраивает жандармов и городских у стола в углу. Начальство садится. Нижние чины стоя выпивают).

Б о г и н е б о ж и т е л и (сидят некоторое время, грустно склонив головы).

Н и к о л а й ч у д о т в о р е ц. Елки-палки!.. Мать-богородица, что-же это дальше будет?

Богородица. Откуда-ж мне знать?.. (К богу) Старик... А старик... Тут спрашивают: что дальше будет?

Бог. В самом деле. Что будет дальше?.. (Внезапно останавливается взором на генерале Арнольди, развалившемся у стола и смеющемся пьным, генеральским смехом: «хо-хо-хо-хо!»)

— Генерал!

Арнольди. (Встает на вытяжку с некоторой долей небрежности). Чего изволите, ваш божсквал...

Бог. Что по-вашему будет дальше?

Генерал. По-моему... хорошего ничего не будет.

Бог. (Стуча папиросой по портсигару) А все-таки.

Арнольди. (Вынимая тоже папиросу) Разрешите?

Бог. (Галантно) Сделайте одолжение! (Чиркает спичкой и дает прикурить генералу). Что-ж будет?

Арнольди. Вам видней.

Бог. Ни чорта мне не видней.

Генерал. Кому ж больше видеть! У вас всевидящее око.

Бог. (Обрадовавшись) Всевидящее око!

Небожители. (Оживленно) — Всевидящее око!..—Всевидящее око!..—Всевидящее око!.. — Принести всевидящее око!

Бог. Позвать механика с всевидящим оком!

Небожители. — И всеслышащим ухом!..—Всеслышащим ухом!

Бог. И всеслышащим ухом!

Секретарь (бежит за кулисы и возвращается обратно с механиком).

Механик. — (Заспанный, недовольный—старый-рестарый, как «Время» — выкатывает два аппарата: «Всевидящее око» и «Всеслышащее ухо», наставляя их на зрительный зал. Протирает их, плюя то в «око», то в «ухо», продувая ухо и все время ворча.) Запонадобилось!.. Сколько времени без внимания, а тут среди ночи... Тьфу!.. Око засорилось... В ухе паутина... (наладив) Го-то-во!.. Смотрите, слушайте!

Бог. Наведи око и ухо на... на... полгода вперед.

Механик (наводит) Готово.

Бог (прилаживается к глазу и уху. Отскакивает и встряхивается).

— Уф-ф!.. Уф-ф!.. Уф-ф!..

Небожители. (По очереди делают то же самое и так же отдуваются после удивленного и услышанного).

Арнольди. Жжется?.. Я так и знал... И смотреть не хочу.

Бог. (Опять у аппаратуры). Что в Питере творится!.. Солнечно... Легкая одежда... Июльский денек, видать... Весь Невский и Литейный запружены народом... Рабочие... солдаты... красные знамена... плакаты... Надписи: «Долой войну!», «Долой временное правительство!».

Арнольди и жанд. офиц. — Ого! Уже и временное правительство долой! — Долой войну! Куда уже зашло!

Бог. (Всматривается, читает). «Вся... власть... са... сав... сав...»

Небожители. — Саваофу!.. — Саваофу! — Саваофу!

Бог. Вся власть Саваофу!.. (Вглядывается пристальнее. Плаксиво.) Нет, не Саваофу... Со.. со.. ве... ве... Вся власть со-ве-е-етам!

Небожители. (Разочарованно). Со-ве-е-етам!

Арнольди и жанд. офиц. — Ну, это уж черт побери!—Что же делает, как позволяет временное правительство?

Бог. (Продолжает всматриваться в око). Стреляют!.. Верные правительству войска стреляют!.. Казаки врезались в толпу... рубят направо и налево!..

Арнольди. (Весело потирая руки) — Ну, это другое дело! Кадетская власть, наверное!

Жанд. офиц. Вы мало знаете эсеров и меньшевиков: от них тоже рабочим не поздоровится.

Бог. А кто-же рабочих и солдат на улицу выводит?.. Кто требует советов?.. (Плаксиво). Это-же опять девятьсот пятый го-о-од!

Арнольди и жанд. офиц. — Хуже!—Гораздо хуже!

Бог. (К механику) Голубчик, подверни еще... этак на четверть годика.

Механик (подворачивает).

Бог (вглядывается, ахает и хватается за голову). Опять суматоха... Крики... Газетчики орут: «арест временного правительства!».

Арнольди и жанд. офиц. — Арест!—Арест!—Уже арест!

Бог. Совет народных комиссаров... Большевицкое правительство... Большевики... Большевики!..

Арнольди и жанд. офиц. (Пораженные). — Большевики! Большевики!

Все полицейск. и жандарм. нижн. чины в панике выскакивают, кто в окно, кто в двери, с криками: — Большевики! — Большевики! — Большевики!

Панической волной унесена со сцены и большая часть пировавших небожителей. Остаются только бог, богородица, Иисус, Николай Чудотворец, Петр, Мария Магдалина, Параскева-Пятница, Секретарь, Арнольди, жандармск. офицер и дивизионный поп.

Бог. Большевиков испугались.

Жанд. офиц. Как тут не испугаться? (Волеуясь) Если-б вы, ваш-божничество, большевиков получше знали, вы-б тоже побежали, куда глаза глядят.

Бог (Обиженно) Я?.. (Механику) Голубчик, подверни еще на... на... года на два, что-ли! (Механик подворачивает. Бог всматривается.) Ничего не понимаю, кто кого... Дерутся, видать, промежду собою русские.

Арнольди. (Резко отстраняя бога). Дайте я... (Всматривается) Чего-ж тут не понимать?.. Тут красные знамена... там русские национальные... Тут играют интернационал... Там—«Боже царя храни»... Тут, значит, Красная армия... Там—белая... Белой англичане и французы помогают... (Механику) Подверни, подверни... (Отстраняет механика). Не надо... Я сам... Ага-га-га!.. Так, так, так!.. Ловко наши работают... Молодец Деникин!.. Не ожидал я от него!.. За Россию-матушку, единую, неделимую... За веру православную!

Бог (оживляясь и старчески-глуповато радуясь). За веру православную!.. За веру православную!..

Небожители (тоже бормочут что-то радостно).

Поп (часто крестится).

Жандарм (порывается тоже приложиться к аппарату).

Арнольди (подворачивает дальше, нервничает) Юденич—неудача... Миллер на севере—неудача... Колчак—катастрофа... Деникин... Мать твою за ногу! Что-ж это! Даже англичане с французами осрамились! (Отскакивает от аппаратуры). Большевики расколотили всех!

Небожители. —Всех расколотили!—Всех!—Всех!

Бог. (Суетливо бегаёт, хватаясь за голову) Боже мой, боже мой!.. Боже мой. боже мой!

Арнольди. (Быстро налив себе громадный бокал водки и опорожнив его, бросается опять к око и уху, вертит, потом обращается к механику) Подбавь на десять лет сразу!.. Чтоб сразу увидеть, чем это кончится! (Механик подворачивает. Арнольди вглядывается и вслушивается).

Небожители. Да, уж лучше сразу. Не мучиться чтобы. Чем кончится?

Бог: Боже мой, боже бой!..

(Все ждут арнольдовских реплик с вытянутыми лицами).

Арнольди. Строят... Понимаете?. Большевики всех расколотили, а теперь строят...

Бог (робко) Церквей мне не строят?

Арнольди. (Пьяно и грубо) Сказал бы я, что тебе строят... кабы тут не... божественные дамы... (Смотрит в аппарат). Оборону строят... Армию создали какую — чудо!... Аэропланы какие... Ну, молодцы!.. Перекрыли нас, дураков!.. Заводы строят... Фабрики строят... Дома для рабочих строят... Плюнуть некуда—езде строят... Деревни уже не те... Советы... Тракторы... Тракторы...

Небожители. — Деревни!.. — Церкви божии...

Арнольди. Церкви божии — без крестов... Флаги красные вместо крестов... Обезбожились церкви божии. (Насмешливо). Отвернулись от бога все христиане православные.

Бог. (Топает ногами) Не верю!.. Не верю!.. Не верю!..

Арнольди. Что бог не верит... не велика беда. Побольше беда, когда в бога перестают верить.

Бог. (Визгливо) Кто перестает?.. Кто перестает?.. Кто не верит?.. Есть верующие.

Арнольди. А, пожалуй, еще есть. (Смотрит в аппарат). Они даже чего-то там снюхиваются, большевистскому Строительству мешают!

Небожители. (Радостно). — Так, так, так! — Мешают! — Мешают! — Строительству мешают!

Арнольди. Всячески вредят...

Небожители. — Так, так, так! — Вредят! — Вредят! — Всячески вредят!

А р н о л ь д и. Что-то против строительства проповедают... Шут их знает, что они выкрикивают, не разберу. (Полу) Это по вашей части.

П о п. (Суетливо крестится и прикладывает к аппаратуре). Не сдаются православные... Что, говорят, строите? Магнитогорски? Днепрострой? Тракторострой? (Кричит) Башню вавилонскую строите!.. Вавилонское столпотворение—строительство ваше нечестивое, социалистическое!

Б о г. (Подпрыгивая и потирая руки). — Так, так, так! Вавилонское!.. Вавилонское!

П о п. (Кричит). Не выполняйте плана большевистского, православные!.. Один голько план есть — премудрый, совершенный, господом богом предустановленный.

Б о г. Так их!.. Так их!.. Крой их, разбо...жественную их мать!

П о п. (Орет) Времена антихристовы наступили. Сказано бо в писании: птицы железные будут летать, — летают аэропланы!

Н е б о ж и т е л и. — Так, так, так! Ловко наши! — Ах, как хорошо! —

Б о г. Так, так, так!.. Крой их, расту-ды...

П о п. Сказано: единоначалие антихристово утвердится,—вы насильно загнаны в колхозы!

Н е б о ж и т е л и. — Загнаны!.. Куда загнаны?! —

Б о г. Загнаны, как козы!.. Как козы!..

Г е н е р а л. (С бокалом, зло смотрит на бога) Козы у тебя под носом, старая ты недотёпа!

Б о г. (Увлечшись, лопу) Ну, ну, ну, что же дальше!..

П о п. (Во всю глотку). Все колхозные машины—от нечистой силы. Знамение суму — начертание антихристово; три буквы—ЭМ-ТЕ-ЭС!.. ЭМ-ТЕ-ЭС! Сиречь: мир топит са-тана-а-а!.. (В горячке поп наводит око и ухо на заднюю кулису)... Мир топит сатана-а-а-а!

Б о г. Сатана!.. Сатана!.. Пугай их!.. Пугай!.. Пугай!..

П о п. Господи!.. Ма... ма... ма!.. Мо... мо... мо!.. Что я вижу?.. Матушка-Москва!

Б о г и п р о ч. (Радостно) — Москва! — Москва-матушка! — Златоверхая! — Церковными маковками усеянная! — Москва! (На задней кулисе появляется МОСКВА. Модель. Москва старая. Происходит ее превращение в новую Москву... Растут на пустырях новые рабочие поселки. Множатся фабричные трубы. Рушатся часовни и церкви—Параскевы-Пятницы в Охотном, церковь в Столешников. переулке, Иверская часовня,— взрывается Симонов монастырь, нарастает освещение Москвы, выделяется громадина Христа Спасителя, которая начинает разваливаться и взрывается тоже. Вместо «модели» может быть использован кинематографический материал, «киномонтаж»: строятся заводы, рабочие города, — рушатся монастыри и церкви).

Вспыхивают электро-лозуиги:

«БОРЬБА ПРОТИВ РЕЛИГИИ —
БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ!»
«РЕЛИГИЯ—ВРАГ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!»
«БЕЗБОЖНИКИ ЗА НОВУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ!»

П а р а с к е в а - п я т н и ц а (Начинает причитать при сносе ее церкви).

Б о г о р о д и ц а (ярится и плачет при сносе Иверской часовни).

Б о г. (Отмахивается от всех). Отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!.. На кой вы мне!.. Не до вас!.. Все пропало! Все пропало!

М а г д а л и н а. (Сидит, как каменная).

П о п (мечется).

Х р и с т о с при взрыве храма «ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ» кричит: — «Папаша!» «Папаша!» — и без сил опускается на пол.

М а г д а л и н а. (Вскакивает и пытается привести его в чувство, поднося ему к носу флакончик).

П о п (падает на грудь жандармскому офицеру. Оба плачут, вздрагивая).

А р н о л ь д и. (С бокалом, пьяно декламирует).

Чуть не все алтари большевизм погасил.
Православных церквей, ваше божье величество,
Уцелело совсем небольшое количество.

Б о г. (Хватаясь за голову). Богом быть православным уж нет больше сил!..

Невозможно!.. Конец!.. (Визжит). Перейду в ка-то-ли-и-ичество!..

М е х а н и к (смеясь, уволанивает за кулисы око и ухо). За сценой слышен гул. На сцену вбегает взъерошенный, помятый, с одним крылом, с нимбом на бок.

Архистратиг Михаил. (Кричит)
Кар-ра-ул!.. Убивают!..

Бог и проч. (Кроме пьяно хохочущего Арнольди).

— Кто? — Что? — Кого убивают?

Михаил. 14-я дивизия взбунтовалась!

Бог и проч. А-а-а-а-а-а!!!

Михаил. Солдаты бегут сюда с гранатами, ружьями...

Бог и проч. А-а-а-а-а-а! (Оседают, где кто был. Поп лезет под стол. Жандарм выпрыгивает в окно).

Ап. Петр. (Злобно уставясь на бога). Доуправлялся, значит, до ручки. Был бог — нет бога. Тыфу! (Убегает). Отрека-а-аюсь!... Отрека-а-аюсь!... Отрека-а-аюсь!... Дивизия, солдатики, братцы мои, отрекаюсь... Тут жулики все небесные... А я ни сном, ни духом... Отрека-а-а-аюсь!

(Издали доносится пение петуха).

Арнольди. (Хмуро). Обидно. С такой сволочью и мне погибать приходится. (Хватает графин и пьет прямо из графина).

Михаил. Теперь нам верная смерть!

Бог и проч. Сме-е-е-ерты!! (Сумерки на сцене. Мрак. Стоны). А-а-а-а-а-а!..

Выходит на авансцену механик. (На ходу разгримировывается. Снимает пиджак. Штаны. Оказывается комсомольцем в юнштурме. Обращается к публике).

— Тиш-шел!.. Тиш-шел!.. Боги умирают!..

Умирают боги... не бывшие...

Не бывшие, но жившие...

Жившие внизу и в высоте...

В выдуманной красоте...

В бесчисленном многообразии.

Плод испуганной, темной фантазии...

Нынче их кончены дни,

Умирают, уходят они...

Уходят не творцы, а творения,

Кошмаров человеческих плод,

Как уходят больные испарения

Из осушаемых нами болот.

То, что было самообманом,

Дурманом,

Уходит туманом...

Туманом сплошным,—

Божественное стало—балаганом,

Трагическое—смешным.

Рыдайте, настроенные богомольно!

С нас дури довольно!

Вперед, к победе пролетарских идей!

Нам божественная шарманка наскучила!

На сцену—живых и мудрых людей!

Со сцены—мертвые, глупые чучела!

СТОНЫ в темноте за комсомольцем все время. Когда он кончает речь, стоны продолжают: — А-а-а-а-а-а!

Из темноты выползают на четвереньках

Бог. (К механику, не замечая, что он уже окомосолился и что нет ни «ока», ни «уха»). -Пс-с-с-с!.. Пс-с-с-с!.. Любезный...

Бывш. механик. Что такое?.. В чем дело?

Бог. Подверни еще око... Погляди...

Быв. механик. Что глядеть?

Бог. (Плаксиво). Четырнадцатая дивизия меня сейчас уко-ко-о-ошит!

Быв. механик. (Удивленно) Укокошит?.. Ах, да!.. (Подмигивает зрительному залу). Верно. Укокошит!

Бог. Интересно все-таки увидеть, что со мной... и вот с ними (тычет пальцем в темноту) будет после того, как нас дивизия...

Небожители (в темноте). А-а-а-а-а-а!

Быв. механик. Ладно. (Наводит воображаемое «око» и «ухо» на зрительный зал). Ну, вот навел! (Смотрит через левую, согнутую трубкой, ладонь)... Гляжу... Вижу... Вижу...

Бог. (Отвернувшись, жмурясь от страха). Ну, что ты видишь? Что ты видишь?

Быв. механик. Публика... Определенно своя публика. (Улыбается и приветливо машет рукой). Ребята с механического... С тракторного... С электростанции... Вон Сережка... Манечка... Здорово, комсомольцы! Ударнички! Соцстроители!

Бог. (Протирает себе уши) Что ты плетешь?.. Что ты плетешь?

Быв. механик. Ничего не плету... Ребята смеются.

Бог. Чему смеются?

Быв. механик. Смеются, глядя, как мы на сцене божественный балаган отмачиваем, небесную чепуху разоблачаем...

Бог. Чепуху... Позволь!.. (Вскакивает). Я не позволю!.. Бог я или не бог?.. (Замечает, что механик уже без грима и в юнштурме). Петька!.. Ха-ха-ха!

Быв. механик. Ванька!.. Ха-ха-ха!

Мадагаскар

Повесть

А. НОВИКОВ - ПРИБОЙ

I

Эскадра, обогнув мыс Доброй Надежды, шла курсом норд-ост, подпираемая с кормы засвежившим за ночь ветром.

Утро 7 декабря было ясное, но волны стали крупнее. Начались штормовые порывы. Броненосец наш покачивался на киль и борта.

Кто-то из матросов, находившихся на верхней палубе, обратил внимание на солнце.

— Смотрите, оно идет не слева направо, а совсем наоборот.

Это явление заинтересовало многих.

— Вот чудо! Выходит, как будто солнце с запада поднялось.

— Да, против часовой стрелки показилось.

— И кажется, что мы в Америку повернули.

На самом деле ничего не изменилось, но сами мы находились в южной половине земного шара. Мы давно пересекли экватор. Воображаемая дуга солнечного пути, загибающаяся с востока на запад, осталась от нас к северу. Вот почему и казалось, что дневное светило идет в обратную сторону. Ничего не было удивительного и в движении часовой стрелки слева направо. Это только указывало на то, что когда-то часы были солнечные, а по ним уже начали делать механические, пружинные. Отсюда вытекала еще одна истина, — очевидно наш изумительный прибор, отмечающий время, впервые появился на свете в северной половине земного шара.

Теоретически для меня все было понятно, и я, насколько мог, поделился

своими знаниями с товарищами. Но когда мне самому пришлось столкнуться с подобным небесным явлением, я был удивлен не меньше других. Я никак не мог примириться например с тем, что если хочешь посмотреть на полдень, то должен повернуться к югу спиной, ибо это противоречило навыкам всей моей предыдущей жизни.

К обеду ветер, усиливаясь, дошел до десяти баллов. Волны становились все размахистее и, вырастая, круто обрывались впереди. По океану, куда ни глянешь, брели, встрепанно качаясь, пузатые седые великаны, брели бесчисленными полчищами, с оглушающим шумом. Ухающие раскаты вздыбленной воды. Удары ее о железный корпус судна, завывание в рангоуте, свист в углах надстроек, непрерывный гул всего простора — все эти звуки сливались в одну несладкую, но чрезвычайно могучую симфонию. Броненосец начал черпать кормою сразу по несколько десятков тонн воды.

Многие матросы, в особенности молодые, страдали морской болезнью и от казывались от обеда. Зато для других наступила счастливая пора: они наедались мясом доотвала. Больше всех был доволен коцегар Бакланов. Покуривая на баке у фитиля, он поглаживал корявой рукой по своему туго набитому животу и хвалился:

— Кажись, десяток пайков заложил в желудок. Вот подвезло. Если бы каждый день так кормили, я бы на всю жизнь остался на корабле топтать царские палубы.

Неразлучный друг его, минер Вася Дрозд, заметил:

— Ну и прожорлив же ты, Баклапов! Акула, а не человек! Только покажи тебе что-нибудь из с'естного — у тебя сейчас же рот нараспашку.

— Таким всевышний творец создал меня. А затем в физике прямо сказано: природа не терпит пустоты. Значит, милый человек, я тут не при чем.

— От еды свинья жиреет только, а не умнеет.

Кочегар насмешливо посмотрел на своего приятеля сытыми глазами, ухмыльнулся и промолвил:

— Спой, Дрозд, что-нибудь. Твое пение для моего желудка, что кислород для гопки, — очень хорошо идет сгорание.

— Об этом попроси свою мамашу.

На бак обрушилось облако сверкающих брызг, смочив всех, кто находился у фидыля. Матросы, смеясь, вскочили.

— Эге! Океан начинает хамить.

— Счастье наше, что шторм попутный. Досталось бы всем, если бы в лоб ударил.

После полуденного отдыха старший офицер Сидоров, сопровождаемый боцманами и матросами, обходил верхние части корабля. Шторм, повидимому, закуралесил надолго. Поэтому нужно было осмотреть каждый предмет и удостовериться, что он не будет смыт волною. Сидоров побывал на баке, на самом носу корабля и, убедившись, что клюзсаки на месте и якорные канаты обтянуты туго, повернул обратно. Затем полез на ростры. По его приказанию основательней закреплялись на своих местах гребные шлюпки и паровые катера. Следой шторм не разбирался в чинах и поступал со старшим офицером не лучше, чем с боцманами и матросами. Куда делась прежняя солидность начальника? Чтобы перейти с одного места на другое, он так же, как и его подчиненные, вынужден был сгибать спину, вбивать голову в плечи и, балансируя, широко раскидывая руки, как будто намеревался поймать кого-то в объятия. Благодаря тому, что из-под ног у него уходила опора, все его движения были неверные, порывистые, с внезапными остановками, с неожиданными бросками в сторону, словно он получал невидимый голчок в бок. Ветер дерзко рвал его лихо закрученные усы и обдавал густым соленым душем, смачивая на нем все

платье с ног до головы. Чтобы лучше слышать друг друга, Сидорову и его подчиненным приходилось кричать, а это производило впечатление, что между ними происходит пьяная ссора.

Серьезнее было в батарейной палубе. Вследствие перегруженности броненосца она оказалась довольно близко от поверхности воды. Пушечные порты закрывались не совсем плотно и, обдаваемые волнами, давали течь. Но хуже будет, если шторм изменит свое направление и начнет бить судно в борт. Волну, мягкую и податливую, можно сравнить с боксерским кулаком в пухлой перчатке. Кажется, что может сделать боксер таким кулаком? Однако это не мешает ему своими ударами ломать у противника ребра, выбивать челюсти. То же самое делает и разъяренное море с судном, разрушая у него даже железные части. Если пушечные порты не выдержат тяжелых ударов волн, то в раскрывшиеся отверстия начнет врываться вода и, перекачиваясь от борта к борту, загуляет по батарейной палубе буйными всплесками. При таком положении достаточно будет двадцати градусов крена, чтобы судно перевернулось вверх килем. Инженер Васильев хорошо понимал это и, отдавая распоряжения своим подчиненным, следил за их работой с необычной суровостью. Под его руководством матросы забивали щели в портах, устраивали к ним упоры из бревен, вимбовок и досок. Были приготовлены к действию водоотливные турбины.

Ночь была беспокойная. Броненосец под тяжестью водяных гор потрескивал в стальных креплениях. В те моменты, когда в подброшенной корме его обнажались винты, машина делала перебои. Из глубины машинного отделения, как из груди больного, доносилось учащенное биение, отзываясь на железном корпусе судна лихорадочной дрожью. Во всех жилых помещениях с закрытыми иллюминаторами, с задраенными дверями и горловинами было жарко и душно. И я, слушая сквозь железо приступы бури, долго не мог заснуть в своей подвесной парусиновой койке.

Какие только мысли не приходили в голову! Думал и о себе. Странно сложилась моя судьба. В селе, где я родился, сзади начего двора, за огородами, про-

текает маленькая речушка Журавка. Глубина ее, как говорится, — воробью по колено, но в ней водятся огольцы и пескари. Как только ноги мои окрепли для самостоятельного передвижения, я в летние месяцы по целым дням пропал на ней, испытывая необычайное удовольствие. Вообще, вода всегда притягивала меня к себе. Потом, подрастая, я от старших узнал, что есть на свете громадные реки и даже моря. Я охотно верил таким сообщениям, но не мог себе представить, чтобы где-нибудь воды было больше, чем в пруду водяной мельницы за нашим селом. Поэтому я был изумлен, когда впервые увидел реку Цну. Наша Журавка в сравнении с ней показалась ничтожной, как мышь перед короной. Впоследствии моя жизнь повернулась так, что я заделался матросом и начал плавать по морям. А теперь прошел по Атлантическому океану, обогнул Африку и вступил в Индийский океан. Покачиваясь в подвесной койке, как в гамаке, я каждую секунду ощущал неистовые взметы волн, слышал приглушенно-напряженный рев за бромированными бортами, низвергающиеся массы воды на палубу. Впереди у нас будет еще Великий океан. Все это было для меня очень грандиозно, но я никогда не забуду свою милую говорливую журчащую речонку, где ловил огольцов и пескарей и где прозвучало мое детство, как песня жаворонка.

На следующий день буря достигла величайшего напряжения. В свободные минуты я выбежал наверх посмотреть, что делается с кораблями. На этот раз кругом не было той мрачности, какой обычно сопровождается буря. Это был редкий случай, когда великое движение стихий совершалось под ясным небом. С невероятным напором и гулом несли ветер, словно где-то за горизонтом, за пределами нашей планеты, заработали вентиляторы колоссальных размеров. Катились валы, взметывались целые горы и тут же рушились ревущими водопадами, словно от минных взрывов. В солнечном блеске, в облаках сверкающей пыли летели охапки пены, как стаи белоснежных птиц.

Эскадра шла прежним строем: правая колонна состояла из одних броненосцев, возглавляемых «Суворовым»; в левую

колонну входили только транспорты с «Камчаткой» впереди; три крейсера держались позади в строе клина. Ход — десять узлов, но так как ветер был попутный и волны догоняли нас, то казалось, что все корабли, мотаясь, стоят на одном месте. Колебания «Осляби» в стороны было более двадцати градусов тогда как четыре новейших однотипных броненосца, в том числе и наш «Орел», кренились гораздо меньше. Но это не устранило у многих офицеров тревоги за участь корабля. Не было еще забыто предупреждение морского технического комитета, полученное накануне ухода эскадры из Ливавы. В этом грозном предупреждении говорилось, что такие корабли, как «Бородино», могут во время бури перевернуться, если только не будут приняты самые строгие меры. Наш корабль например вследствие перегруженности в три тысячи тонн имел осадку на три фута больше, чем предполагалось по проекту.

Больше всего доставалось транспортам и крейсерам. Они падали на борта от тридцати до сорока градусов. На них жалко было смотреть. И все-таки они вызывали меньше опасений, чем броненосцы.

Мне, как баталеру, кроме возложенных на меня начальством обязанностей, не полагалось знать ничего лишнего. Но втайне я всегда нарушал казенные правила. Конечно мне тоже было известно о предупреждении морского технического комитета. И в мозгу возникал жгучий вопрос: выдержит ли наш «Орел» натиск бури, если случайно станет лагом к волне? При мысли, что корабль может опрокинуться, становилось не по себе, и вздрагивали колени. Ведь с него успеют выскочить не больше двух десятков людей, находящихся наверху. Но и тех никто спасти не будет.

— Впрочем все это чепуха и ничего не случится, — мысленно успокаивал я самого себя.

Этим же путем, только в обратном направлении, в начале девятнадцатого столетия проходили, совершая свое первое кругосветное путешествие, такие знаменитые наши мореплаватели, как Крузенштерн и Литке. У них были жалкие суденышки — парусные шлюпки водоизмещением каждая менее пятисот тонн

Что на них должны были чувствовать люди, застигнутые подобной бурей? Какое мужество, какую любовь к морю нужно было иметь, чтобы на таких маленьких кораблях пускаться в кругосветное путешествие! Вспомнилось обидное изречение, когда-то вычитанное мной из морской литературы: «Раньше корабли были деревянные, но люди железные, а теперь корабли стали железные, но люди — картонные». Мне не хотелось быть картонным человеком, и я, бравирюя напускной отвагой, бродил по кораблю с таким видом, как будто буря несколько не беспокоит меня.

В этот день у нас страдающих морской болезнью оказалось еще больше. Наша медицина ничем не могла им помочь. А между тем от людей требовалась работа: военный корабль должен сохранять свое место в строю и двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. Тут выступали на сцену в качестве докторов боцманы и унтер-офицеры. Они знали средства, правда очень жестокие, но весьма радикальные. Если у какого-нибудь матроса лицо становилось бледносерым, а глаза, мутнея, безжизненно угасали, то на него, как ястреб на голубя, налетал боцман или унтер и с грозной бранью начинал стегать его медной цепочкой от дудки или резиновым линьком. От невыносимой боли избиваемый извивался ужом, на теле у него моментально вздувались рубцы, но зато после этого он также моментально свежел, наливался кровью, в глазах появлялся блеск, словно при встрече с возлюбленной. На некоторых из команды такие меры настолько действовали, что потом достаточно было только увидеть капральские усы, чтобы гошнотворное состояние у человека сразу, словно по волшебству, исчезло.

По срезам нельзя уже было пройти — смеет. На юте у нас находилось более ста тонн угля. Волны, наседая на корму, постепенно размывали его и выбрасывали за борт, и не было никакой возможности спасти драгоценное топливо. Кормовая башня и две боковых башни, расположенные на срезах, часто оказывались под бурлящим слоем океана. Как ни старались мы защитить свой броненосец, задрывая все люки, иллюминаторы и горловины, однако вода про-

никала в него всюду, разливалась по каютам и палубам, в подбашенных отделениях.

К вечеру я поднялся на задний мостик. Там встретился с инженером Васильевым. Он был весь мокрый и все-таки не уходил вниз под прикрытие. Этот человек всегда меня удивлял своей неумной жадной все познать. И теперь, прячась от брызг и ветра за рубку, он стоял с секундомером в руке, наблюдая за размахами бури.

Напор ветра настолько был силен что затруднял дыхание. Руки инстинктивно за что-нибудь хватались. Казалось, что бушующий воздух подхватит нас и, крутя, понесет в пространство, как пушинки. Даже высота мостика не спасала людей от брызг и ключевых пен.

Васильев окинул глазами взъерошенный океан и заговорил, выкрикивая слова:

— Какая сила растрачивается напрасно! Если бы человек сумел использовать всю энергию бури, что можно было бы с нею натворить?

По его расчетам, длина волны иногда доходила до четырехсот футов, а высота ее равнялась сорока футам. «Орел», содрогаясь, дыбился и лез на водяную гору, как фантастически-огромный бегемот, а потом, перевалив через нее, обессиленно нырял носом в разверзшуюся пасть, задирая к небу корму. В одну минуту он переваливался с борта на борт восемь раз. Мало того, в течение той же минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался шесть раз на высоту четырехэтажного дома, — и все это с такой легкостью, как будто он не превышал тяжести детской люльки. Несмотря ни на что, он шел вперед десяти-узловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали четырехмерное движение. В это время чем бы человек ни занимался, — думал ли он о жизни или смерти, зубрил учение Христа или Маркса, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, творил молитвы или ругался, — буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов.

Васильев восторгался своим броненосцем:

— «Орел» больше подвержен килевой качке, чем бортовой. Это объясняется

тем, что он имеет форму заваленных бортов. Помогают тут еще и бортовые срезы. Волна, попадая на один срез, предвращает размах судна в противоположную сторону. Все четыре однотипных броненосца — «Суворов», «Александр III», «Бородино» и наш — сконструированы в отношении бортовой качки довольно удачно. А вот «Ослябя» сделан по-другому, а потому и крен у него больше, чем у нас.

На транспорты жутко было смотреть. Казалось, что каждый из них, свалившись на тот или иной борт, никогда уже больше не поднимется. Но они выпрямлялись и шли вперед наравне с правой колонной броненосцев. В общем все четырнадцать кораблей являли собою изумительное зрелище, окутываясь в лохмотья пены и беспрестанно совершая бешеный танец. Иногда какой-нибудь из броненосцев, шедших впереди нас, совершенно скрывался между волнами, показывая лишь верхушки мачт. Это происходило внезапно, с такой быстротой, словно у него отвалилось днище и судно сразу тянуло в пучину. Но проходили секунды, и тот же корабль, словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взбирался на кипящий гребень водяного массива.

На «Малайе», державшейся на левом граверзе «Орла», в пяти кабельтовых от нас, что-то случилось с машиной. Она подняла сигнал, что не может управляться. С флагманского корабля ей ответили: «Исправить повреждения и идти самостоятельно». Она стала поперек волны и, отставая, закачалась еще больше, беспомощная, как арбузная корка. Бушующие потоки воды перекачивались через ее корпус. На ее передней палубе засуетились люди, стараясь поставить фок, кливер и стаксель, чтобы удалить нос под ветер и придать кораблю жизнь. Паруса наконец подняли, убогие и жалкие, но это нисколько не помогло «Малайе». Она продолжала, показывая подводную часть, размахиваться на волнах, лишенная хода. На мачте ее взвился новый сигнал: «терплю бедствие». Но ни одно судно не подошло к ней на помощь. Обе колонны прошли мимо «Малайи», оставляя ее на произвол бури.

— Если спасется она, это будет чудом, — с горечью промолвил Васильев провожая глазами «Малайю».

— Да, там туго людям, — ответил я язвико поживаясь.

Через час «Малайя» исчезла с горизонта.

Мимо нашего броненосца проплыли весла, анкерки и спасательные пробковые нагрудники. Вслед за ними, печально качаясь на волнах, показался гребной катер. Вскоре узнали от сигнальщиков, что катер принадлежал «Суворову» и был сорван бурей со шлюпбалок.

Волны, догоняя небольшой пароход «Русь», накрывали его с кормы до носа. Чтобы убежать от них, он с разрешения адмирала увеличил ход и взял направление ближе к африканскому берегу. Наступающая ночь скрыла его из виду эскадры.

Еще целые сутки Индийский океан свирепствовал над нами, но уже с меньшей силой. Волны стали отложе. Качка постепенно уменьшалась.

Пароход «Русь» догнал нас, но куда исчезла «Малайя»?

Поднимаясь наискосок к северу, тропику Козерога, эскадра два дня шла при благоприятной погоде. На броненосце были открыты все иллюминаторы люки, пушечные порты. Над нами тихо бродили редкие облака, радостно сияло солнце, легким дуновением ветра умерялась жара.

Среди команды и офицеров много было разговоров о будущей нашей стоянке у Мадагаскара. Ведь там мы должны соединиться с отрядом адмирала Фелькерзама, который направился туда через Суэцкий канал. Туда же должны еще притти крейсера из России: «Олег» и «Измруд» и другие суда. А как обстоит дело с покупкой аргентинских и чилийских крейсеров? Держится ли осажденный Порт-Артур и цела ли заблокированная в нем японцами наша первая эскадра? Все это были волнующие вопросы, ответы на которые мы узнаем только на Мадагаскаре.

Вечером 11 декабря «Камчатка» стала отставать от эскадры. Между нею и флагманским кораблем завязался продолжительный разговор сигналами. Адмирал расточал на нее свой гнев, угро-

жая отдать под суд виновников. «Камчатка» оправдывалась, ссылаясь на плохое качество угля, с которым кочегары, сколько ни стараются, не могут нагнать давление в котлах более восьмидесяти фунтов. Затем она запросила у адмирала разрешения выбросить за борт 150 тонн негодного угля, чтобы добраться до хорошего. Командующий на это ответил: «Выбросить за борт злоумышленника».

Погода начала меняться: то сыпал дождь, мелкий и надоедливый, то налетал норд-остовый шквал. Показалась южная оконечность Мадагаскара. Под покровом густых облаков температура была невысокая, но в насыщенном парами воздухе трудно было дышать.

Здесь госпитальному судну «Орел» назначено было рандеву, но он не оказался на своем месте. Адмирал выслав дозорной цепью крейсера вправо и влево от курса. Однако поиски их не дали никаких результатов.

Эскадра направилась вдоль Мадагаскара с юго-восточной стороны, держась от него в двадцати милях. После непродолжительного шквала небо очистилось от облаков. В сиянии солнца, поднимающегося до восьмидесяти семи градусов высоты, остров был виден простым глазом. Над горизонтом заманчиво голубели гористые берега.

II

Короткий рассвет 16 декабря рождался при торжественной тишине. В глубине бледнозеленеющего неба гасли звезды. Слева от нас лежал Мадагаскар, пока еще мутный и загадочный, как пьяный бред. Эскадра шла вдоль восточного берега острова, постепенно приближаясь к нему. Справа широким веером раскинулась заря, безмерно щедрая на цветистые краски, на затейливую игру тонов. Океан еще не проснулся, но уже румяно заулыбался. В такие моменты, обласканный чудесной свежестью утра, ждешь чего-то необыкновенного и смотришь на все широко раскрытыми глазами. Вот радостно заструились, пронизывая душистый соленый воздух, первые лучи солнца. Через минуту сразу все изменилось: весь простор налился васильковой синью, зеркальная равнина расплавилась в косом

блеске, вся в страстном и жарком тепле ослепительных бликов.

Знойный день вступил в свои права.

Перед нами яснее обрисовался волнистый Мадагаскар. Здесь когда-то подземные огненные силы вздумали пошутить и взгорбили океанское дно на огромнейшем пространстве. А может быть, этот остров отделился от Африки, как взрослый сын от матери. С тех пор прошло много тысячелетий. Поднявшиеся над водою причудливые нагромождения, застыв в своей неподвижности, успели покрыться зеленью полуденных растений, заселиться живыми существами. Не так давно французы окончательно овладели этим островом, причислив его к своим далеким колониям. Площадь своей он превышает всю Францию. Недаром жители соседних островов до сих пор называют его «Танти-Бэ», что означает «Большая земля». Вдоль Мадагаскара узкой и невысокой полосой протянулась еще суша—остров Сан-Мари. Эскадра вошла в пролив. А в 11 часов каждый корабль, ломая и дробя лучезарную поверхность воды, начал занимать свое место по диспозиции, и на каждом из них, пробегая через носовой клюз, загромыхало железо якорного каната. И у нас на броненосце, под команду старшего офицера Сидорова, вдруг сорвался с места стопудовый якорь и, сверкнув поднявшимися брызгами, бешено устремился в пучину, чтобы двумя чугунными лапами крепко вонзиться в морской грунт. Эскадра оставилась как раз в середине пролива, ширина которого считается более десяти миль, и таким образом формально мы избегли нарушения нейтралитета.

На «Орле» офицеры и команда, все, кто не был занят работой, находились наверху, любуясь новой обстановкой Небо полыхало зноем. Над океаном, терпя в голубой дали ясность очертаний, на облачной высоте покоились горные хребты. Ниже, спускаясь по склонам гор, цепляясь за уступы, раскинулись тропические леса. По другую сторону пролива на острове Сан-Мари виднелись европейские здания, вкрапленные в зелень, как белые пятна. Вокруг было тихо и безмятежно, словно под жгучими лучами солнца все погрузилось в нескончаемые грезы. Только около кораблей.

приплыв на своих пирогах, засуетились, удивленные нашим внезапным появлением, несколько туземцев—гавасов.

Мы на все смотрели с восторгом, но скоро новизна небывало красочных впечатлений сменилась мрачностью. Напрасно глаза шарили по углам пролива в надежде увидеть дымки или знакомые контуры кораблей. Не было здесь ни отряда адмирала Фелькерзама, ни госпитального судна «Орел», ни вспомогательных крейсеров. Только против города, в небольшой бухте, увидели два парохода. Это оказались наши угольщики под немецким флагом.

На душе сразу стало уныло.

Около четырех часов дня пришел из Капштадта госпитальный пароход «Орел». Надо было полагать, что он имел важные новости. Один из наших офицеров побывал на флагманском корабле «Суворов». Вскоре у нас на броненосце стала распространяться злая весть, перекидываясь из одного отделения в другое. Матросы насторожились, прислушиваясь к разговорам офицеров, некоторые зашептались с вестовыми. Я обратился к инженеру Васильеву:

— По судну пронесся слух, будто бы...

Обыкновенно сдержанный и внешне спокойный, он на этот раз был крайне возбужден и, не дождавшись окончания моей фразы, перебил меня:

— Я догадываюсь, что вас интересует. К сожалению, это—факт: Артурской эскадры больше не существует. Как говорят, она потоплена огнем осадной артиллерии после того, как японцы заняли Высокую гору. Мы были посланы в помощь первой эскадре, но она погибла прежде, чем мы достигли половины пути. Петербургские стратеги промахнулись. Теперь мы превращаемся в самостоятельную эскадру. Нам одним предстоит уничтожить неприятельский флот и овладеть Японским морем. Но эта затея настолько же нелепа, как нелепо пускать петуха в драку против ястреба. Японцы оказались куда умнее и ловчее, чем мы предполагали...

Я ушел от него с гнетущими мыслями. В этот вечер среди экипажа не было ни веселья, ни смеха. Офицеры попрежнему отдавали распоряжения, команда выполняла их, но в каждом движении людей, в их лицах, в голосах чувствовалась об-

реченность, словно все внезапно узнали, что на корабле появилась чума.

С этого дня в настроении личного состава эскадры начался крутой перелом.

В дальнейшем все заботы командующего, повидимому, сводились к тому, чтобы собрать вместе разбросанную эскадру. Где находился адмирал Фелькерзам со своими кораблями? О нем трудно было что-либо узнать, находясь в той первобытной и дикой глуши, в какую мы попали. На острове Сан-Мари, на этом французском Сахалине, где содержались осужденные на каторгу политические и уголовные преступники, не было телеграфа. Поэтому на следующий день с утра буксирный пароход «Русь», прозванный Рождественским «мальчишкой», был послан с телеграммами в Таматаву—в порт, отстоящий на 70 миль к югу.

Приступили к погрузке угля. Имея в наличии всего лишь два угольщика, корабли грузились по очереди. Для этой цели пароходы пришвартовывались к броненосцам бортом к борту. А нашему «Орлу» было приказано добывать уголь с транспорта «Корея» барказами. Это вызывало со стороны команды ропот:

— Так мы проканителиться целую неделю.

— Бешеный адмирал не взлюбил наш броненосец и хочет из нас все жилы вытянуть.

После обеда прибыла на рейд «Малая». Вид у нее был истерзанный. Все смотрели на нее с таким удивлением, как будто она была уже погребена на дне морском, но снова всплыла и присоединилась к эскадре. Как после узнали, у нее во время бури произошел разрыв питательной трубы, на исправление которой было потрачено пятнадцать часов.

С разрешения адмирала все корабли начали производить ремонт в машине, разбирая их на части. А к вечеру радиоаппаратами было уловлено телеграфирование двух неизвестных станций, с разных расстояний. Это породило тревогу среди людей, тем более, что мы не могли выслать на разведку ни одного корабля.

Около полудня 18 декабря вернулся пароход «Русь». Он привез важные известия от морского министерства, но об этом я узнал подробно дня через три-

четыре, когда повидался со штабным писарем флагманского корабля, своим приятелем Устиновым. Положение наше было не из завидных.

Отряду адмирала Фелькерзама было назначено рандеву с эскадрой в прекрасном оборудованном военном порту Диэго-Суарец, расположенном в северо-восточной оконечности Мадагаскара. Туда же должны были притти угольщики. Но под давлением японцев и англичан французы отказали нам в гостеприимстве и предложили, как это и раньше делали, выбрать для стоянки другое, более глухое место. Фелькерзам направился в Мозамбикский пролив, в северо-западную часть Мадагаскара, в бухту Носси-Бэ, и 15 декабря стал там на якорь.

План Рождественского был нарушен, наши силы оказались разрозненными.

А между тем по эскадре пронесся слух, что где-то в Мозамбикском проливе находятся два неприятельских крейсера; кроме того, будто бы японцы выслали навстречу нам еще довольно сильный отряд кораблей, который 6 декабря прошел мимо Сингапура и направился к югу. При быстром ходе этот отряд теперь должен быть уже около Мадагаскара. Такой слух исходил с флагманского броненосца, а тот в свою очередь, как я узнал от того же штабного писаря Устинова, получил об этом официальные сведения от морского министерства.

На «Орле» у нас росло отчаяние.

Однажды гальванер Козырев, столкнувшись со мною, спросил:

— Знаешь новость?

— Какую?—осведомился я, глядя на его худую скрюченную фигуру с маленьким рябоватым лицом, с тонкими, бледными губами.

— Говорят, японские корабли находятся где-то поблизости. Если это правда, то могут произойти большие неприятности для нас. При разобранных машинах мы даже не сможем развернуть свои боевые суда, чтобы отразить атаку в случае нападения на нас.

Как знаток всеобщей истории, Козырев любил черпать из нее поучительные примеры.

— Ты что-нибудь читал на счет абукирского сражения?

— Когда-то читал, но успел забыть,— ответил я.

— Я тебе напомню об этом в нескольких словах. Это было во время войны Франции с Англией. Абукирская бухта находится в Египте, недалеко от Александрии. В 1798 году французский адмирал Брюэс скрылся в ней со своей эскадрой от преследования противника. Бухта была безлюдная. Французы расположились в ней, как у себя дома. В один, как говорится, прекрасный день по распоряжению командующего на каждом корабле были вынесены из нижних помещений продукты на батарейную палубу—проветрить их захотели. Потом команду отправили с барказами к берегу за пресной водой. Забыли об опасности. А тут вдруг откуда ни возьмись адмирал Нельсон появился с эскадрой. Дело было под вечер. Английские корабли вкатили прямо в бухту и давай гвоздить французов. Для французов это было настолько неожиданно, что они совершенно растерялись. Часть их команды находилась на берегу. С барказов пришлось вылить пресную воду и поспешить к кораблям, но было уже поздно. Батарейные палубы были завалены продуктами, а это мешало действиям пушек. В результате французская эскадра была уничтожена со всеми людьми. Спасся один только корабль. Адмирал Нельсон будто бы нарочно дал ему возможность уйти целым, чтобы он доставил своему правительству страшную весть о гибели эскадры. Теперь сам посудите: разве наши корабли с разобранными машинами не могут оказаться в таком же положении, в каком были французские? Появись сейчас несколько неприятельских крейсеров—нам всем здесь будет могила. Эх, неладный у нас командующий!

Для утешения и себя, и своего приятеля Козырева я мог сказать только одно:

— С тех пор, как мы вышли из последнего своего порта, нас не перестают пугать японцами. Однако до сих пор мы не видели не только ни одного их линейного корабля, но даже и миноносца. Думаю, и впредь так будет.

Как нарочно, нервируя эскадру, на горизонте показывались английские суда.

Нашим крейсерам пришлось отказаться от ремонта машин и начать с часту-

плением темноты уходить в дозор. Каждую ночь часть офицеров и команды дежурила у заряженных орудий. Наружные огни все закрывались.

Двое суток дул сильный знойд-остовый ветер, сопровождаемый хлещущим дождем. В проливе загуляла крупная зыбь, затрудняя стоянку на якоре и погрузку угля. Эскадра передвинулась на несколько миль севернее, к устью реки Танг-Танг, в бухту того же названия, врезающуюся в гористый берег Мадагаскара, а с другой стороны защищенную длинной песчаной косой от набегов волн. Здесь было тихо. Почти около самой воды росли пальмы.

Под влиянием последних событий у нас на броненосце матросы все больше и больше теряли веру в самодержавный строй России. Поход на Дальний Восток рассматривался как безнадежное предприятие, которое могла затеять только обезумевшая высшая власть, не считаясь с тем, что это грозит гибелью флота и людей. А отсюда пошло другое: в команде исчезала бессловесная покорность перед начальниками. Участились случаи нарушения дисциплины. Комендор Буглай на ругань одного лейтенанта ответил сам отъявленной руганью. Оскорбленный начальник не бросился на него с кулаками, как это бывало раньше, а побежал жаловаться к старшему офицеру. Но провинившийся комендор остался почему-то ненаказанным. Значит, офицеры начинали чувствовать настроение команды. А вскоре и сам старший офицер Сидоров нарвался на неприятный случай. Грузили уголь с парохода «Гарзоп». Трюмный старшина Осип Федоров, остроглазый и дерзкий парень, подныпив на угольщике, самовольно бросил работу и хотел было спуститься в низ броненосца. В это время с ним встретился Сидоров и, загородив ему дорогу, спросил:

— Ты куда?

— Отдыхать, ваше высокоблагородие.

— То-есть, как это отдыхать? Разве была на это команда?

Федоров отрезал:

— Я сам себе скомандовал!

На мгновение старший офицер опешил, а потом, схватив того за плечо, закричал:

— Ты что это болтаешь? Да я тебя за такое дело...

Федоров, пьяно выкатив глаза, полез на Сидорова:

— Что вы меня пугаете, ваше высокоблагородие! Я теперь не боюсь никого на свете. Все равно погибает. Да и вы не спасетесь. Точка нам обоим. Японцы нас всех пустят к центру земли. А если хотите, убейте меня сейчас прямо из револьвера...

Сидоров попятился и замазал руками:

— Сумасшедший! Убирайся к чорту с моих глаз!

Федоров также не подвергся никакому наказанию.

Все боевые корабли уже нагрузились углем и отдыхали, а над нашим броненосцем и 22 числа все еще поднимались клубы черной пыли. В ушах стоял ляг лебедек, выкрики людей, грохот сбрасываемого в горловины угля. Работа происходила при нестерпимой тропической жаре и потому была чрезвычайно изнурительной. А с наступлением темноты, когда можно было бы воспользоваться прохладой и отдохнуть, не давала покоя боязнь перед минными атаками. Эта ночь проходила особенно напряженно. Корабли откинули сетевые заграждения и, закрыв все внешние огни, притаились в бухте. Из людей никто не хотел оставаться в нижних помещениях, а все стремились на верхнюю палубу, даже те, кому не было в этом никакой надобности. Очевидно, у каждого была одна и та же мысль: в случае какой-либо катастрофы с кораблем отсюда скорее можно спастись. Я забрался на задний мостик. Помимо матросов, здесь находились доктор, механики и несколько строевых офицеров. Было тихо, и лишь через каждые полчаса, дрожа, пронизывал тьму медный гул отбиваемых склянок. Мадагаскар, круто вздымаясь и закрывая полнеба, надвинулся на нас тяжелой тучей. С берега еле уловимый бриз доносил пряный аромат тропических растений. За песчаной отмелью, страдая бессонницей, чуть слышно вздыхал океан. Вместе с сигнальщиками и комендорами сотни людей до боли в глазах всматривались в мрак, окутавший вход в бухту Танг-Танг. Около полуночи заметили в океане огни.

— Что это значит?—хрипло спросил кто-то из офицеров.

— Да, восемь огней, и все передвигаются ближе к входу бухты,—сказал другой сдвоенным голосом.

Сейчас же начали успокаивать себя предположением, что это вероятно пришли миноносцы из отряда Фелькерзама. Немного времени спустя, несколько этих огней выплыли за песчаную полосу. А затем на берегу, позади линии броненосцев, вдруг замигало пламя, как будто кто-то незримый подавал сигнал.

— Господа, здесь таится какая-то каверза. Как бы не повторилось то, что случилось в начале войны в Порт-Артуре, когда японцы сразу вывели из строя три наших лучших корабля.

Один из механиков вздохнул:

— Ох, уж эти японцы...

В это время хотелось иметь глаза совы, чтобы ночью видеть так же хорошо, как мы видим днем.

Только утром выяснилось, что это плавали на своих лодках туземные рыбаки.

Пловучий госпиталь «Орел» стоял прошлой ночью тоже без огней, нарушая этим постановление Гаагской международной конференции. Рассказывали, что командир этого судна и главный врач выразили командующему эскадрой свой протест. Но за такой поступок им обоим пришлось выслушать такие оскорбления, какие могут выносить только бесправные арестанты. И еще мы узнали, что в ту же ночь на рефрежираторном пароходе «Espérance», который несколько дней тому назад вновь присоединился к нам, произошел бунт. Команда, состоявшая из одних французов и плававшая под своим национальным флагом, не хотела стоять без огней, боясь нападения японских миноносцев. Матросы подняли шум и хотели выбросить за борт капитана. Их едва удалось уговорить. Рождественский грозил выгнать с позором из бухты оба эти судна.

«Мальчишка» во все время нашей стоянки только тем и занимался, что под полными парами носился в Таматаву. Повидимому, командующий эскадрой усиленно обменивался телеграммами с Петербургом. Но перспективы наши все еще были мутны, как затуманенный горизонт. С утра три крейсера—

«Аврора», «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской»,—отделившись от эскадры, ушли под командой контрадмирала Энквиста в море. Им будто бы было поручено извлечь из бухты Носси-Бэ отряд адмирала Фелькерзама и разыскать другие потерявшиеся суда. А позднее в тот же день прибыл к нам немецкий угольщик из Диго-Суарец с нерадостными сведениями: там оказался один только вспомогательный крейсер «Кубань», но неизвестно было, где находится еще четыре таких же наших судна. Также ничего от него не узнали об отряде капитана 1-го ранга Доброворского, который должен был догнать нас в пути. В его отряд входили достроенные крейсера «Изумруд» и «Олег», миноносцы «Громкий» и «Грозный» и вновь оборудованные вспомогательные крейсера «Урал» и «Терек». Тот же угольщик доставил донесение от Фелькерзама. Выяснилось теперь, что его суда, прожившись в Носси-Бэ, занялись так же, как и мы, ремонтом главных механических частей и выщелачиванием котлов. Находясь в таком состоянии, он не может двинуться к нам на соединение.

Мы все больше убеждались, что наши вожди не блещут большим военным умом. Нам оставалось успокаивать себя только тем, что разговор о присутствии поблизости неприятельских кораблей, быть может, окажется вздором. Если будет иначе, нам предстоит испытать ужасы абукирского сражения.

По эскадре отдан приказ приготовиться всем судам в поход.

III

Снялись с якоря утром накануне рождества.

Эскадра шла на север вдоль Мадагаскара. Его берега, извилистые и высокие, с долинами и круто взметнувшимися, как огромные всплески волн, горными вершинами, то на время терялись в фиолетовой дымке, то снова выступали, смутно очерчиваясь на голубом склоне неба, как незаконченные рисунки буйного фантазера. Был штиль. Сверху лились такие горячие потоки зноя, что от них трудно было спастись даже под парусиновыми тентами, раскинутыми над мостиками и верхней палубой. Широко разметался океан и, словно утомленный

жарой, лежал почти неподвижно, без единой ряби, слегка лишь вздыхая ленивой зыбью. Покатости зыби ослепляли блеском разбрызганного солнца. Тропический день был неимоверно светозарен, но он никак не соответствовал душевному настроению каждого из нас.

Сегодня на рассвете вернулся из Таматавы пароход «Русь», и сейчас же по всей эскадре распространился слух: пал Порт-Артур. Твердыня, на которую было потрачено сотни миллионов народных средств, не выдержала осады противника и сдалась. Японцам достался весь гарнизон в 40.000 человек, со всеми орудиями, со складами, с военным снаряжением. Таков был финал той борьбы, которая длилась в продолжение десяти месяцев на далекой и ненужной нам земле. Там вероятно каждая пядь суши была густо полита кровью русских воинов, покорно исполнявших предназначения Петербурга.

Известие о гибели 1-ой эскадры и падении Порт-Артура уничтожило порыв к войне не только у матросов, которые и без того его мало имели, но и у офицеров. Они начали терять веру в несокрушимость русского оружия. Некоторые из них сами сообщали нам новости о наших неудачах уже в ироническом тоне. Другие, беседуя между собою на тему о войне, не стеснялись в присутствии матросов резких выражений по адресу главных «спасителей» отечества.

Под тентом прогуливались два молодых человека: узкогрудый скучающе-вялый механик в чине поручика и вахтенный офицер с мичманскими погонами на плечах, он же исполняющий обязанности младшего штурмана. Мичман с буграстым носом был невысок. В нем удачно сочетались серьезность быстро все схватывающего ума с веселым нравом характера, за что он и был уважаем матросами. Но теперь, разочарованный и как бы бичующий самого себя, он говорил своему собеседнику:

— Начали войну мы плохо, продолжаем плохо, а конец, мне кажется, будет еще хуже. Взять для примера Артурскую эскадру. Она была сильнее и лучше организована, чем наша. И личный состав ее имел больше боевого опыта, чем мы. Там в сравнении с нами были настоящие моряки. Что же однако

случилось? Пятьдесят с лишком кораблей сметены с лица моря, словно игрушки...

Механик ехидно вставил:

— Первая эскадра из надводной превратилась в подводную эскадру.

Мичман подхватил:

— Вот именно! Превратилась в подводную эскадру! А теперь пал и Порт-Артур. На что еще надеяться? На генерала Куропаткина? Он весь обставился иконами и одно лишь, как дятел, долбит: терпение, терпение и еще раз терпение. Что может быть глупее этого? Теперь генерал Ноги, покончивший с нашей крепостью, стал свободен со своей армией. Значит новая огненная лавина покатится на наши сухопутные войска. На суше наше положение еще больше ухудшится. Что еще у нас остается? Вторая эскадра проявит чудо и овладеет Японским морем. Но будем, друг, откровенны: этот сброд разнотипных и разношерстных судов при нашей безалаберности являет собою только пародию на боевую эскадру. Отсюда вывод: ну, какой тут смысл продолжать дальше войну? Чтобы еще больше увеличить позор России?

Механик, отмахнувшись от вопроса, сказал:

— От бессмысленных голов никогда нельзя ждать какого-либо смысла. А у наших командующих именно такие головы.

Около полудня с нами встретились два миноносца — «Бедовый» и «Бодрый» и крейсер «Светлана». Эти суда были из отряда контрадмирала Фелькерзама. Увидев их, мы обрадовались, как дети. Значит скоро соединимся и с остальными кораблями, а тогда вместе будем мыкать горе.

Эскадра остановилась. Со «Светланы» направилась шлюпка с офицером к флагманскому кораблю, — очевидно, с донесением от Фелькерзама. Миноносец «Бодрый», имея повреждение в машинах, мог дать ходу только семь узлов. Пароходу «Русь» было приказано взять его на буксир.

Тронулись дальше.

На второй день было рождество. С подъемом кормового флага взвились на всех судах и стеньговые флаги. А через полчаса, застопорив машины, эска-

дра остановилась, держась в открытом океане. Это было в тридцати милях от Диего-Суарец. Все утро мы чистились, прибирались, а потом слушали в судовой сборной церкви обедню.

Начиная с самого детства, этот праздник у меня всегда был связан или с сильными морозами, или с непутевой мягелю. А теперь впервые я встречал его при невыносимой жаре. От будней он отличался только тем, что для команды немного улучшили обед и меньше было работы.

Когда солнце поднялось к зениту, сияя прямо над головой и не давая никакой тени, океанский простор наполнился громом орудий. Каждое судно сделало салют в тридцать один выстрел. Эскадра окуталась дымом черного пороха.

— Это мы рыбу пугаем в океане, — острили матросы.

Снова заработали машины.

В этот день в кают-компании было больше пьяных, чем обычно, — пили с горя, заливая ликерами душевную шутоту.

Один мичман, расстроившись, выкрикивал со слезами в юных глазах:

— Нас посылают на Голгофу. Ну, а если я не могу быть Христом, тогда что? Насильно потащат меня?

Офицеры уговаривали его успокоиться, а он, никого не слушая, продолжал:

— Я только первый год на службе. Не мы, молодежь, создавали этот идотский флот. Он является результатом деятельности наших тупых и надутых, как индюки, адмиралов. Пусть они одни и расплачиваются. А мы тут при чем? Разве наши жизни шелуха подсолнечная?..

К вечеру эскадра вынуждена была убавить ход до шести узлов. Причиной тому был броненосец «Орел», на котором испортилась паропроводная труба в кочегарке. Крейсер «Светлана», развив большой ход, понесся вперед, чтобы известить Фелькерзама о нашем приближении.

Перед спуском флага наше начальство заметалось, заметив на горизонте ряд дымок. А вскоре броненосец «Бородино» донес по семафору, что с его марсов видны четыре больших боевых корабля. К сожалению, при эскадре не было ни

одного крейсера, чтобы послать на разведку и выяснить, какой нации принадлежат суда. Три из них повернули от нас в сторону и скрылись в наступающей темноте, а на четвертом на короткое время открыли ночные огни. Но затем и этот корабль, когда догорел пышный закат, исчез во мраке ночи. С высоты безлунного неба спокойно мерцали звезды, теплые и приветливые. Но не было спокойствия у нас на броненосце. Опасаясь атаки, команда и офицеры спали нераздетыми у своих орудий.

Путь, по которому двигалась эскадра, был мало исследован и недостаточно промерен. Командир, капитан 1-го ранга Юнг, находясь в ходовой рубке, нервничал. При нем были два штурмана. Оба они слишком часто склонялись над разложенной на столе морской картой, однако руководствоваться ею было трудно. Старший штурман, щеголеватый лейтенант, беспомощно разводил руками и ворчал:

— Ну, какая польза от такой карты? Почти всюду обозначены случайно открытые банки и подводные рифы. Но это еще было бы полгоря. Хуже, что постоянно встречаешь надписи с предупреждением о недостоверных местах.

Помощник его, с буграстым носом мичман, посоветовал:

— Нам нужно держаться на кильватерной струе предыдущего корабля. Если он не наткнется на мель, то и мы благополучно пройдем. В противном случае мы успеем застопорить машины, дать ход назад или свернуть в сторону.

На штурвале стоял лучший рулевой, старший унтер-офицер.

Сомнение в том, что ничего не случится, длилось до рассвета.

Офицеры с жадностью читали иностранные газеты, которые добыли во время стоянки у Сан-Мари. Газеты эти не прошли через чистилище русской цензуры, поэтому из них можно было больше узнать и о войне, и о настроениях в России. Сегодня мне удалось побеседовать с инженером Васильевым, вернее я только слушал и лишь изредка задавал вопросы, а он говорил:

— Судя по английским газетам, в России наблюдаются признаки, не совсем обычные. На войне мы терпим одно поражение за другим. Это привело наше

правительство к растерянности. Вы помните капитана 2-го ранга Кладо?

— Очень хорошо знаю. Он из Виго отправился в Россию в связи с гальским инцидентом. Говорят, будет экспертом выступать в какой-то комиссии.

— Вот, вот. Этот человек напечатал в «Новом времени» какую-то разоблачительную статью о нашей эскадре. За это его посадили на гауптвахту. Но потом под влиянием общественного мнения правительство освободило его из-под ареста до срока. Небывалый в России случай! Общественное мнение начинает играть роль! А другая новость еще более интересная: правительство начинает заигрывать со своими верноподанными. Были призваны представители от земств. Им даны какие-то смутные обещания насчет будущих реформ. К сожалению, эти представители ведут себя жалко, трусливо, без надлежащего напора на власть. Повидимому, они сами боятся нарастающих событий. Но независимо от них над страной продолжают сгущаться грозные тучи.

— Вы думаете?—спросил я, возмущенный на Васильева, как голодный на хлеб.

— Это так же верно, как верно то, что мы с вами сидим у меня в каюте. Если уж в «Новом времени» печатают такую статью, за которую арестовывают ее автора, то какие же могут быть сомнения? Английские газеты сообщают еще, что среди черноморских моряков были какие-то волнения. Интересно бы узнать, что теперь происходит внутри нашей страны, когда докатились до нее страшные вести о гибели 1-ой эскадры и падении Порт-Артура. Мне кажется, что столпы отечества еще больше потяряли головы.

Васильев, разговаривая, перебирал английские газеты. У него была привычка что-нибудь вертеть в руках. Случайно взгляд его остановился на статье, заголовок которой был подчеркнут красным карандашом.

— Кстати, в английских газетах есть подробные данные о гибели Артурской эскадры. Оказывается, наши моряки сами потопили свои корабли на внутреннем рейде. Но как потопили! Верхние палубы остались наружи. Очевидно что-то упомопрачительное произошло, что

не нашли более глубокого места в море. Все эти суда могут быть подняты и они станут добычей японцев. Может быть, даже пойдут против нас воевать. Только один броненосец «Севастополь» под командой капитана 1-го ранга фон-Эссена решил погибнуть в бою. Он вышел на внешний рейд, где выдержал отчаянные атаки миноносцев. Но недолго и ему пришлось оказывать сопротивление японцам. По распоряжению командира он (без их помощи) был пущен ко дну на двадцатисаженной глубине. Вы теперь понимаете, в чем тут трагедия.

— Если не считать «Севастополя» мы даже не сумели как следует потопить свои суда,—хмуро ответил я, чувствуя в груди усиливающееся раздражение.

— Правильно! А ведь могло бы быть иначе. Почему Артурская эскадра в последний момент не пошла ва-банк и не сделала генерального сражения? Правда, она все равно погибла бы. Но, погибая, она нанесла бы какой-то ущерб и японскому флоту. А этим самым она облегчила бы задачу второй эскадры. Артурские морские руководители либо дрожали за свою шкуру, либо страдали куриной слепотой и ничего не видели, не видели, в какую пропасть позора они скатываются.

Мы еще поговорили, и я ушел. У меня осталось впечатление, что Васильев политически накачивает меня. Но ведь для него это было большим риском. Стоит только сообщить о нем Рожевскому, он будет уничтожен, несмотря на офицерское звание. В оправдание его можно сказать лишь одно: он знал, что я нахожусь под следствием как политический преступник. На меня он смотрел, как на проводника его идей в массы. Все, что мне удавалось почерпнуть от него, я немедленно сообщал своим близким товарищам, а те в свою очередь делились такими сведениями с другими. Это было похоже на то, как от брошенного камня в небольшом озере расплываются круги, достигая его берегов, так и в нашей жизни, ограниченной бортами, всякая интересная новость вызывала в той или иной степени душевное колебание почти всей команды.

Пароход «Русь» поднял сигнал: «Взбунтовалась команда». К нему, по

распоряжению адмирала, сейчас же помчался миноносец «Бедовый» для усмирения. Как после узнали, командиру миноносца, капитану 2-го ранга Баранову, были даны широкие полномочия — вплоть до расстрела людей, если это понадобится. Выяснилось, что матросы, изнуренные непосильной работой, хотели было устроить забастовку. Дальше пароход «Русь» продолжал свой путь под конвоем «Бедового».

Вечером мы находились в тридцати милях от Носси-Бэ. Контрадмирал Фелькерзам выслал нам навстречу миноносец. Очевидно на его обязанности лежало провести наши корабли к месту якорной стоянки. Он подошел к флагманскому броненосцу. Но вследствие опасности входа в бухту и наступающей ночи Рожественский решил продержаться с эскадрой в море до утра.

На следующий день, приближаясь к месту якорной стоянки, мы все находились в том возбужденном состоянии, в каком бывают люди, ожидая важного события. Носси-Бэ в переводе на русский язык означает «Большой остров». Он отделен от Мадагаскара водным пространством. Тут же расположилось еще несколько островов меньших размеров, образуя все вместе великолепный рейд. Этот рейд превосходно защищен со всех сторон: с востока он прикрыт конусообразной возвышенностью Носси-Комба, с юго-востока — мальгашеским полуостровом Анкифи, а с запада — группой надводных рифов. Здесь так просторно, что могли бы вместиться сотни кораблей, не мешая друг другу.

Жажда новых впечатлений превозмогла нестерпимый зной. То в одну сторону, то в другую поворачивались головы людей. Взор, блуждая, не знал, на чем остановится. Все прельщало своей экзотикой: и просинь между лиловых гор, похожих на вздувшиеся паруса, и холмы, истекающие изумрудом растений, и таинственная тень, залегающая в ущельях, и своеобразные извилины берегов, изрытых фиордами. Бывалые моряки уверяли, что окрестность Носси-Бэ по своей красоте напоминает Неаполитанский залив. Слева среди яркой зелени тропической чащи начали выявляться белые здания европейцев, а за ними на уступах красного глинистого

холма мостились жалкие хижинки туземцев. Это оказался небольшой городок Хелльвиль, который был назван так в честь французского адмирала Хелля, присоединившего в 1841 году эти острова к колониальной империи. Наконец в бухте, под высокой лесистой горой, увидели корабли, с которыми мы расстались в Танжере. Здесь же, помимо угольщиков, транспортов, добровольцев, стоял и крейсерский отряд контрадмирала Энквисера.

Когда мы только еще входили на рейд, нас встретила, щеголяя белизной корпуса, маленькая и проворная французская миноноска с поднятым на мачте сигналом: «Добро пожаловать». Предводительствуемые ею, мы направились мимо судов, стоящих на якоре. Потом «Суворов» положил право руля и, сделав крутой поворот, прорезал их строй. Колонна наших броненосцев последовала за ним. На флагманских кораблях, сверкая начищенной медью труб, музыканты играли военный марш. В слепящем сиянии полудня, в горячем мареве воздуха, среди береговой роскоши островов, на время волнуя душу, далеко разливались звуки духового оркестра. Обицая радость увидеть друг друга охватила всех, и мы, обливаясь потом, неистово кричали «ура», кричали искренно, с ошалелым вдохновением, не жалея голоса, как будто эта встреча навсегда избавляла нас от смертной тоски.

IV

Тянулись сутки за сутками, как звено за звеном якорного каната.

Я продолжал с упорством ненасытного наблюдателя следить за жизнью нашей эскадры.

Знакомые матросы из отряда Фелькерзама рассказали мне о своем плаваньи. Им было легче, чем нам. Они прошли расстояние гораздо меньше нашего и останавливались в более благоустроенных портах. Расставшись с нами в Танжере, их корабли направились Средиземным морем прямо в бухту Суды на острове Крит. Здесь простояли десять дней. Команда часто отпускалась на берег освежиться. Порядочно покутили, случались такие скандалы на улицах, о которых потом писали в иностранных газетах. Следующая стоянка

была в преддверии Суэцкого канала — Порт-Саиде. Благополучно прорезали Красное море с заходом в Джибут, где пробыли полторы недели. В Индийском океане на два дня бросали якорь у мыса Рас-Гафун — самой западной оконечности Африки. Наконец соединились с нами в Носси-Бэ. Во всех перечисленных портах грузились углем, принимали провизию и другие необходимые припасы, немного чинились.

Контрадмирал Фелькерзам, в противоположность командующему эскадрой, относился к своим подчиненным более заботливо. Как только вошли в тропики, матросы у него начали носить пробковые шлемы, а мы в это время прикрывали от солнца свои затылки тряпками. В девять часов утра, когда началась убийственная жара, у него на кораблях прекращались все работы, тратилось еще немного времени на уборку, а потом длился отдых до трех часов дня. У нас этого не было. В Носси-Бэ он каждый день отпускал матросов на берег большими партиями, с нашим приходом сразу все это прекратилось и стали увольнять с судов на прогулку только по выбору или больных.

По всей эскадре до последнего времени носился слух, что Россия будто бы приобрела в Южной Америке шесть броненосных крейсеров и что они уже находятся в пути и скоро догонят нас. После гибели Артурского флота многим хотелось верить в такой миф. Команда и офицеры из отряда Фелькерзама в этом отношении пошли еще дальше: они даже были убеждены, что мы присоединимся к ним не одни, а приведем с собою новые иностранные корабли. И только теперь, с приходом в Носси-Бэ, выяснилось, что дело с покупкой чилийских и аргентинских судов провалилось окончательно. Но тут же мы узнали другую новость, смягчившую отчасти тяжелое настроение: в Либаве спешно снаряжается 3-я Тихоокеанская эскадра. В нее вошли следующие суда: эскадренный броненосец «Император Николай I», броненосцы береговой обороны «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир-Мономах». Командовать ими назначен контрадмирал Небогатов, кото-

рый в половине января тронется со своими кораблями на соединение с нами. Моряки острили по поводу этой эскадры:

— Посылают к нам подскребыши Балтийского флота.

— Хотя этот кулак из пяти пальцев, но по-стариковски дряхлый и слабый.

— Плавающие опорки.

— Самотопы.

Много еще говорили в таком же духе, но в душе многие радовались: от кораблей Небогатова по крайней мере хоть та будет польза, что часть неприятельских ударов они примут на себя. При этом сам собою напрашивался вопрос: раз высылают третью эскадру, значит мы будем ждать ее здесь? Но в таком случае зачем же мы немедленно приступили к погрузке угля? У нас его имелось достаточно в запасе.

Четвертый день пошел, как мы глотаем кардифскую пыль. Ночью люди спали как попало, валяясь прямо на грудях угля и задыхаясь теплым и влажным, как в оранжерее, воздухом. Днем тупели от непривычного зноя. Нигде еще не испытывали такой жары, как здесь. Иногда казалось, что все видимое, чарующее глаз пространство под голубым сводом неба превратилось в грандиозную калильную печь. Мы потели днем и ночью и поглощали невероятное количество морской воды, пошедшей через судовые опреснители. Без минеральных растворов, теплая, она была отвратительна на вкус, если только ее не сдобрить лимонной кислотой. Постоянная жажда мучила людей, ослабляя организм. Некоторые начали страдать тропической болезнью, — тело покрывалось сыпью, еле заметными волдырями. В добавок ко всему у большинства команд поизносилась обувь, а ходить босиком по углю, который валялся почти во всех помещениях броненосца, было невыносимо. По распоряжению начальства марсовые начали плести из прядей троса лапти. Матросы, всегда отличавшиеся чистым и опрятным видом, теперь напоминали оборванцев. Мне не раз приходилось слышать озлобленный ропот:

— Что за проклятая страна! Посылает нас на смерть и не может снабдить даже обувью.

Вместо сапог нам прислали из Иерусалима через председательницу дамского комитета крестики, освященные, как говорилось в приказе Рождественского, на гробе господнем. По разверстке таких крестиков на наш броненосец досталось шесть для офицеров и двадцать пять для всей команды.

Матросы зубоскалили:

— Нечего сказать, утешили! Каждый крестик стоит всего только копейку! Значит, подарок для девятьсот человек — на четвертак.

— Не в том дело. А вот вопрос, как разделить между собою такую Божию благодать?

— Не иначе, как по жребию.

— Так тоже не годится. Тебе достанется, а другому нет. Надо поочередно носить крестики, чтобы всем прикоснуться к святыне.

И тут же прибавлялись такие слова, от которых, если бы только услышал их, шарахнулся бы весь дамский комитет.

К нам присоединились еще три вспомогательных крейсера — «Кубань», «Урал» и «Терек». Нехватало еще отдельного отряда капитана 1-го ранга Добротворского, но он должен уже быть в Красном море. Ожидаемые суда и все те, которые находились уже здесь, согласно приказу Рождественского, получили новое тактическое распределение. Броненосцы были разделены на два отряда: первый — «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орел»; второй — «Ослябя», на который перенес свой флаг контр-адмирал Фелькерзам, «Сисой Великий», «Наварин» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». При главных силах должны еще находиться: два крейсера — «Изумруд» и «Жемчуг» и четыре миноносца — «Бедовый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». В крейсерский отряд были назначены: «Алмаз» под флагом контр-адмирала Энkvиста, «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и вспомогательные крейсера «Рион» и «Днепр» и миноносцы «Блестящий», «Безупречный» и «Бодрый». В разведочный отряд входили: крейсер «Светлана» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Шейна и вспомогательные крейсера «Кубань», «Терек» и «Урал». Остальные суда представляли собою транспортный от-

ряд: «Киев» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Радлова, «Воронеж», «Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Юпитер», «Меркурий», «Ярославль», «Корея», «Тамбов», «Китай», «Владимир» и «Русь». Госпиталь «Орел» имел свою цель.

Если еще подвалит отряд Небогатова с транспортами, то у нас будет всего более пятидесяти кораблей. С внешней стороны уже и теперь эскадра казалась внушительной силой. Это ложное впечатление получалось оттого, что при эскадре находился большой обоз в виде всяких транспортов, правда необходимых на нашем бездомном положении, но совершенно не имеющих боевого значения.

Каким флотом будут располагать японцы ко времени нашей встречи с ними? Мы ничего не знали. Одно лишь было известно, что противник достаточно умен, изворотлив и вероятно могуч, если уничтожил Артурскую эскадру, понеся сам очень маленькие потери.

В Носси-Бэ эскадра принимала более строгие меры охраны, чем в Сан-Мари. Каждый день какой-нибудь крейсер, снявшись с якоря, уходил в дозор для наблюдения за горизонтом. Помимо того, два миноносца посылались сторожить вход на рейд. С заходом солнца ставили сетевые заграждения и прекращалось сообщение с берегом и между судами. Шлюпка могла пойти куда-нибудь не иначе, как только с разрешения самого Рождественского. Ночью со всех боевых судов эскадры уходили в море минные катеры, вооруженные прожекторами, маленькими пушками и минами. На кораблях с постановкой сетей били боевую тревогу, проверяли оружейную прислугу, заряжали дежурные пушки и готовили к действию боевые фонари. Темносиния безмерность неба искрилась самоцветами. Эскадра стояла без огней, погруженная во мрак и безмолвие. Иногда лишь оклики часовых нарушали покой. В дали, не загороженной островами, тревожа ночь, ползали над сонным океаном, как хвосты комет, отблески прожекторов со сторожевых судов.

В такие моменты все казалось в порядке. Хотелось верить в организационные способности и незаурядный ум ко-

мандующего эскадрой. Он не даст прогивнику застигнуть нас врасплох, он знает, что нужно делать, куда и как вести вверенные ему корабли.

Утро начинали с того, что пускали в ход стрелы Темперлея и лебедки, освобождая коммерческие пароходы от груза угля.

Наступил новый год, такой же скучный и безотрадный, как и старый, ушедший в туман прошлого. В будущем судьба вероятно еще сильнее и безжалостнее будет комкать наши жизни. Мы почти каждый день кого-нибудь хороним. На вспомогательном крейсере «Урал» сорвавшейся стрелой тяжело ранило лейтенанта Евдокимова и убило насмерть прапорщика по механической части Попова. Там же погиб от солнечного удара матрос. Из команды «Бородино» убили двое: они спустились в боковой коридор трюма и, хотя горловины были открыты, оба задохнулись от ядовитых газов. Умирили еще от туберкулеза и других болезней. Печальную картину представляли собою похоронные процессии. К тому судну, где находился мертвец, приближался плотную миноносец, брал покойника к себе на борт и направлялся к выходу в море. В это время раздавался пушечный выстрел, приспускались флаги, музыка играла «Коль славен», офицеры и команда всех кораблей стояли на палубе во фронте. На океанском просторе, удалившись от берегов, покойника, зашитого в брезент, с грузом, прикрепленным к ногам, выбрасывали за борт. Лишь всплеск воды сопровождал мгновенное исчезновение человека. Так незаметные герои находили себе могилу в чужих краях, в глубоких лучинах, никем не оплаканные. Потом появлялся короткий стереотипный приказ мандующего эскадрой: такой-то скончался там-то и потому «исключается из списка нижних чинов (или офицеров) означенного судна».

Два транспорта назначены к возвращению в Россию: «Князь Горчаков» и «Малайя». Рождественский был недоволен тем, что на них постоянно происходили поломки в машинах. На «Малайю» теперь списывали офицеров и матросов, негодных к дальнейшей службе: преступников, больных, искалеченных, сумасшедших. Как ни тяжело было их по-

ложение, многие из нас хотели бы попасть на их место: они скоро будут дома. Правда, не все они доберутся до родины, — некоторые, более слабые, не выдержат далекого пути и будут выброшены за борт. Но каково наше будущее? Лучше не думать об этом, не тревожить сердца, разеденного сомнениями.

На Мадагаскаре и других соседних островах много было фруктов. Бананы и ананасы мы ели, как репу. Но здесь не было овощей. Могли добывать только картофель, да и то с трудом и по дорогой цене. Матросы скучали о свежих щах, а у нас имелась в запасе лишь квашеная капуста, но она настолько испортилась, что от каждой бочки несло, как от выгребной ямы. Приходилось удовлетворяться супом или похлебкой. Зато свежего мяса можно было добыть здесь в любом количестве.

Мы приобрели шестнадцать быков и две коровы. Быки были крупные, сытые, с выдающимися, в аршин длиною, размашистыми рогами, с мохнатым горбом на спине, как у верблюда. Их доставили нам местные туземцы, сакавалы на своих пирогах. Эти оригинальные суденышки были выдолблены из ствола толстого дерева. Чтобы такая лодка не перевернулась, к ней пристроен, параллельно борту, на двух поперечных жердях противовес, своего рода полоз с загнутым концом, скользящий по воде. Он всегда с правого борта, а слева концы жердей соединены для крепости бруском. В ветер, поставив громадные паруса, сакавалы смело управляют своими пирогами и носятся по гребням волн, как альбатросы, иногда обставляя паровые катера. Я представлял себе, какое смятение пережили быки, прежде чем их доставили к левому борту нашего броненосца. Но еще ужаснее было, когда их начали поднимать на шкафут. Делалось это так: под брюхо быка подводился двойной строп, расходящийся к пахам передних ног и к пахам задних ног; затем строп подхватывался гаком, иначе говоря железным крючком спущившегося с нок-реи гордена, и сейчас же раздавался приказ:

— Слабину выбрать!

Потом следовала более громкая команда:

— Пошел горден!

И животное медленно взвивалось на воздух. Ошеломленный бык, дрожа, надувался, напрягал мускулы, вытягивал ноги и пучил, округляя, большие фиолетовые глаза. Он не понимал, что смерть придет позднее, когда ударят кувалдой по лбу и вонзят в горло нож, но чувствовал ее теперь же всем своим существом. Нужно было поднять его значительно выше борта, чтобы потом оттяжкой подтянуть его на судно, травя в то же время горден. Очутившись на палубе левого шкафута, бык еще долго не мог притти в себя и бестолково оглядывался.

Слабый ветер, вызывая блеск, рябил рейдовую поверхность. О чем-то задумались зеленые высоты островов. Вокруг судна плавали голые черномазые ребятишки. Они по целым дням держались на воде, выпрашивали деньги и, если мы бросали с борта монету, ныряли за нею в глубину, как черные утята. Но теперь, любуясь зрелищем погрузки быков, они что-то кричали и звонко смеялись. На баке, около борта, столпились матросы, большинство унтер-офицеры, делились впечатлениями:

— Говядина будет на славу.

— Скотина нагульная.

— Я таких больших рогов сроду не видал.

— Не дай бог, если такой пырнет!

Судовой фельдшер пояснил:

— Эти быки, надо полагать, из породы санга. С такими огромными рогами они водятся только в Африке. Больше нигде нет. Считают, что родоначальником их является буйвол...

Остался на пирогe один только бык, бугай, дымчатой масти, самый могучий, с висячим к низу мясистым подгрудком, с кудрями на широком плоском лбу, с необычайно толстой шеей. Шерсть на нем лоснилась и отливала, как дорогой бархат. Это был богатырь и красавец среди своих собратьев. Когда его начали поднимать, он вдруг завозился, замотал головою, весь изгибаясь и размахивая ногами. Несмотря на сопротивление, горден продолжал тянуть его вверх. В это время мичман Воробейчик, сверкая стеклами пенсне, что-то крикнул по-французски сакалавским ребятам, показал им серебряный франк и бросил

его за борт. Монета упала в воду как раз под быком, которого медленно поднимали на воздух. Чернокожий мальчик, лет двенадцати, с раздувшимися, словно от опухоли, щеками, за которые он закладывал пойманные медяки, нырнул за монетой. Расстояние до нее было довольно большое, и она успела погрузиться глубоко, прежде чем попала ему в руки.

Бык был поднят выше борта, когда передняя часть стропа неожиданно съехала к задним ногам. Потеряв равновесие, он на мгновение повис вниз головою, а затем в ту же секунду, выскользнув из стропа, бултыхнулся в море и сразу исчез в глубине. Сакалав, стоявший на катаморане, чернокожий хозяин его, весь голый, если не считать повязки вокруг бедер, испуганно вскинул руки. Что-то кричали плавающие ребятишки. На палубе броненосца, глядя за борт, все молча вытянули шеи.

Очевидно бык пролетел мимо мальчика и в тот именно момент, когда сакалав уже поднимался вверх. Что представилось ему, когда рядом с ним на большой глубине, в зеленоватой пучине, смутно обозначилось рогатое чудовище? А он не мог не видеть его, — он нырял с открытыми глазами. Ко всеобщей нашей радости мальчик всплыл целым и невредимым, но тут же, запрокинув шерстистую голову, зорал истошным голом. Руки его несуразно зашлепали по воде, словно были надломлены. Он ошалело бросался то в одну сторону, то в другую, пока его не выхватили на пирогу.

Команда на борту загалдела, а кто-то громко произнес:

— Вот, подлый гад, что наделал.

Мичман Воробейчик как будто не слышал этих слов и, заложив руки за спину, стоял у борта с напускным равнодушием на побледневшем лице.

После мальчика через несколько секунд показалась на поверхности рогатая голова. Теперь внимание всех было сосредоточено на ней. Один из матросов отметил:

— Нырять может.

Отфыркиваясь горько-соленой влагой, бык мотал головою и, как ошеломленный человек, моргал выкатившимися глазами. Он сам направился к пирогу,

словно искал в ней спасение. Но с нокреи уже спускался горден со стропом. Сакалав, схватив строп, быстро сделал из него петлю и накиннул ее на размашистые рога животного. В следующий момент из белозубого оскала чернокожего человека вырвался не крик, а какой-то торжествующий визг, сопровождаемый энергичными жестами рук. Это означало, что нужно выбирать горден. Бык, поднимаемый за рога, сгорбил спину, согнул передние ноги в коленях, а задние вытянул. Под лоб закатились круглые фиолетовые глаза. Когда его опустили на палубу, он не мог стоять и, словно парализованный, рухнул на нее животом. При вдохах в его легких что-то клочкотало. Минут десять он лежал, лоснясь мокрой шерстью, неподвижно, с натуженным взглядом. Потом вдруг вскочил и, оглашая рейд утробно-угрожающим ревом, взбунтовался. Но на его рогах была уже другая петля из пенькового конца, который матросы успели завернуть за шлюп-балку. Бык, сиюсь оборвать конец, весь напрягся, упрямо согнул голову, напружинил, изгибая, длинный, с кисточкой на конце хвост, похожий на извивающуюся змею. В это время большие, потемневшие глаза великана кроваво скосились на людей.

V

Мы были отпущены на берег, в город Хелльвиль, с утра и могли гулять там до вечера. В числе отпущенных матросов разных специальностей находились мои друзья: минер Вася Дрозд, старший гальванер Голубев и боцман Воеводин. Белые брюки, форменная рубашка с синим воротником, фуражка в белом чехле — вот все, что составляло нашу одежду. К нам в шлюпку спустились еще старший судовой врач Макаров с тремя выздоравливающими пациентами и мой приятель инженер Васильев. Оба офицера были в белых платях, в тропических пробковых шлемах и походили на иностранных туристов.

Под команду боцмана Воеводина шлюпка оттолкнулась от трапа, заработали весла, дробя прозрачно-зеленую, как бутылочное стекло, гладь воды. Вся поверхность рейда, казалось, застыла, как сплошной слиток, и сияла вдали синевой. От бортов, дрожа солнечным бле-

ском, катились нанкосок волнистые струи. В бухте плавали в большом количестве большие и малые медузы. Эти студенистые существа напоминали ламповые абажуры, украшенные затейливой резьбой, кружевными рисунками и колеблющимися, словно от ветра, стеклярусами. Жгучие лучи тропиков нарядили их в яркие цвета — оранжевые, голубые, бордовые, фиолетовые. Под ударами весел густая, как масло, вода солнечно звенела, некоторые медузы перевортывались, другие разлетались на части, сверкнув последней вспышкой разбитой радуги.

Потребовалось немного времени, чтобы перебраться к длинному каменному молу. Мы зашагали по суше неторопливо, часто оглядываясь по сторонам. У самого берега расположились сараи с угольными брикетами, таможенное полицейское управление, ледоделательный завод и почта с маленьким окошком, через которое чиновники принимают корреспонденцию. Немного поодаль в окружении просторного палисадника, на фоне тропической зелени, сверкая зеркальными окнами, белела губернаторская вилла с горизонтальной крышей, с колоннами, поддерживающими балкон. Среди палисадника, разделенная на две равные половины висячей сетью, раскинулась четырехугольная площадка для игры в лаун-теннис, а от нее, золотясь просеянном песком, разбегались в стороны дорожки мимо цветочных клумб, кактусов и кустарников, подстриженных с такой аккуратностью, словно они побывали в парикмахерской. Гладкие, без единого сучка стволы пальм высоко подняли свои перисто-взвихренные кроны, роняя на землю узорчатые тени. Возглавляемый доктором, тоще вытянутым смуглолицым человеком с узенькой шелковистой бородкой, мы прошли мимо католической церкви, галантерейного магазина, кабачка «Кафе де-Пари» и нескольких европейских зданий, скрывающихся в тени громадных деревьев. Хотелось вернуться под крышу рынка, откуда сладко пахло гвоздикой, ванилью и другими дарами тропиков. Но инженер Васильев, повернувшись к нам, заявил:

— Сначала давайте посмотрим, как живут туземцы. Потом погуляем в ле-

су. Надо же полюбоваться местной природой. Хватит у нас времени и для города.

С таким предложением все согласились.

Через несколько минут мы уже бродили по узким переулкам туземного населения, между бамбуковых хижин, построенных на сваях, высотой в один-два метра. Тростниковая крыша, будучи значительно шире стен, опиралась на тонкие столбики, образуя вокруг домика навес или веранду. К домику примыкал двор, обнесенный частоколом. Для хижины некоторые хозяева выбрали место под пальмой, столбом пробивающейся через центр крыши. Все эти постройки производили впечатление временного жилья, словно люди остановились здесь лишь на несколько дней. Нас сопровождали группы голых черномазых детей. Они, что-то выкрикивая нам, смеялись и резвились. Мы мало встречали мужчин; они были заняты работой на плантациях или рыбной ловлей. То были сакалавы, темнобурые, среднего роста, проворные и сильные, с пучкообразными волосами, с широкими ноздрями. Не так еще давно они промышляли морским разбоем, опустошая соседние острова, но потом, покоренные гавасами, занялись скотоводством. Широкополая шляпа, сплетенная из травы, и клетчатый соронг прикрывали тело сакалава. Когда мы встречали старика, то не верилось, что он имеет седую бороду, — казалось, что это вата, случайно прилипшая к его черному подбородку. Здесь преобладали женщины. Несмотря на темный цвет кожи, они были недурны собою. Под цветистой ламбой, накинутой на плечи, чувствовалась стройность фигуры с высокой грудью, с тонкой талией. Серьгами они украшали не только уши, но и ноздри, а на босых ногах сверкали дешевые металлические браслеты. Волосы на открытой голове, заплетенные в тонкие косички, торчали в разные стороны, и от них пахло прогорклым кокосовым маслом. Почти у каждого домика, под навесом можно было видеть женщину за работой: изготавливали ткани из волокон рафии, плели корзины, циновки, сумки, шляпы из травы. Некоторые от колодца несли на голове воду в расписных

глиняных сосудах, подобных греческим амфорам. Тут же расхаживали китайской породы свиньи с поросятами, куры, утки.

Васильев рассказывал нам о жизни населения Мадагаскара и соседних островов:

— Здесь иногда управляют королевы. За кого она выходит замуж, тот становится первым министром. Потом он начинает ворочать всеми государственными делами. Но если он обращается со своими ближайшими помощниками очень плохо, то ничего не стоит подсыпать ему в пищу яду. Придворные интриги у туземцев играют, как и у европейцев, большую роль.

Кто-то из матросов спросил у инженера на счет религии.

— А разве не видели католическую церковь? Значит, и религия такая. Колонии образуются так: сначала захватывают ту или иную местность войска, а вслед за ними пребывают туда купцы и попы. Словно близкие родственники, попы и купцы всегда уживаются вместе. А все эти три категории, взятые вместе, представляют собою кишку, которая протянулась от метрополии к далекой колонии и высасывает из последней богатства. В результате у туземцев — страшная бедность, а у европейцев — каменные дома. Кстати, здесь всем жителям велено стать христианами. Они должны строго соблюдать все праздники и христианские обряды. За нарушение таких правил угрожается бесчестие. В наказание могут заставить носить камни с места на место или ходить по улицам на четвереньках...

Инженер Васильев говорил только о жизни туземцев, но у него, повидимому, была цель, чтобы вообще возбудить в нас протест против религии и капитализма.

— Любопытнее всего, — продолжал он, — как приводится здесь в исполнение смертная казнь. Бедняков просто пришибают где-нибудь в темном углу и больше никаких. Совсем иные меры применяют к богатым или знатным людям, обреченным на смерть. Такого человека сначала приглашают на банкет. Он ест и пьет наравне со всеми. А затем ему предъявляют роковую ча-

шу с ядом. Опоражнивая ее, он должен приветствовать короля или королеву. Некоторых заставляют увязнуть в болоте или сжигают на костре. Иногда осужденного из знатных людей подводят к железному колу и предлагают ему добровольно сесть на острие кола. Одним словом проливать насильственно кровь у благородных не полагается. Такая милость в отношении их говорит только о великодушии главного представителя власти...

— Вот так великодушие королевское!—воскликнул боцман Воеводин.

— Во всех государствах они одинаковые, — сквозь зубы произнес гальванер Голубев.

— Кто одинаковые? — спросил доктор.

— Короли и королевы, ваше высокоблагородие. Все они милостивые и великодушные.

Доктор, улыбаясь, молча похлопал по плечу Голубева.

Мы остановились около одного домика, который был богаче других. Он принадлежал индусам. Под раскидистым деревом, в голубоватой тени, молодая женщина толкла в деревянной ступе рис. Все платье ее состояло из одного большого, как простыня, платка, разрисованного в красные и желтые цветы. Этот платок заменял ей юбку, обтягивая нижнюю часть тела, а затем, перекинутый наискось через одно плечо и прикрепленный сзади на бедрах, прикрывал грудь и часть спины. Босые ноги, обнаженные чуть выше колен, были изящной формы. Маленькая голова со смольными волосами, завернутыми в греческий узел, держалась гордо на круглой тонкой шее, которую облегал красные, как выступившие капли крови, ожерелья. Откуда она появилась здесь, эта женщина, с таким правильно очерченным лицом, с прямым тонким носом, с нежной кожей кофейного цвета. Глаза ее в густых ресницах, как два черных блестящих озера в камышах, смотрели на нас таинственно, словно из иного мира. На наше удивление она заулыбалась слишком смело и, продолжая работу, так дразняще изгибала свою талию, словно совершала брачный танец. Это не от неба, а от нее дохну-

ло на нас жаром, и мы остолбенели. Боцман Воеводин, сытый и сильный, подкручивая золотистые усы, воззрился на нее с таким вождельем, что у него на висках вздулись узлы вен. Гальванер Голубев счел нужным предупредить его:

— Зажмурься, боцман, а то в обморок упадешь.

— Пойдемте дальше, — словно очнувшись от забытья, пробормотал перехваченным голосом Воеводин.

Вася Дрозд, человек порывистый и пламенный, наоборот, побледнел, дышал шумно, раздувая ноздри, и у него за ушами, на шее, конвульсивно задергалась кожа.

Мы направились от Хелльвиля в северо-западном направлении, туда, где имеется озеро, населенное крокодилами. По мере того, как мы подвигались в лес, лачуги туземцев становились все реже. Нас сопровождали трое подростков, знающих несколько слов по-французски. Они вели нас по прямой просеке среди леса. Каждое дерево приковывало к себе наше внимание. Теперь пояснял нам больше доктор. В стороне от нас, в низине, обозначилась целая роща искусственно насаженных кокосовых пальм. Мы свернули в нее. Здесь не было ни кустарника, ни подлеска. Вдвигались лишь, как у нас в сосновом бору, стрелчатые стволы, вершины которых, рассыпаясь ветвями, похожими на страусовые перья, напоминали зеленые фонтаны. Около сотни орехов отягощали каждое дерево, свисая гроздьями из 10—15 штук. Хотелось пить, и мы тут же купили у хозяина плантации несколько кокосовых орехов, величиною с детскую голову. Внутри каждого такого ореха, помимо ядра, имелось жидкости, так называемого кокосового молока, около бутылки. Мы с удовольствием удовлетворили свою жажду. Пальмы эти обычно растут у прибрежий, и плоды их, сорвавшись в воду, носятся по волнам теплых морей, перекочевывая иногда за тысячи миль, пока не будут выброшены на пляж. Если почва и климат окажутся подходящими, орех сейчас же пускает корни, питаясь на первое время собственным запасом ядра и влаги, и в неведомом краю начинает вырастать новая роща.

Вышли на просеку и тронулись дальше. Матросы постепенно отставали, — им в городе было интереснее. Нас осталось всего семь человек: мои приятели и доктор с одним пациентом. Вокруг нас, скаля белые зубы, продолжали крутиться три малолетних гида.

Боцман Воеводин, шагая рядом со мною, все вспоминал об индуске и восклицал:

— Ну, и женщина, доложу я тебе! Как взглянула полуночными глазами, словно пулями пронзила меня!

Минер Вася Дрозд, соглашаясь с ним, вздыхал:

— Лучше не говори о ней. Только улыбнулась она — я сразу почувствовал во всем организме возрождение.

Лес густел, проявляя тропическую полноту жизни, и все было здесь для нас ново. Ласкали глаз тамаринды, эти прекраснейшие деревья, под сенью которых начальники сакалавов строят свои жилища. Попадались саговые пальмы, затем рафии с толстыми и коренастыми стволами, с тяжелыми гроздями плодов. А вот исполинский банан или, как его называют, «дерево путешественников» распростерло свои листья наподобие широкого опахала; в раструбках его черенков человек может найти воду для питья. Стройный пирамидальный лес обдал нас запахом гвоздики. Сейчас же представилось другое: не толстый ствол, а на нем будто надета шляпа из пурпурно-оранжевых цветов, развернувшихся под солнцем во всем своем огненном великолепии. Долго любовались хлебным деревом; плоды его, величиною с тыкву, прикрепилась посредством коротких стеблей прямо к стволу и свисали, как громадные светозеленые мячи.

Свернув с просеки, мы направились по утоптанной тропинке. Вышли на поляну, а с нее открылся вид на океанский простор. Взгляды наши были устремлены на коралловые атоллы, обрамленные перистой бахромой кокосовых пальм. Казалось, что эти пальмы поднялись прямо из океана и плывут по его сверкающей поверхности. У подножия их, несмотря на затишье, играли пенистые буруны, вскидываясь, как лохматые белые медведи. Солнце стояло уже высоко. Горячие лучи, как тончай-

шие раскаленные иглы, проникали под кожу, испаряли из нас влагу, сжигали ткани и нервы.

Чем дальше подвигались мы, тем сильнее поражались богатством дикого южного мира. Ну, как можно было не задержаться у гуттаперчевого дерева? Оно имел свои особенности, постепенно спуская с ветвей корни и вонзая их в почву. Корни эти утолщались и крепки и со временем превращались в самостоятельные стволы. Так образовалась многочисленная колоннада, принадлежащая одному дереву, а над ним простирался широкий лиственный свод, под которым могла бы разместиться целая рота матросов. Местами встречались такие густые чащи, что нельзя было свернуть с тропинки в сторону. Земля была тучная и жирная от перегноя, и на ней не оставалось пустого места. Промежутки между крупными стволами заросли подлеском, всякого рода кустарником, кружевным папоротником. И все это было опутано в диком беспорядке лианами, ползучими деревянистыми растениями, осыпанными то красными, то бледнофиолетовыми цветами. Лианы, извиваясь, обкручивали деревья, как удавы, поднимались до их вершин, потом свисали вниз в виде спиралей, пока не зацепятся, раскачиваемые ветром, за сучок другого ствола. Некоторые из них голые и эластичные, словно корабельные пеньковые канаты, протянулись наверху в разных направлениях — и горизонтально, и вкось; другие свалились к подножию своей опоры и беспомощно лежали, свернутые в кольца. Это сплошное сплетение делало лес непроходимым. Создавалось впечатление, что вся эта экзотическая мощь растительности в погоне за светом смешалась и переплелась между собою, душила друг друга.

Доктор объяснял нам:

— Если лиану вытянуть в одну линию, то длина ее может равняться полутора кабельтовых.

Инженер Васильев, показывая на толстое засохшее дерево, вершина которого облеклась в пурпур живых цветов, сказал:

— Посмотрите! Это лиана своими убийственными объятиями задушила лесного исполина, чтобы самой расцве-

сти под солнцем. Как всякое ничтожество, она из мрака ползком вылезла на свет и поднялась на недосыгаемую высоту. Замечательный образ паразита.

— И среди людей так бывает, — промолвил Голубев.

Внизу царил зеленоватый полусумрак, но чувствовалось, как с неба, проникая сквозь массу причудливой листвы, льется живой огонь. Наши легкие наполнялись горячим и влажным воздухом, пахнувшим ароматом цветов и ядовитой прелью. Мы были так мокры от собственного пота, словно только что искупались, не снимая с себя платья. Какую живую тварь скрывали такие дебри? Мы видели лишь несколько пород птиц, поющих и перепархивающих среди ветвей. Местные дятлы, попугаи и другие, в противоположность нашим птицам, отличались яркими красками оперенья. Но ничто нас так на восхищало, как крошечные колибри, сверкающие в воздухе, словно драгоценные камни. Когда какая-нибудь из них усаживалась на цветок, чтобы схватить насекомое, то нельзя было оторвать от нее глаз, — самая усовершенствованная по форме, она дрожала блеском сапфира и рубина, лучилась каплями чистого золота и бисером алмаза. Спугивали мы лемуров с пушистым хвостом, замечательных тем, что они могут перебрасываться с одного дерева на другое с неподражаемой ловкостью акробатов. Держали в руках хамелеонов, этих мордастых ящериц, моментально окрашивающихся под любой цвет среды. Ничего другого не было, но все время ждешь, что из непроходимой чащи джунглей вот-вот покажется какое-нибудь необыкновенное чудовище. Одни из нас восклицали от восторга, другие смотрели по сторонам молча, а в общем все одинаково были изумлены тем, как все здесь, пользуясь богатством солнечных лучей, размножается, разрастается и безумствует в избытке первобытно-дикой силы.

Внезапно открылась перед нами круглая глубокая котловина древнего вулканического кратера. Это было то самое озеро, к которому мы шли. В окружности оно имело не менее двадцати верст. Мы остановились на большой

высоте и, глядя вниз, долго любовались неподвижной бирюзой водной поверхности. Берега, закрывая озеро в круглую раму зелени, густо, местами непролазно заросли камышами, кустарниками и крупными деревьями. Увидели слева долину и направились туда, постепенно спускаясь вниз по густой траве. Там извивалась речка, то прячась в тени лесистых берегов, то снова выкатываясь на простор, под сияние неба, чтобы засверкать серебристой рябью. По словам сопровождавших нас сакалавских ребят, вот здесь-то, ближе к речке, и водились главным образом крокодилы, представляющие собою символ ужаса тропических лагун и озер. Мы остановились почти у самого берега и прислушались. Молчали все птицы, утомленные жарой. Ни одного звука не было вблизи. Казалось, что вся природа насторожилась в страхе перед могучей силой немилосердного солнца. Это зловещее соединение предательского безмолвия с ослепительным блеском тревожило воображение. Но где же однако крокодилы? И вдруг заметили, как по гладкой поверхности воды движется треугольник из трех точек, получившихся от возвышения над глазами и над пастью отвратительного существа.

Тихо промолвил доктор, как бы говоря самому себе:

— Хотелось бы проникнуть в самую душу этого гада. Какова сущность ее? Ведь несомненно, что под сплюснутыми чашками черепа у него вместе с жестокостью уживаются и трусость, и хитрость, и отвага, и своего рода любовь.

Ему никто ничего не ответил.

Еще один крокодил, в полторы сажени длиной, недалеко от нас вылез на отмель и улегся, напоминая собою грязный сгнивший чурбан с заостренным концом. Он проделал это нехотя и с такой меланхолией, словно сам был огорчен собственным уродством. Мы начали кричать, бросать палки в воду, вызывая этим страх у ребят. Крокодилы исчезли.

Мы поднялись выше по реке, и некоторые из нас искупались. Обратно возвращались другой дорогой. Когда были ближе к городу, заходили на фруктовые плантации.

Если тропическое солнце создало сок сахарного тростника, жгучие пряности и такое обилие разнообразнейших ароматов, то не менее щедро оно было и в творчестве превосходнейших плодов. Мы достаточно проголодались и с жадностью ели мучнистые и сладкие бананы. С небольших деревьев они свисали светложелтыми пуками вместе с листовой десятифутовой длины. Раньше о банановом дереве мы знали лишь одно, что из волокон его готовится макильский трос, который благодаря своим хорошим качествам употребляется на военных кораблях для буксиров и швартовов, — он мягок, гибок и пловуч. А вот другое дерево красиво раскинуло сучья, опущенные в синевато-зеленые ланцевидные листья, — это манго. Плоды его, величиною с грушу, яркооранжевого цвета, с косточкой в середине, как у персика, показались нам необыкновенно вкусными. Попробовали мы и аноны, зелено-чешуйчатые фрукты с таким содержанием внутри, которое напоминало сбитые сливки с сахаром. А здесь их пожирала свинья. Восхищались ананасом, как чудеснейшим даром тропиков. Он был похож на большую кедровую шишку, весом в два-четыре килограмма, с пучком листьев на верхушке. Золотистое мясо его было довольно крепко, но оно обладало такой сладостью, в меру смешанной с кислотой, и таким тонким, ни с чем несравнимым ароматом, что хотелось разрезать его на тонкие ломтики и жевать медленно, чтобы продлить удовольствие еды. Но не один из описанных плодов не может соперничать с мангустаном. Недаром его называют «царем фруктов». Инженер Васильев сообщил о нем интересную историческую справку:

— Когда короновался английский король Эдуард VII, то в Сингапур был послан самый быстроходный крейсер специально за мангустанами. Их набрали десять тысяч. Были приняты все меры к тому, чтобы сохранить их в целости. И все-таки на королевский стол попало их только четыреста штук. Остальные все погибли в пути.

И мы убедились, что мангустанов можно было есть сколько угодно, и все время будешь ощущать отсутствие тяжести в желудке. В каждом из них на-

считывалось пять—шесть белоснежных зерен, окруженных розовой мякотью. Попробуйте ее, и во рту останется надолго необыкновенный характерный запах фрукта. Казалось, природа потратила самый лучший и драгоценный материал на то, чтобы получились эти ядрено-желтые, словно наполненные солнечным соком, плоды, — настолько они нежны, вкусны, изысканы и тают на языке, как мороженое.

Ребятишки, награжденные деньгами с радостью умчались домой. Инженер Васильев и доктор Макаров направились в ресторан «Кафе Париж», куда нижним чинам вход был запрещен. Мы уже без них гуляли в городе, который после трех часов наполнился белыми кителями офицеров и синими воротничками матросов. Встречались пьяные. Кое-где слышались разухабистые русские песни, перебиваемые бранью, крепкой и сложной, как морские узлы в снастях. Удалось нам повидаться и поговорить с товарищами других судов. Как жаль было, что так быстро истекло наше время. На рейде виднелась эскадра, напоминающая, что наша судьба неразрывно связана с нею. В шестом часу вечера, отравленные мимолетной свободой, красотой экзотики, ласковыми улыбками женщин и мутью алкоголя, мы возвращались на броненосец «Орел», чтобы дальше испытать на нем всю горечь своего обреченного существования. Не лучше ли было бы, не дожидаясь страшной развязки, теперь же разбить голову о камни?

Показавшиеся на западе облака загорались алыми парусами заката, превращая мир в фантастическую сказку.

VI

На броненосец «Орел» пришла почта—письма и газеты. Как всегда, все новости, получаемые из России, вносили в личный состав оживление. Но теперь все были заинтересованы статьями капитана 2-го ранга Кладо, напечатанными в «Новом времени». Сначала эти статьи читались только в кают-компании. Много было разговоров о них. Автор среди офицеров стал героем. Мы уже слышали об этом, но доподлинно не знали, в чем тут было дело, пока не-

сколько номеров данной газеты не попало нам в руки.

После ужина я спустился в кормовой кубрик. Народу было много. Все притихли, когда я начал читать статьи Кладо вслух:

«То решающее значение, которое имеет в этой войне владычество над морем, и, как следствие этого, те горячие упования, которые возлагаются всей Россией на идущую теперь на Дальний Восток эскадру Рождественского, поневоле заставляют всякого задать себе вопрос: можно ли считать успех этой эскадры в бою обеспеченным?»

Жутко задавать себе такие вопросы, но надо иметь мужество глядеть правде прямо в глаза, и я постараюсь, насколько это мне доступно, добросовестно ответить на эти вопросы...»

Дальше он раскрывает перед нами, каким флотом владеют японцы, о чем до сего времени мы ничего не знали. Главные силы противника будут состоять из двенадцати кораблей: броненосцы — «Миказа», «Асахи», «Шикишима» и «Фуджи»; броненосные крейсера — «Ивате», «Идзумо», «Азума», «Якума», «Азама», «Токива», «Ниссин» и «Касуга». Затем у них имеются еще два старых броненосца, из которых один — «Чин-Иен» — вооружен четырьмя хотя старыми, но 12-дюймовыми орудиями. Кроме того, их главным силам будут помогать двенадцать или пятнадцать бронепалубных крейсеров первого и второго класса. Все эти суда имеют хороший ход и вооружены вполне современной артиллерией. К ним нужно еще прибавить десятка полтора канонерок. На счет минной флотилии противника Кладо предупреждает, что в высшей степени было бы неосторожно считать ее меньше, чем в 50—60 миноносцев различных классов.

Главные силы нашей эскадры состояли из пяти совершенно новых броненосцев — «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя». С нами были еще два броненосца: «Сисой Великий», хотя и пожилой, но вооруженный современной артиллерией, и «Наварин», совсем уже старый и со старыми пушками. Броненосных крейсеров, кроме одного «Адмирала Нахимова», достаточно древнего и с устарелой

артиллерией, у нас не было. Лишь один «Олег» принадлежал к хорошим крейсерам, но и тот был только полуброненосным. Затем в нашу эскадру входили пять бронепалубных крейсеров первого и второго класса, считая в том числе и такое устарелое судно, как «Дмитрий Донской». Таковы были наши силы, если не иметь еще в виду около десятка миноносцев.

Как видно из этого, перевес на стороне противника в предстоящем сражении будет большой. Кладо, прибегая к сравнению боевых коэффициентов того и другого флота, приходит к выводу, что на море японцы сильнее нас в 1,8, то есть почти в два раза. Когда я вслух прочитал такие строки, то один из слушателей произнес:

— Пропадать нам!

В кормовом кубрике сразу все заволновались.

Загорячился гальванер Голубев, выкрикивая:

— Ведь Кладо сравнивает только броненосные корабли. И то выходит для нас плачевно. А если взять другие японские суда и минную их флотилию, что получится? перевес на их стороне будет еще больше...

Его перебил кочегар Бакланов:

— Подождите, я вам один примерчик приведу. В селе у нас был подходящий для нас случай. Три брата Лупигоревых начали враждовать с тремя братьями Лохмотниковыми. Силы на той и другой стороне, можно сказать, были равные. Дальше-подальше Лупигоревы полезли в дом своих врагов драться. Но в этом-то и была их ошибка. За братьев Лохмотниковых заступились их жены и дети-подростки. Хоть небольшая подмога, а все-таки она пригодилась: кто за волосы тянет, кто ухватом лупцует, кто в морду поленом тычет. Словом кончилось для Лупигоревых очень плохо — разнесли их вдребезги. Еще хуже будет с нашей эскадрой. Главные наши силы слабее японских, и все-таки мы лезем в чужой дом сражаться. Вместо жен и детей им будут помогать разные вспомогательные суда и миноносцы. Можем мы уцелеть? Об этом Кладо ничего не пишет.

— Выходит, что мы все кандидаты на тот свет, — отозвался чей-то голос.

Машинный квартирмейстер Громов, высокий и широколицый человек, печально встал:

— Надо написать домой, чтобы заранее заказали обо мне панихиду.

Я продолжал читать статьи Кладо. Ему нельзя было не поверить. Его доказательства казались нам чрезвычайно логичными и неопровержимыми. В этих статьях, как выяснилось теперь, он еще в ноябре предсказывал, что едва ли к нашему приходу на Дальний Восток удержится Порт-Артур. Мало того, он предупреждал и относительно того, что на помощь 1-й эскадры мы не должны рассчитывать. И теперь все это сбылось: нет у нас больше ни Порт-Артура, ни 1-й эскадры. С безнадежностью он говорит о владивостокском отряде крейсеров «Громобоя» и «России». По мнению Кладо, им трудно будет с нами соединиться и оказать нам во время схватки помощь. Значит, он и здесь окажется прав.

Голос Кладо, докатившийся до Носси-Бэ, за двенадцать тысяч морских миль, прозвучал для нас набатом, предупреждая о наступающем бедствии. На что мы могли надеяться? Отряд контр-адмирала Небогатова, который вероятно уже вышел к нам на соединение, нельзя было рассматривать как серьезную силу.

Пришлось опять мне обратиться к инженеру Васильеву за разъяснением. Он все знает. Дня через два я отправился к нему в каюту обменять книгу. Я рассказал ему, какое сильное впечатление произвели на матросов статьи Кладо.

— Сейчас только об этом и говорят во всех частях корабля: в кочегарке, в машине, за двойным бортом, в минных отделениях, на баке. Газеты зачитали до того, что трудно стало разбирать текст. Некоторые из команды переписывают статьи себе в тетради. Возбуждение среди массы растет. Кладо считают чуть ли не революционером. Он не побоялся сказать правду и за это был арестован...

Васильев, выслушав меня, заговорил:

— Наши офицеры тоже от него в восторге. Он показал все трудности победы над Японией. А это значит, что с начальства снимается ответственность в случае нашего проигрыша. Кладо и на-

стоящее, и будущее подверг беспощадной критике. Это хорошо. Но мы все-таки подождем другого критика, еще более смелого, такого, который поднимется и над Кладо, и над национальным самолюбием. Уж если взялись критиковать, то надо это делать по-настоящему и добираться до самых корней нашего социального строя. Он оценил нашу эскадру единицей, а японский флот—1,8. Иначе говоря, противник сильнее нас на море почти в два раза. Чтобы победить японцев, Кладо советует двинуть на Дальний Восток все старые Балтики и посудины Черного моря. Но разве таким пополнением нашей эскадры мы достигнем равенства с японцами? Нет. Но если бы даже и сравнялись обе стороны морскими силами, это еще не обеспечивало бы в полной мере нас от опасности. Кладо, подсчитывая боевые коэффициенты, не принял во внимание еще целый ряд обстоятельств. Японский флот обеспечен портами, доками, мастерскими, складами. А у нас имеется единственный порт — Владивосток, но и тот необорудованный и жалкий. Надо иметь еще в виду боевую закаленность, дисциплину и воодушевление противника. А что мы противопоставим этому? Нашу военную незрелость, равнодушие и сомнение. Вспомните всю безалаберщину в бою с гульскими рыбаками...

— Очень хорошо помню, — вставил я. — По моему, тогда же всю эскадру нужно бы вернуть обратно и скорее заключить мир.

— Но, как видите, этого не было сделано, и мы идем дальше. Природа обидела наших заправил разумом. Теперь допустим, что мы победим. Что из этого последует потом? Надо будет продолжать уже начатую восточную политику. Придется восстанавливать из-под развалин железную дорогу, крепость, порт. Потребуется содержать на краю

непреодолимый флот и внушительную армию. Затем нам не обойтись без угольных станций. На все это нужны будут народные средства. Ведь восточная политика будет осуществляться за счет насилия над жизнью 140 миллионов народа. Заглянем еще дальше в будущее. Внешний враг укрощен. Тогда победоносное правительство припомнит ко-

что и внутреннему врагу. И опять заживем по-старому. Будем проводить мировую политику, либералов угощать призраками реформ, а революционеров — каторгой и пулями. Словом полная беспросветность впереди.

От беседы с ним мне стало еще более грустно, чем от статей, прочитанных в газете. Кладу уже не казался мне таким крупным человеком. Васильев заметил мое отчаяние и воскликнул:

— Ничего, друг! Все пойдет по-иному.

Он переменял тему разговора:

— Вон у меня в углу висит икона с изображением Николая-угодника. А вы знаете, откуда она мне досталась?

— Рабочие подарили ее вам, когда мы еще стояли в Ревеле. Они хотели написать вам благодарственную грамоту, но побоялись это сделать: и вас могли бы подвести, и себя.

— Я все-таки обрадовался такому подарку, хотя и не верю в чудодейственную силу его. У меня есть свой пророк.

С последними словами он залез на стол, достал из-за иконы увесистую книгу и показал ее мне. Я с удивлением прочитал название книги: «Капитал» Карла Маркса.

Васильев засмеялся:

— Уживаются вместе хорошо, не скандалят.

— Выходит, что Николай-угодник угождает разоблачителю всех святых и даже прикрывает его собою?

— Да.

В дверь постучали. Васильев мгновенно сунул Маркса под подушку и крикнул:

— Войдите!

Когда через порог перешагнул лейтенант Вредный, я уже стоял, вытянув руки по швам.

Васильев строго наказал мне:

— Значит, по три чарки отпустишь двум машинистам за мой счет. Можешь итти.

Я сделал поворот по всем правилам военного человека.

Как отзыв на статьи Кладу, которые многим открыли глаза на безнадежное наше положение, произошли недоразумения на крейсере 1-го ранга «Адмирал Нахимов». Дело было так. В то время, как на многих больших кораблях почти

каждый день выпекали свежий хлеб или, если не было соответствующих печей, добывали его с берега, нахимовская команда вынуждена была удовлетворяться полугнилыми сухарями. Не только во время похода, но и на якорной стоянке ей не выдавали хлеба. Матросы, недовольные этим, роптали между собою. Из начальства никто не обращал на них внимания. Так продолжалось до 10 января, пока кто-то из машинистов не поставил ребром вопроса:

— Ведь теперь ясно стало, что умирать идем. А нас кормят червивыми сухарями. Люди мы или собаки?

Другие подхватили:

— Хороший хозяин собак лучше кормит.

— Сегодня же потребуем свежий хлеб. Точка.

И на корабле, во всех его отделениях, среди нижних чинов начался шопот. Если бы начальство было наблюдательнее, то оно заметило бы у своих подчиненных перемену в настроении: загадочнее стали лица со стиснутыми челюстями, в глазах отражалась враждебность. А вечером все выданные на руки сухари полетели за борт. После молитвы, несмотря на приказание вахтенного начальника разойтись, матросы остались на месте, выстроенные повахтенно на верхней палубе, вдоль обоих бортов крейсера. В наступившей темноте два фронта были похожи на два неподвижных барьера. Такое непослушание скопом проявилось впервые за все время плавания. Офицеры этим были крайне удивлены, тем более, что многие из команды были гвардейского экипажа, самые дисциплинированные и самые надежные матросы. Теперь уже сам старший офицер возвысил голос, приказывая команде разойтись. И опять несколько секунд длилось жуткое молчание, точно люди все оглохли. Наконец из заднего ряда первой вахты, издали, как громовой рокот приближающейся грозы, басисто прозвучало:

— Свежего хлеба нам давайте!

И сразу же ночная тишина взорвалась дикими криками, воплями, руганью.

Осветили палубу. Перед фронтом появился командир судна, капитан 1-го ранга Родионов. Он взглянул на одну

вахту и на другую, сутулый, небольшого роста, с круглой седеющей бородой. Потом прошамкал провалившимся ртом: — Вы что же это, братцы, бунтовать вздумали, а?

Этот вопрос был задан с таким безразличием в голосе, что команда на момент растерялась и замолчала, но сейчас же опять зашумела, требуя хлеба. Командир пытался еще что-то сказать, но его никто уже не слушал. Тогда он прошелся несколько раз вдоль палубы, равнодушно поглядывая то на один фронт, то на другой, словно обдумывая, как укротить ярость своих подчиненных. Они вышли из повиновения, они орали на весь рейд, едва удерживаясь, чтобы не броситься на офицеров с кулаками. Теперь малейшая ошибка с его стороны может кончиться смертью для всего начальствующего состава. Он приказал отсчитать с фланга десяток матросов и переписать их фамилии. После этого им скомандовали:

— Шаг вперед — арш!

Маневр, рассчитанный на психологию людей, достиг своей цели. Отсчитанный десяток людей дрогнул и выполнил команду. А дальше, оторвавшись от массы только на один аршин, они стали послушны, как автоматы, и ничего уже не стоило заставить их повернуться в сторону и направить в носовую часть судна. Так же поступили со вторым десятком, с третьим. Остальные, постепенно замолкая, сначала заинтересовались, что делается на фланге, а потом, увидев, что дело их проиграно, сами разошлись, повалив гурьбой за койками. В движении людей была такая торопливость, как будто они хотели наверстать даром потерянное время.

На второй день впервые прибыл на крейсер адмирал Рожеественский. Весь экипаж был выстроен по-вахтенно на верхней палубе. Ждали, что он будет опрашивать претензии и начнет разбираться в происшедшем событии, а от него слышали другое:

— Я знал, что команда здесь сволочь, но такой сволочи я не ожидал.

Он произнес это с таким ревом, что у него перехватило горло. Лицо его вдруг посинело. Он быстро повернулся, спустился по трапу и, усевшись на паровой катер, направился к своему бро-

носоцу. Получилось впечатление, как будто он приезжал только затем, чтобы произнести эту единственную и никогда забываемую фразу.

Затем появился приказ адмирала Рожеественского от 12 января за № 34. У нас на «Орле» он был оглашен перед вечерней молитвой на шканцах, куда были собраны все матросы. Старший офицер Сидоров, покрутив седые, грозные усы, начал читать:

«В команде крейсера 1-го ранга «Адмирал Нахимов» среди честных слуг царских завелись холоуи японские, сеющие смуту между несмысленными и прячущиеся за спины их.

Холуи эти будут найдены и будут наказаны по всей строгости закона. А пока их не найдут, ротные командиры (в приказе перечисляются фамилии четырех лейтенантов) арестовываются домашним арестом с исполнением служебных обязанностей, а фельдфебеля (тоже все четверо названы по фамилиям) смещаются на оклад содержания матросов 2-й статьи с 1 сего января».

После молитвы, когда расходились за койками, слышался говор среди матросов:

— Теперь найдут виновников.

— Еще бы! Ведь не захочется ротным командирам сидеть под арестом. Они постараются найти. И фельдфебеля им помогут.

— Лишь бы указать на несколько человек, а виновны они или нет — это неважно.

— А при чем тут холуи японские?

— Сам он царский холуй.

На клотиках флагманского корабля вспыхивали огни световых сигналов.

VII

Начался период тропических дождей. Голубая высь при этом лишь иногда затягивалась сплошным серым покровом, сеющим мелкую водяную пыль. В большинстве же случаев по небесной пустыне плыли, принимая самые разнообразные очертания, небольшие иссиня-белесые облачка, между которыми почти не переставало светить солнце. Казалось, что каждое такое облачко было размером не больше шапки, но из него, как из опрокинутого чана, обрушивался на нас теплый ливень. Получалось

впечатление, как будто сам воздух превращался в воду. Так повторялось через каждые десять-пятнадцать минут. Дождь начинался внезапно, как и внезапно обрывался, словно кто в небе закрывал клапан, а потом, пронизанный лучами, уходил от нас, падая в море и на острова золотой пряжей. Разрозненными осколками сияла радуга.

Судам эскадры было приказано собирать дождевую воду. Для этого приспособили раскинутые над палубой широкие тенты, сделав в них стоки. С них сливались потоки в шлюпки и специально приготовленные парусиновые цистерны.

Было сыро, жарко и душно.

На пароходе «Espérance» испортились рефрижираторные машины. Мы были уверены — тут дело не обошлось без вредительства со стороны французской команды, которой не хотелось вместе с нами подвергаться опасности. Хранившееся в трюмах замороженное мясо, оттаивая, начало протухать. Далеко в море его выкидывали за борт. Но туши, прибываемые ветром и волною, приблизились к самой бухте, распространяя вокруг отвратительное зловоние.

Еще неделю тому назад, когда наши корабли, нагружившись всеми припасами, уже собрались было продолжать свой путь дальше, германские угольщики Гамбург-Американской линии неожиданно отказались сопровождать эскадру. Причиной было то, что японцы считали их действия нарушением нейтралитета и угрожали топить в море угольные транспорты. Завязалась спешная телеграфная переписка с Петербургом.

Такое обстоятельство вызвало у матросов смутные надежды. На баке можно было услышать:

— Чем-то все это кончится?

— Если немецкие угольщики откажутся с нами идти, то и нам придется возвращаться в Россию.

— Конечно, без топлива, как без ног, никуда не пойдешь.

Кто-нибудь из более трезвых людей тут же ловеще вставал:

— Бешеный адмирал ни перед чем не остановится.

Но ему горячо возражали:

— А вдруг и его мозг прояснится как море после тумана. Разве так не бывает?

— Бывает, что и акула «Отче наш» поет, но только сам я ни разу не слышал.

Переговоры нашего морского министерства с компанией Гамбург-Американской линии затянулись. Только в феврале все было улажено. Под давлением своего правительства германские угольщики согласились сопровождать эскадру дальше и обещались снабжать нас топливом даже и по восточную сторону Малакского пролива.

Конечно одна эта причина не могла бы задержать вице-адмирала Рождественского. Он все порывался уйти из Носси-Бэ, в надежде, что достанет запасы угля в голландских колониях Зондского архипелага. Может быть, он так и поступил бы, если бы не выявилось другое препятствие.

Морское министерство задним числом спохватилось, что эскадру в таком составе рискованно посылать дальше Мадагаскара. Командующий получил предписание ждать присоединения отряда капитана 1-го ранга Доброворского и эскадру контр-адмирала Небогатова. По слухам, исходившим с флагманского корабля, Рождественский на это так разозлился, что разбил у себя в салоне кресло. В течение нескольких дней никто из его штаба не решался войти к нему с докладом. Перешагнуть порог его каюты в такое время, когда он кипел в припадке гнева, было равносильно тому, как войти в клетку тигра. Но тигра можно хоть укротить пистолетом или железной палкой, а кто посмеет одернуть буйствующего сатрапа, облеченного почти неограниченной властью? Эскадра все-таки задержалась в Носси-Бэ до получения дальнейших распоряжений из Петербурга, задержалась, по видимому, надолго. Среди личного состава еще больше стала утверждаться мысль, что нас вернут обратно.

Ни одного дня не проходило без тяжелых работ: грузились углем, чистили котлы, перебирали механизмы, производили ремонты. На ряду с этим начались усиленные учения: артиллерийские, минные, отражение атак миноносцев, постановка мин заграждения, пе-

жарные и боевые тревоги, освещение прожекторами. Несколько раз в разные числа выходили в море для практических стрельб и маневрирования.

Первая стрельба происходила 13 января. Только «Сисой Великий», у которого что-то неладно было с машинами, остался на месте. Остальные все броненосцы и крейсера в количестве десяти выпелов ранним утром снялись с якоря. А когда вышли на морскую простор, «Александр III», «Орел», «Наварин» и «Нахимов» спустили за борт пирамидальные щиты. Эскадра, идя кильватерной колонной, стала огибать щиты, имея их в центре дуги.

Погода была тихая.

«Ослябя», открыв пристрелку, показал сигналом расстояние. После этого и остальные суда стали стрелять по щитам. Я не знаю, как происходило на других кораблях, но у нас на броненосце управляли огнем из боевой рубки, давая время выстрела, направление цели и поправку целика. Не считая выстрелов из средней и мелкой артиллерии, «Орел» выпустил по два практических снаряда из 12-дюймовых орудий.

Стрельба получилась очень плачевная. Она и не могла быть лучше. Командоры наши не имели настоящей тренировки ни с орудиями, ни с оптическими прицелами. Дальномеры системы Барра и Струда были выписаны из Англии и установлены на судах уже во время войны. Их было всего только по два на каждом корабле. Матросы-дальномерщики не научились с ними обращаться. Я сам на этот раз слышал на «Орле», как два дальномерщика, определяя расстояние до одного и того же щита, передавали различные результаты.

— До неприятеля 20 кабельтовых! — криковал один из них.

— До неприятеля 28 кабельтовых! — возвещал другой.

При такой большой разнице в наблюдении выпущенные снаряды, описывая траекторию, делали либо недолет, либо перелет, но не попадали в цель.

В других случаях было еще хуже. В правой кормовой 6-дюймовой башне на дифферблате было показано расстояние 11 кабельтовых. Командир башни, руководствуясь таким указанием, поста-

вил орудия на соответствующий угол возвышения и открыл огонь. А на самом деле до щита было 24 кабельтовых. Левая носовая башня, приступая к действию, сразу же лишилась подачи, и в нее таскали снаряды из правой башни. Кроме того, очень волновались комендоры. Один из них например целился сорок минут, но так и не сделал выстрела. Затем приказания, исходившие из боевой рубки, выполнялись с большим опозданием, так как в башнях всегда было что-либо не готово. В общем выяснилось, что в боевом отношении мы совершенно никуда не годимся.

Вечером, возвращаясь на якорную стоянку в Носси-Бэ, я смотрел на командира, на старшего артиллериста и на других офицеров. У них был такой подавленный и виноватый вид, как будто их только-что оттрепали за уши. И «Орел» не представлял собою исключения — оскандалилась вся эскадра, не умея ни стрелять, ни управляться.

По поводу этого выхода в море вот что написал Рождественский на второй день в своем приказе № 42:

«Вчерашняя съемка с якоря броненосцев и крейсеров показала, что 4-месячное соединенное плавание не принесло должных плодов.

Снимались около часа, потому что на «Суворове» не действовал шпиль, обросший грязью и обожжавший.

Но и за целый час 10 кораблей не успели занять своих мест при самом малом ходе головного.

С утра все были предупреждены, что около полудня будет сигнал — повернуть всем вдруг на 8 румбов и в строе фронта застопорить машины для спуска щитов.

Тем не менее все командиры растерялись и вместо фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей.

Особенно резко выделалось в I отряде невниманием командиров «Бородино» и «Орел».

Второй отряд из трех кораблей попал только одним «Наварином» на траверз «Суворова» и то на минуту. «Ослябя» и «Нахимов» плавали каждый порознь. Крейсера даже и не пытались строиться. «Донской» был на мило позади прочих.

Призванные снова в кильватерную колонну для стрельбы, корабли растяну-

лись так, что от «Суворова» до «Донского» было 55 кабельтовых.

Разумеется, пристрелка одного из кораблей, даже среднего, не могла служить на пользу такой растянутой колонне.

Если через 4 месяца совместного плавания мы не научились верить друг другу, то едва ли научимся и к тому времени, когда бог даст встретиться с неприятелем.

Вчерашняя эскадренная стрельба велась в высшей степени вяло и, к глубокому сожалению, обнаружила, что ни один корабль, за исключением «Авроры», не отнесся серьезно к урокам управления при исполнении учений по планам.

Ценные 12-дюймовые снаряды бросались без всякого соображения с результатами попаданий разных калибров: иногда через несколько минут полного молчания раздавался выстрел из 12-дюймовой пушки, а за эти несколько минут крупно изменились и расстояние до цели, и курсовой угол, и положение относительно ветра. Какими же пристрелочными данными руководствовался управляющий артиллерией, выпуская ценные снаряды так, наудалую?

Стрельба из 75-миллиметровых пушек была также очень плоха; видно, на учениях наводка по оптическим прицелам практиковалась «примерно», поверх труб. О стрельбе из 47-миллиметровых орудий, изображающей отражение минной атаки, стыдно и упомянуть; мы каждую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днем всею эскадрой не сделали ни одной дырки в щитах, изображающих миноносцы, хотя эти щиты отличались от японских миноносцев в нашу пользу тем, что были неподвижны...»

Этот приказ, из которого я взял только выдержки, вызвал разговоры среди офицеров. На переднем мостике встретились два лейтенанта: Павлинов и Гирс. Первый сказал:

— Собственно говоря, кто тут виноват, если не сам адмирал? Он снаряжал эскадру. Все наши боевые недочеты могли бы быть видны уже тогда, когда мы еще слезали в Ревеле. Зачем же понесла нас нелегкая сила к чорту в лапы?

Лейтенант Гирс, соглашаясь с ним, добавил:

— Командующий дорожит каждым

снарядом. Но хуже будет, если все наши боевые запасы вместе с кораблями пойдут на дно моря.

— Ну, и этот жук хорош — адмирал Бирилев. Сплавил нас и доволен. Еще награду за нас получит. А не позаботился выслать с каким-нибудь транспортом запасы снарядов для практической стрельбы.

— Виновато и морское министерство, и еще кое-кто.

— Ведь нужно быть безголовым, чтобы такую эскадру посылать на войну.

18 и 19 января опять выходили в море для той же цели. Кроме «Жемчуга», миноносцев и транспортов, оставшихся на месте, снялись с якоря пятнадцать кораблей: «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Наварин», «Сисой Великий», «Нахимов», «Аврора», «Донской», «Алмаз», «Светлана», «Урал», «Терек» и «Кубань». Последние четыре судна не принимали участия в стрельбе, а удалились от нас на горизонт, выполняя роль сторожевой службы.

Эскадра и в эти два дня проявила себя с отрицательной стороны. Плохо выполнялись эволюции. Не удавались простейшие повороты, а когда корабли переходили в строй фронта, то они напоминали новобранцев, не имеющих понятия о самых элементарных захождениях. Не лучше было и со стрельбой. Мало того, чуть было не натворили бед. Один снаряд упал около самого борта «Донского», а другой пробил ему мостик, снес две стойки и сделал выбоину в палубе. Чугунный 6-дюймовый снаряд был практический, поэтому не разорвался, и дело обошлось без жертв. Это вклеил «Донскому» флагманский броненосец «Суворов».

Рождественский в приказе № 50 опять бичевал свою эскадру:

«В расходовании снарядов крупных калибров замечается все та же непозволительная неосмотрительность...

Скорость же стрельбы 18 и 19 января была еще меньше, чем 13 января...»

Следующий выход в море был спустя шесть дней. Нас сопровождали семь миноносцев. Как не этот раз обстояло дело в смысле учета? В приказе Рождественского от 25 января № 71 многие не без волнения прочли следующие строки:

«Маневрирование эскадрой 25 сего января было нехорошо.

Простейшие последовательные повороты на 2, на 3 румба при перемене курса эскадры в строе кильватера никому не удавались: одни при этом входили внутрь строя, другие выпадали наружу, хотя море было совершенно спокойное и ветер не превосходил трех баллов.

Стрельба из больших орудий 25 января была бесполезным выбрасыванием боевых запасов.

Иные выбрасывали первые два снаряда залпом, а третий через четверть часа, другие кляли все три снаряда с огромными и однообразными недолетами иль столь же упорными перелетами, не меняя прицела...»

Вследствие недостатка боевых запасов на этом закончилась наша практическая стрельба.

Во всех четырех случаях мы спускали с «Орла» один и тот же щит. По нем палили со всей эскадры, пуская в ход крупную, среднюю и мелкую артиллерию. Не оставались без действия и пулеметы. Стреляли и с большого расстояния, и с малого, приближаясь иногда до цели на шесть кабельтовых. Однако щит остался невредим, и, когда в последний раз вытащили его на палубу, на нем не оказалось даже ни одной царапины.

Какой вывод отсюда можно было сделать?

Боцман Воеводин изрек:

— Эскадра для нас — это гроб со свечкой.

Кочегар Бакланов добавил:

— По всему видать — схарчат нас акулы.

Теперь мало кто сомневался, что нас посылают на убой. Эскадру нужно было бы немедленно вернуть назад.

VIII

Мы простились с транспортом «Малайя». Ее услали в Одессу с больными, штрафными, преступниками и сумасшедшими. А за две недели до этого на ней произошел бунт. Для усмирения были посланы туда вооруженные люди с другого корабля. Арестовали четыре человека из команды «Малайя». Все они оказались вольнонаемные. Их разве-

ли по одному человеку по разным броненосцам и посадили каждого в карцер. Но скоро они заболели и были переведены на госпитальный «Орел». Рождественский будто бы угрожал высадить их на необитаемый остров.

Карцеры на новейших броненосцах были расположены в глубине судна и не имели вентиляций. Попасть под арест — это было все равно, что подвергнуться жестоким пыткам. Некоторые матросы не выдерживали удушливо-жаркой температуры и, прежде чем медицина приходила им на помощь, умирали. Несмотря на это, то на одном корабле, то на другом со стороны команды все чаще проявлялись грозные признаки неповиновения начальству.

Утром первого февраля мы снялись с якоря и в количестве пятнадцати вымпелов вышли в океан для эволюций. А накануне была получена радиотелеграмма, что к Мадагаскару приближается отряд капитана 1-го ранга Добротворского. На северном горизонте показались дымки. Радостно заволновались матросы, восклицая:

— Вон они!

— Топают, родные.

— Шесть штук.

Мы шли навстречу им, быстро сокращая расстояние. Скоро можно было различить корабли: крейсер 1-го ранга «Олег», крейсер 2-го ранга «Изумруд», два вспомогательных крейсера — «Рион» и «Днепр» и два миноносца — «Громкий» и «Грозный». По сигналу командующего суда прибывшего отряда заняли свои места в строю эскадры. Мы совместно занялись двухсторонними эволюциями, которые были так же плохи, как и предыдущие, а в четыре часа вернулись в Носси-Бэ.

Встреча с последним подкреплением 2-ой эскадры несколько развлекла нас, но не могла рассеять душевного мрака. Мы знали, что 1-ая эскадра сильнее была, чем наша, и все-таки погибла в Порт-Артуре. Не миновать этой участи и нам.

Будет ли Рождественский ждать 3-ю эскадру?

Среди офицеров установилось мнение, что нас вернут в Россию.

В русских газетах, какие мы получали, тон статей заметно повышался. Под влиянием военных неудач на прежнюю жизнь, тихую и затхлую, как застоявшееся болото, подул свежий ветер кригики. Чувствовалось, что в России нарастает нечто непривычно-новое. А из иностранных газет мы уже знали о крупных событиях, и эти события на время заслонили на эскадре интересы войны.

В Петербурге по Невскому проспекту ходила учащаяся молодежь с революционными песнями и красными флагами. В Баку забастовали рабочие. В Севастопольском порту мастеровые побросали работу. Одежда, пожертвованные фабрикантом Морозовым на войну, будто бы продавались в Нижнем на рынке, и это возмутило московских купцов. Московская дума предъявила требования правительству об изменении существующего строя. Грандиозное забастовочное движение разразилось в Петербурге, охватив все крупные фабрики и заводы,—забастовало около двухсот тысяч человек. Недовольство войной и общими государственными порядками, повидимому, все глубже проникало в широкие слои населения.

Все это не могло не тревожить и людей на 2-ой эскадре. Потом пришло известие, от которого у многих содрогнулось сердце. Слух об этом вышел из кают-компании и начал кочевать по всем отделениям судна, возбуждая в команде мрачные мысли. От него, как от страшного призрака, бледнели лица матросов, широко раскрывались глаза. В иностранных газетах подробно было описано событие «9 января».

Вечером мы собрались в кормовом подбашенном отделении 12-дюймовых орудий. Здесь никто из начальства не мог нас услышать. Сначала говорили то-ропливо, все разом, перебивая друг друга:

— Слышали?

— Да, триста тысяч народу двинулось к Дворцовой площади.

— Хотели просить у царя облегчения своей жизни.

— Во главе, говорят, находился какой-то священник Гапон.

— Шли с иконами, с портретами царя.

— А он их встретил свинцовым градом.

— Людей рубили шашками, мяли копытами. Не давали пощады ни женщинам, ни детям.

— Уничтожили более двух тысяч человек.

Гальванер Голубев, подняв руку, сурово крикнул:

— Довольно болтать, товарищи! Нам нужно от слов к делу переходить. На всех кораблях найдутся сознательные ребята. Наступила пора приступить к организации массы. Нужно быть готовым к событиям. Пусть каждый из нас установит связь с другими судами. И будем ждать удобного случая, когда, может быть, потребуется вместо андреевского флага поднять красный флаг.

Мишер Вася Дрозд перебил его:

— И если уж подниматься, то всей эскадрой.

Машинный квартирмейстер Громов крикнул:

— Правильно! Мы должны удерживать команду от отдельных вспышек.

Трюмной старшина Осип Федоров прибавил:

— Иначе мы будем только людей напрасно губить. Нужно действовать организованно.

Розошлись поздно, наметив вчерне план для будущей работы.

Сношение с «Суворовым» досталось на мою долю.

Как после узнали, событие, разыгравшееся 9 января, вызвало разговоры на всей эскадре. Никто больше не верил в доброту царя. Поколебались в своих верноподданических чувствах к нему даже некоторые офицеры.

Вспомнилось, какое настроение было у меня пять с лишком лет тому назад. С новобранства, пока нас не разбили по флотским экипажам, я целую неделю прожил в Петербурге, в грязных и вшивых, проходящих казармах. Мне захотелось посмотреть царский дворец. Ведь об этом я мечтал, будучи еще в своем селе Матвеевском. Стоял сырой и слякотный ноябрь. Мы, вдвоем с одним гварийцем, одетые в военные пиджаки, пользуясь указаниями прохожих, добрались до Дворцовой площади. По-деревенски наивные, мы с изумлением смотрели и на главное адмиралтейство, над

которым возвышается золотой шпиг с таким же золотым парусником на конце, и на Александровскую колонну, с которой бронзовый архангел как бы благословляет дворец, и на красное трехэтажное, необыкновенной ширины здание, которое своим фасадом выходит прямо на Неву. Ведь здесь живет он, божий почитанник, коронованный человек, под скипетром которого находятся сто сорок миллионов народонаселения. От него зависит благополучие всех людей.

— Вот так изба! — удивлялся мой спутник.

— Ну, и махина! — восторгался я. — За целый день не обойдешь все комнаты. Вероятно не один он здесь живет.

— Ясное дело при нем должны находиться министры и генералы.

Вокруг колонны прохаживался часовой, какой-то гренадер в форме, никогда мною невиданной. Стояли еще часовые у подъездов дворца, охраняя покой царя, чтобы злодеи не могли сделать на него покушения за все его щедроты и милости к народу. Если бы в это время кто-нибудь попробовал сказать что-нибудь нехорошее против царя, я бы такого человека уничтожил на месте. Ушли мы с Дворцовой площади счастливые.

Потом товарищам в экипаже и на кораблях много пришлось поработать надо мною, и самому мне нужно было прочитать немало нелегальной литературы, прежде чем перевернулось мое сознание. Тюрьма закончила воспитание. Прежнее деревенское понятие о царе было выжжено в моей душе, как выжигают бородавку на теле.

А теперь я бродил по кораблю, не находя нигде себе места. Страшная весть о кровавом воскресеньи, долетевшая до нас в такую даль, в Нюсси-Бэ, пронизывала все мое существо. Мне мерещилась все та же Дворцовая площадь, где произошла царская расправа с рабочими. И че я один, а тысячи голов на эскадре задумались над этим событием.

За последнее время я иногда читал свои заметки о нашей эскадре инженеру Васильеву. Он делал мне много полезных указаний в смысле стилистики и оформления литературного материала. Вместе с тем я получал от него советы, в каких мастеров художественного слова я должен учиться. Случалось, что он то-

же знакомил меня со своим дневником. У него выходило интереснее, с более углубленным анализом фактов, с надлежащими выводами. Но я был прилежным учеником, и все, что слышал от него, воспринимал горячо, всерьез и крепко запоминал.

В своих литературных работах я был очень осторожен. Те клеенчатые тетради, в которых я излагал свои взгляды на эскадру, прятал в такие места, где их никто не мог найти. В чемоданах моих оставались лишь черновые сухие записи судовой жизни. И все-таки однажды я сделал такой промах, который чуть не погубил меня. Но об этом не буду рассказывать сам, а приведу лучше выдержки из неопубликованного дневника инженера Васильева. Давая характеристику тому, как отразилось «9-ое января» на офицерах, вот что он написал дальше:

«...Схватки на улицах Петербурга, баррикады, вожаки, их попытки вступить в непосредственные переговоры с государем — все это с мелочными подробностями промелькнуло перед нашим взволнованным воображением из описания газет. Каждому все глубже приходится вдуматься в самого себя, взвесить убеждения и принципы, определить свое отношение к событиям.

Но уже видно, куда клонится чашка весов.

Иллюстрацией послужит следующий эпизод из жизни военного корабля, броненосца «Орел».

Позавчера старший офицер поймал судового баталера в тот момент, когда он передавал комендорам в башню печатанную на ремингтоне брошюру. Она оказалась произведением самого матроса и была отпечатана в канцелярии броненосца совместно с писарем в нескольких экземплярах. Этот матрос был и раньше на подозрении, так как отличался большой любовью к знанию, читал историю философии. Дарвина, Бокля, Шопенгауэра и был известен еще при выходе из Кронштадта как «политик». Брошюру старший офицер принес в кают-компанию, и здесь офицеры читали ее вслух и обсуждали. Матросу попало в руки из кают-компании несколько номеров «Руси», откуда он узнал об образовании фонда народного просвещения и читал

горячие письма из недр народа, отозвавшегося на призыв. Он на баке пропандировал среди команды мысль — собрать свою лепту — и написал на эту тему статью. А у него есть уже большая привычка писать, так как он составил несколько повестей, рассказов и пьес из жизни простолюдинов. Вначале он описывает суждения матросской среды насчет значения науки и знания, затем от себя приводит целый ряд суждений на тему о том, как влияет знание на личную судьбу каждого, а в сумме — на склад государственной жизни. Далее он излагает те обычные пути, какими средний русский человек из низших классов может расширить свой кругозор, наконец на собственном примере изображает те препятствия, какими окружена для людей его состояния возможность самообразования. Как вывод из всего сказанного он делает заключение относительно причин этих терний на пути к просвещению и ставит это в связи с тенденциями, заложенными глубоко в бюрократическом правительстве. Следует общая характеристика вредного влияния существующего бюрократического управления на жизнь 140-миллионного народа. Кончается призывом — идти смело вперед к чистым целям.

Будь это в другой обстановке, в другой среде, не скованной традициями формальной дисциплины, такое воззвание было бы обыкновенным явлением, но на военном корабле, идущем в самый разгар войны, — о, это был и смелый, и исключительный шаг!

Но не менее исключительным оказалось отношение офицеров к этому событию, отношение, достаточно характеризующее, насколько глубоко уже проникли в их среду современные веяния и поколебали устой формального отношения к событиям жизни.

Я со старшим доктором и обер-аудитором выступили на защиту автора, и кают-компания стала на нашу точку зрения, рассеяв колебания старшего офицера.

Офицеры нашли, что в своей статье, где приведены также факты из судовой жизни «Орла», нет ни слова лжи, что статья написана горячо и с честными стремлениями, что недостатки, указанные ею, действительно сковывают разви-

тие даже морского дела, которое нуждается в технически развитых людях. Далее, факт сбора по личной инициативе матросов, давший до 160 рублей, есть явление отрадное, и нельзя за него карать только потому, что по уставу «воспрепятствуют всякие сборы без разрешения начальства». Порицания нашего политического строя также не могут быть поставлены ему в вину, ибо этой критикой полны все газеты: и раз офицеры допускают команду до чтения газет, дают матросам статьи Клады, то большая часть формальной ответственности лежит на них. Наконец суровая кара нежелательна еще и потому, что она не поддержит поколебленной дисциплины. Собранные же деньги надо принять от матросов и послать по назначению.

Эту точку зрения поддержал представитель судебной власти, обер-аудитор эскадры, она же была им внушена командиру, что конечно для командира было даже удобно — не поднимать истории. И в результате баталер был только смещен на время на низший оклад за пользование ремингтоном и за недозволенный сбор. Остальное предано забвению. Между прочим у него старший офицер забрал сначала все тетради, заметки, книги, дневники, там нашлось также много «подозрительного». В записной книжке например были записаны все случаи «мордобойства» фельдфебелей боцманов, унтер-офицеров, отмечены такие эпизоды, как удаление сочинений Толстого из судовой библиотеки по настоянию батюшки. Но решили, что так как эти заметки оставались его личным достоянием, а не были обращены в команде, то не обращать на это внимания. Кажется, все ему возвращено.

Между прочим можно добавить, что этот матрос вовсе не исключение из своей среды, в ней много таких же развитых и начитанных людей, и они облагораживают понемногу всю массу, борются с грубыми инстинктами ее и будят духовные запросы».

Инженер Васильев записал в свой дневник все верно, исключая одного момента: не вся кают-компания перешла на мою сторону. Насколько мне было известно через вестовых, лейтенант Вредный, мичман Воробейчик и несколько других офицеров стояли за то, чтобы

моему делу дать законный ход. К счастью, в числе их не был старший офицер Сидоров, и это спасло меня от каторги.

Должен еще прибавить, что орловская кают-компания в сравнении с кают-компаниями других судов была самая передовая. Это объясняется тем, что в ней находился революционер Васильев, человек большого ума и сильной воли. В своих взглядах на жизнь он всегда находил до некоторой степени поддержку в лице старшего врача Макарова, обер-аудитора Добровольского и лейтенанта Гирса. А все четверо они в политическом отношении вели за собою остальных офицеров.

На второй день прибежал в канцелярию вестовой и объявил мне:

— Тебя требует к себе в каюту старший офицер.

Отправляясь в сторону кормы, я очень волновался. Стучало в висках, замирало сердце, как при высоком полете на качелях. В офицерском коридоре перед каютой я замедлил шаги. Вдруг сзади меня послышался топот ног. Это бежал рассыльный с вахты, молодой матрос, который, опередив меня, постучал в дверь.

— Войдите! — послышалось из каюты.

Рассыльный, открыв дверь, рванулся вперед и, споткнувшись за комингс порога, нырнул головою в каюту, как щука, и тут же, взмахнув руками, грохнулся на палубу. Я в это время стоял у порога и видел, как прыгнул с кресла, словно подброшенный мяч, старший офицер и отпрянул в угол. Рассыльный сейчас же вскочил и, вытянувшись, весь замер на месте. Голова его слишком откинулась назад, словно он смотрел в потолок, пальцы на руках, вытянутых по швам, растопырились, лицо вздулось от какого-то внутреннего напряжения. Капитан 2-го ранга Сидоров несколько секунд смотрел на него молча, шевелия грозно усами, а потом, спохватившись, заговорил:

— Это... что же такое?

Рассыльный ничего не ответил.

Старший офицер повысил голос:

— Я спрашиваю тебя, в чем дело?

Рассыльный дернулся и гаркнул:

— Забыл, ваше высокоблагородие!

— Что за болван такой! Как твоя фамилия?

— Забыл, ваше высокоблагородие!

— Ну, убирайся к чорту! Когда вспомнишь, тогда придешь!

Рассыльный исчез, а Сидоров снова уселся в кресло, тяжело дыша. Меня эта сцена так развеселила, что я совершенно успокоился.

Старший офицер покосился на меня и, показывая на мои тетради, лежавшие на столе, хмуро заговорил:

— Возьми все свои бумаги. Либо сожги их, либо спрячь их, чтобы они больше не попадались мне на глаза. Советую тебе, пока ты находишься на военной службе, бросить всякое писание. Если бы твое дело дошло до адмирала, он стер бы тебя в зубной порошок. Понимаешь ты это?

— Так точно, ваше высокоблагородие, все понимаю. И сердечно благодарю вас за ваше доброе отношение ко мне.

Я ушел от него с таким радостным чувством, как будто бы был освобожден из тюрьмы.

IX

Носси-Бэ очень красив, но европейцам на нем было трудно жить. Некоторые не выдерживали более трех лет и умирали. За время нашей стоянки здесь увеличались болезни среди команды. Лихорадка, дизентерия, туберкулез, фурункулы, помешательства, тропическая сыпь, ушные заболевания стали обычным явлением. Заболел и я тропической сыпью. Вся кожа покрылась мелкими водянистыми волдырями. Правда, если лежать не дыгаясь, то, кроме зуда, не испытываешь особенного беспокойства, но нельзя ни нагнуться, ни напрячь мускулов — едва видимые волдыри лопаются, причиняя мучительную боль, и тело покрывается, словно от пота, бесцветной влагой. Но подобная болезнь никого не избавляла от работы, а доктора не обращали на нее внимания.

Жизнь на эскадре разлагивалась. Беспросветность будущего убивала в офицерах и команде интерес к своим обязанностям и вообще к разумным делам. Люди, охваченные безграничным унынием, не знали, в чем найти забвение, и как нарочно проявляли себя только с худшей стороны.

Адмирал Рождественский решил подтянуть личный состав. А для этого, по

его мнению, нужно было занять всех делом настолько, чтобы ни у кого не оставалось времени задуматься над своей судьбой и над событиями в России. Погрузки угля и запасов с транспортов, боевые учения, ночные атаки на минных катерах, высадки десанта на берег, очистка корабельных днищ от ракушек и водорослей, разные тревоги не давали покоя никому ни днем, ни ночью. Ко многим другим работам прибавилась еще одна: ежедневно команда отправлялась на барказах к берегу за пресной водой. Потом придумали для нас шлюпочное учение. Каждое утро, после завтрака, матросы усаживались на гребные суда и, работая веслами, обходили вокруг всей эскадры. Возвращались к своему кораблю перед самым подъемом флага. На баке по этому поводу слышались озлобленные разговоры:

— На что нам сдалось это учение гребле? Ведь не на шлюпках мы будем сражаться с японцами?

— Бешеный адмирал нарочно нас мучает.

— Он лучше подумал бы о другом. Мы ни разу не практиковались с подводной пластыря. В случае пробоины в подводной части корпуса, что мы будем делать?

Мы не спали как следует ни одной ночи. Многие настолько переутомлялись, что едва передвигали ноги по палубе. Но этим адмирал нисколько не достиг своей цели. Наоборот, процент преступлений и нарушений дисциплины возростал.

На кораблях развилось пьянство. Офицеры доставали спиртные напитки легально в буфете своей кают-компании, а матросы приобретали их тайно, на берегу или с иностранных коммерческих судов. До каких только несуразностей не доходили люди, отравленные алкоголем! На пловучей мастерской «Камчатка» однажды офицеры, как они сами выражаются, «набодались» до потери рассудка и начали все скопом с бранью и криками отплясывать трепака в кают-компании. Дирижировал лейтенант, стоя в одном нижнем белье на стуле. А в это время молодой мичман, забившись под стол, лаял на всех по-собачьи. Каждому хотелось выкинуть еще что-нибудь сногсшибательное. В этом отношении всех

покрыл пожилой офицер, провозгласив гост за японского адмирала Уриу. Мастеровые и команда видели и слышали что творилось в кают-компании, но едва ли об этом знал сам Рождественский. На вспомогательном крейсере «Урал» произошла из-за чего-то ссора между офицерами и судовым командиром. Ненависть к нему настолько обострилась, что его чуть не избili. После этого лейтенант Колокольцев написал ему дерзкое письмо, за что попал под суд. Не представляя собою исключения и флагманский броненосец «Суворов». На нем один офицер, перегрузив себя спиртными напитками, свалился за борт, и его едва успели спасти. На корабль привезли несколько ящиков с шампанским. Один такой ящик исчез с верхней палубы. Его нашли в кочегарке. Виновым матросам надавали пощечин, но ничего не доложили об этом опостылевшему всем адмиралу. Там же офицеры, изнывающие от мрачной тоски, не придумали другого развлечения, как начали пить шампанским обезьяну и собак и срашивать их между собою. Дикие поступки в разных вариациях повторялись на всех судах словно какой-то мрак повис под искаженным сознанием людей.

Я несколько раз бывал на берегу со своим ревизором, лейтенантом Бурнашевым, который закупал там для корабля разные продукты.

В городе торговля увеличилась. Пооткрывались новые магазины и палатки с русскими надписями на вывесках: «Поставщик флота», «Торгую с большой уступкой», «Прошу русских покупателей заходить». В Хелльвиль, считывая в нем нажиться, двинулись всевозможные дельцы из Диго-Суарец, из Маюнги, с соседних островов и даже с материка. Под видом торговцев появились и японские агенты. Бывали случаи, когда они, эти агенты, безнаказанно разезжали по нашим кораблям. Мало того, один из них, обнаглел, посетил даже флагманский броненосец. Эскадра задержалась здесь на неопределенное время, а на ней было много народу. Как не воспользоваться таким обстоятельством и проституткам? И они понахлынули в городок с разных мест, как мухи на разлагающийся труп французенки, англичанки, немки, гол

ланджи. На скорую руку возникали явные и тайные притоны с азартными играми, с продажными женщинами. Закипела жизнь, буйная и расточительная. Офицеры увлекались игрою в макао, и золото начало тысячами перекочевывать из одних карманов в другие. Цены на все товары непомерно росли. Бутылка пива стоила три франка, а шампанское — от сорока до шестидесяти франков. Не все ли было равно? Люди шли на войну без веры в успех экспедиции. Они пьянствовали и развратничали, хандрили и лебоширили.

Офицеры, с'езжавшие на берег большей частью в вольных костюмах, старались не замечать безобразий матросов, чтобы самим не натолкнуться на дерзость. А те, почувствовав слабость дисциплины, переставали признавать авторитет начальства. Гуляя по городу, они никого не стеснялись и даже грозили офицерам кулаками. Некоторые напивались до того, что валялись среди улицы неподвижными телами, словно после битвы, другие, дергаясь от судороги, ползали на четвереньках. Никто уже не боялся патрульных, посылаемых на берег. Они, арестовав кого-нибудь из команды, вели его под руки к пристани, а он, еле волоча ноги, хрипел:

— Пустите, окаянные! Морды вам побью!

— На судне по-другому запоешь, как увидишь старшего офицера.

— Что? Старшего офицера? Плевать я хотел на него. Это — дрянь в перьях. Команда с миноносца «Грозный» учинила на берегу погром. Несмотря на слезы и вопли туземцев, матросы разнесли их хижину и разбросали скудное добро. По этому делу были арестованы четверо. О них узнал Рожественский и приказал доставить их на «Суворов». Уже после того, как они предварительно были истерзаны адмиральскими кулаками и пинками, их отдали под суд. Но это несколько не останавливало других от преступлений. На берегу то-и-дело происходили драки. Дрались матросы между собою, нападали и на офицеров. То на одном корабле, то на другом все чаще взвевался на фок-мачте гюйс и раздавался пушечный выстрел — это означало, что начинался «суд особой комиссией» и кого-то ожидает жестокая кара.

Такой суд состоялся и на нашем бронеосце под председательством командира судна, капитана 1-го ранга Юнга. В качестве обвиняемых были матросы из команды крейсера «Адмирал Нахимов»: комендор Столяров, матрос 1-й статьи Чернигин, матрос 2-й статьи Король и машинист 1-й статьи Ершов. Они должны были расплатиться за бунт, описанный мною раньше. Двоих из них — Столярова и Чернигина — приговорили к четырем годам каторжных работ, а Короля — к трем годам в дисциплинарный баталион.

Чтобы судить о том, насколько глубоко пошло разложение личного состава, достаточно будет познакомиться с приказами самого Рожественского. Он всегда писал их собственноручно, писал в большом волнении, ломая перья и прорывая бумагу. За последнюю неделю, начиная с 22 января, многие получили от него, как выражаются офицеры, «фитиль».

На госпитальном судне «Орел» плавала в качестве сестры милосердия племянница адмирала. Поэтому он иногда посещал этот корабль. Побывал он на нем и 24 января, в день похорон кочегара Богомолова. К борту пристал миноносец «Бравый», чтобы взять покойника и отвезти его в море.

Вот что потом писал в приказе Рожественский:

«В то время, как на всех судах эскадры и на всех транспортах офицеры и команды стояли во фронте, на госпитальном «Орле» даже и в моем присутствии слонялись скопища разношерстного люда. Место на палубе, откуда спускали на миноносец тело покойного, было залито грязью, тут же, при пении «святой боже, святой крепкий» тащили ведро с помоями, чуть не сбили ризу священника...

С сожалением должен упомянуть, что даже сестры милосердия при печальной церемонии не проявили достаточной чуткости. При отпевании присутствовали только две сестры: многие же, свободные от службы, бродили по палубе, а при выносе и опускании тела на миноносец любопытствовали, сидя в разных местах на планшире и перевешиваясь за борт

через леера, вперемежку с грязно одетой женской прислугой...»

В заключение адмирал предлагает главному доктору подтянуть сестер милосердия при содействии настоятельницы, «установить, чтобы на всех церемониях палубных и церковных свободные от службы сестры не укрывались по каютам и не гуляли по кораблю, а находились на определенном месте на палубе или в церкви и притом не толпою, а в рядах и непременно одинаково по форме одетыми».

Приказ № 54:

«Крейсера 2-го ранга «Кубань» мичмана Хижинского и прапорщика по морской части Декапрелевича за шатание по кабакам и буйство арестовать в каюте с приставлением часового; первого на три дня, второго на неделю».

Приказ № 61:

«Крейсера 2-го ранга «Урал» прапорщик по механической части Заинчковский, спущенный 23 сего января на берег в офицерской форме, напился пьяным до скотского состояния и в бесчинстве с столь же пьяными матросами с госпитального судна «Орел» был избит по морде в кровь.

Предоставляя о лишении прапорщика Заинчковского офицерского чина, предписываю немедленно исключить его из кают-компаний, отставить от исполнения офицерских обязанностей, объявить ему мое распоряжение о лишении его дисциплинарных прав, предоставленных прапорщикам, и не увольнять на берег до прибытия в русский порт».

Приказ № 62:

«Эскадренного броненосца «Сисой Великий» прапорщик по механической части Тостогонов, спущенный 23 января на берег в офицерском платье, был неприлично пьян и произносил ругательные слова по адресу офицера, рекомендовавшего ему вернуться на корабль, чтобы видом и поведением своим не позорить достоинства офицерского звания.

Предписываю прапорщика Тостогонова немедленно исключить из офицерской кают-компаний и не увольнять на берег до прибытия в русский порт».

Некоторых виновников адмирал начал приговаривать к церковному покаянию,

вызывая этим только остроты наших офицеров:

— Присвоил себе роль митрополита. Каково, а?

— Надеть бы ему водолазный колпак вместо митры, и стал бы совсем богослужителем.

— Он ведь вышел из духовной среды, адмирал наш. Поэтому у него и все замашки поповские. Я уверен, что под светским мундиром он носит подрясник.

Рожественский не бывал на кораблях, не беседовал с командами и офицерами, не допрашивал команду о ее претензиях. Все это было для него лишним. Единственная связь была у него с остальными людьми — это его приказы Строгий по службе, крутой характером, он хотел страхом повлиять на других и «рыбать слабинну» дисциплины, которая распозалась, как материя из гнилых ниток. Но он не знал простой истины — эта война, затеянная из-за наживы правительственных тузов, война, даже с империалистической точки зрения самая безыдейная из всех предыдущих войн и сопровождаемая одними лишь неудачами, рождала в душе отчаяние, а отчаяние толкало людей на безумные выходки.

Деморализация личного состава углублялась.

Европейские женщины, предпочитая офицеров, лишь в исключительных случаях заводили знакомство с командой. На долю матросов оставались туземки. По-разному относились к этому их черноскожие мужья, их братья или отцы. Те, что переживали семейную драму, приезжали жаловаться начальству на безобразия команды, но их не понимали и не выслушивали. Что им еще оставалось делать при виде в бухте страшной эскадры? Только исторгать на нее свои проклятия. Некоторые туземцы радовались, когда к ним приходили белые гости, даже сами старались завлечь их к себе и смотрели на это просто, как на коммерческую сделку. У них, доведенных французским империализмом до страшной нищеты, была лишь одна забота — побольше получить денег с белого гостя. Пока какой-нибудь матрос оставался в хижине с мимолетной своей подружкой, чернокожий сакалав, иногда муж ее, терпеливо стоял на-страже у двери и жевал от скуки бетель. И если мальчики и девочки,

его же дети и дети той, что скрывалась в хижине с чужим мужчиной, лезли, беспokoясь за мать, к двери, то он свирепо отгонял их прочь. Нельзя было нарушать брачного покоя белого гостя, он рассердится и не будет щедрым на деньги.

Офицеры, сталкиваясь с женщинами легкого поведения, проявляли себя в другом виде. Однажды матросы с нашего «Орла», гуляя в лесу недалеко от города, услышали пьяные голоса и пошли на них, осторожно пробираясь сквозь чащу. Вскоре им представилась незабываемая картина. Матросы, которых, казалось, ничем нельзя было удивить, на этот раз остолбенели. Перед ними открылась поляна, а на ней, блестя под солнцем белизной кожи, лежала женщина с обнаженным животом. Около нее были три пьяных молодых офицера. Двое из них, в статском платье, играли на ее животе в карты, а третий, с мичманскими погонами на плечах, отойдя сажени на две, приспособлял фотографический аппарат, чтобы снять их. Женщина была вероятно мертвецки пьяна, потому что тут же валялись порожние бутылки от вина и стояла плетеная корзина с какими-то припасами.

— Коля! — обратился к фотографу один из играющих, очевидно любитель пикантных снимков. — Ты зайди немного вправо, чтобы на карточке детали получились...

— Смирррно! — пошатываясь, крикнул офицер с аппаратом. — Я лучше знаю, как нужно снять. Один пусть смотрит на своего партнера, а другой — на живот, на разложенные на нем карты. Сделайте озабоченные лица.

— Коля, друг любезный, ты нас замучил, — заплетающимся языком взмолил другой играющий. — Мы уже раз пять снимались и все по-разному. Кончай скорее. Нужно опять заняться более серьезным делом...

В числе орловских матросов был гальванер Голубев. Выглядывая из-за деревьев и кустарника, он напряженно сопел носом, а потом вдруг крикнул искусственно-хрипящим басом, крикнул поначальнически громко, словно адмирал: — Поздравляю вас, господа офицеры, с величайшей победой над врагом!

Офицеры сразу всполошились. Те двое, что играли в карты на голом животе

женщины, вскочили и растерянно закрутили головами. Третий уронил свой фотографический аппарат и вытянулся. Женщина, продолжая лежать на месте, даже не пошевелилась.

В кустарнике раздался хохот.

— Матросы! — взвыл один из мичманов, заметивший очевидно в кустарнике синий воротник форменки.

Все трое выхватили из карманов револьверы и с матерной бранью начали стрелять в ту сторону леса, откуда слышались голоса матросов.

Орловцы убежали.

Слушая их рассказы, я думал о том, что будет, если мы еще простои́м здесь месяца два-три. Маленький городок Хелльвиль превратился в сплошной вертеп. А нас всех, уже разгромленных в своей психике, еще сильнее начнет раз'едать гангрена разложения.

Х

Февраль был на исходе. Дожди становились все реже. Но в одну из ночей мы испытали особенный ливень с тропической грозой. Днем раскаленное небо, жадничая, слишком отяжелело от выпитой влаги и теперь озлобленно возвращало ее морю. С гористых вершин и крутых берегов Мадагаскара срывались шквалы, шумливо падали в бухту и, взрывая поверхность ее, с испуганным воем носились вокруг эскадры. Дождевые струи, как сыромятными ремнями, секли корабли, а все пространство наполнилось сверканьем и грохотом. Разряды атмосферного электричества с громовыми ударами были так часты, что не давали опомниться, и получалось впечатление, что над головою происходят нагромождения каменных утесов и железа. Огненные вспышки непрерывно пронизывали тьму, разбегаюсь по тучам змеевидными лентами, падая разветвляющейся спиралью, на мгновение разбрасываясь гирляндами. Иногда черное небо раскалялось на множество золотых ветвистых трещин, спускавшихся до самого горизонта. Гроза опьянела и совершала свой шабаш. И в этой световой и грохочущей кутерьме сквозь муть дождя и шквала, неясно вырисовывались силуэты кораблей, утрюмые и неподвижные.

Я в досталь вымылся дождевою водой, а потом спустился вниз и переделался в сухое платье — рабочие парусиновые брюки и нательную сетку. Команда, свободная от дежурства, давно спала. Меня предупредили товарищи, что сегодня в честь масленицы предстоит торжество и за мною, когда это нужно будет, придут в канцелярию. Я долго сидел за столом над раскрытой книгой, плененный могучим талантом Байрона. Вместе с его героем Дон-Жуаном я переносился из одной страны в другую, покорял красавиц и вместе с ним бросал вызов общественному лицемерию и ханжеству. Трюмный старшина Осип Федоров, войдя в канцелярию, перебил мое чтение:

— Скоро все будет готово. Идем.

Мы спустились сначала в машинное отделение, а потом забрался за двойной борт. В ярком электрическом свете я увидел несколько человек, рассеявшихся вокруг опрокинутых ящиков. Все были приятели: машинный квартирмейстер Громов, минер Вася Дрозд, кочегар Бакланов, гальванер Голубев и несколько трюмных машинистов. На ящиках, накрытых чистой ветошью, стояли эмалированные кружки и большой медный чайник. Переборки были убраны тропической зеленью. В стороне стояло ведро, наполненное фруктами — бананами, апельсинами, ананасами.

— Это наша кают-компания, — объявили мне. — Садись. Гостем будешь.

Через несколько минут принесли большой самодельный противень с жареной свининой, порезанной на мелкие куски. Растопленное сало, потрескивая, шипело. Кочегар Бакланов промолвил:

— Как женское сердце, — без огня кипит.

— Откуда это у вас? — с удивлением спросил я, втягивая носом приятный запах жареного мяса.

На лицах людей появились загадочные улыбки.

— На берегу сколько угодно можно купить.

— А где жарили?

— В кочегарке слона можно зажарить. Сейчас работают там духи лучше, чем коки в камбузе. И блины пекут, и варят, и жарят. Красота!

— А начальство не захватит?

— У нас везде караульные расставле-

ны, как на войне. Мало того, можем в случае надобности выключить электрическое освещение. Тут, брат, все сделано на три господ-бога.

Я еще больше был удивлен, когда из чайника начали разливать по кружкам ром. Я попробовал его — в восемьдесят градусов. Между тем казенный ром, которым ведал я, разводился пополам с водой и соответствовал своей крепостью русской водке.

— Наш напиток лучше твоего.

Трюмный старшина Федоров, обращаясь к молодому парню, спросил:

— Младшим боцманам порцию отослали?

— Все сделано. И бутылку рому им отнес. Очень благодарны они.

Когда кружки были разобраны по рукам, кочегар Бакланов, широко улыбаясь, поздравил всех с масленицей и скормандовал:

— Весла — на воду!

Выпивали и закусывали, друг от друга заражаясь аппетитом. Ели до тех пор, пока противень не опустел. В чайнике тоже ничего не осталось. Потом принялись за фрукты. Было жарко, словно мы находились в паровом котле. Публика, опьянев, становилась все шумливее. Гальванер Голубев поднялся и, приняв позу обличителя, заговорил:

— Ведь там, в России, люди орудуют. Рабочие в Петербурге на баррикадах сражались. А в Москве от его императорского высочества, от царева дядюшки, Сергея Александровича, остались рожки да ножки. Бомбой его трахнули. Как видно по всему, закачалось самодержавие...

На это ему ответили:

— Пусть качается. Не плакать же нам? Мы поплачем, когда не у дядюшки, а у самого племянника слетит корона вместе с его башкой.

— Но должны же мы что-нибудь делать? — не унимался Голубев.

— Придет и наше время.

Осип Федоров вскинул усатое и остроглазое лицо и на правах трюмного хозяина заявил:

— Об этом, товарищи, мы поговорим в другой раз. А теперь — ни слова о таких делах. Иначе всех выкину из своих владений. Мы собрались сюда, чтобы не сдохнуть с тоски проклятой.

Кочегар Бакланов, у которого крупный, как колено, подбородок лоснился от сала, одобрил его:

— Хотя и не адмирал, а сказал разумно.

И тут же обратился к своему другу с вопросом:

— Скажи, Дрозд, что ты будешь делать, если во время сражения очутишься за бортом?

— Тебя об этом не буду спрашивать, — обиделся минер Вася Дрозд.

— А все-таки прими от меня дружеский совет. Коли в море попадешь, то скорее хватайся за воду — не утонешь.

Я вышел на верхнюю палубу. Небо очистилось от облаков и расцвело яркими звездами южного полушария. После сгихийной встряски, казалось, вся природа замерла в сонной тишине.

По палубе, вихляясь, бродили пьяные матросы. Откуда в машинной команде появился ром? Об этом я узнал недели через две от Осипа Федорова. Оказалось все очень просто. Накануне я принял с парохода вместе с другими припасами и несколько сорокаведерных бочек рома. Его обыкновенно сливают с верхней палубы, вернее с юта, в железную трубку, приспособив для этого воронку. Такая трубка спускается вниз, проходит через несколько этажей до провизионного помещения, так называемого ахтерлюка, и попадает в специальные для водки цистерны. Так и я поступил. При этом, помимо часовых, внизу стоял старший баталер Пятовский, а наверху я. Но мы упустили из виду одно обстоятельство, что трюмные машинисты, или как их иначе называют трюмные крысы, знают все захолюстья на корабле, знают и то, где проходит такая трубка. Им ничего не стоило просверлить в ней на изгибе дырочку и воткнуть в нее тонкий резиновый шланг. Таким образом они нацелили рому два анкерка — приблизительно десять ведер неразведенного напитка, крепостью в семьдесят градусов.

— Вы могли бы меня подвести, — упрекнул я Федорова.

— Это как же так подвести? Не ты старший баталер. А затем — на войну ведь идем. Все равно добро пропадает. В кают-компани больше гуляют, а мы будем только смотреть на них. А жизнь

наша какая? Взбеситься можно от нее

Я махнул на все рукой.

В ту памятную ночь некоторые пьяные, очутившись на верхней палубе, вель себя тихо, другие бормотали несуразности. Один из трюмных машинистов, призванный на службу из запаса, пожилой сутулый человек, столкнулся с вахтенным офицером. Мичман Воробейчик спросил:

— Набодался?

— Никак нет, ваше благородие. Был я не берегу и, окромя молока, ничего не пил. А молоко-то оказалось от бешеной коровы. Вот теперь меня и мутит донельзя. Качает в стороны и шабаш.

— Хотел я тебя арестовать на одни сутки, но за то, что ты врешь, наказание тебе удвою.

Трюмный машинист притворно замолчал:

— Помилосердствуйте, ваше благородие. Я даже во сне вас видел. Сам Саваоф взял вас в свои руки божины, посадил к себе на колени, прикрыл серебряной бородой и ласкает, как малютку. «До чего же, говорит, ты милостивый начальник. Ни одного матроса не обидел. И за это ты будешь у меня в раю до тех пор...»

Мичман вскипел:

— Молчать!

Машинист тоже повысил голос:

— А почему, ваше благородие, молчать? Я, можно сказать, за свою службу выхлебал целый барказ казенного супа. И не моги, значит, разговаривать. А вы сколько съели?

— Я с тобой завтра разделаюсь! — крикнул мичман Воробейчик и полез на передний мостик.

Вслед ему прозвучал пьяный голос

— Двенадцать пар очков завел и задается! Эх, корабельная кокетка!

Утром машинист вместо карцера был поставлен на бак под винтовку.

Матрос-скотник доложил капитану 2-го ранга Сидорову, что с корабля исчезла офицерская свинья. Сейчас же были вызваны на верхнюю палубу оба младших боцмана — Павликов и Воеводин. Они стояли перед старшим офицером, вытянувшись и беззастенчиво пожирая его глазами, а тот допрашивал:

— Как вы думаете, куда она могла пропасть?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — ответил Павликов, плохо соображая от выпитого ночью рома.

— Ну, а ты что, Воеводин, скажешь?

Воеводин, меньше страдая с похмелья, моментально что-то смекнул и ответил таким серьезным тоном, какой не вызывает никаких сомнений:

— Не иначе, как за борт прыгнула, ваше высокоблагородие.

— До сих пор она не прыгала, а теперь прыгнула. И что ей за бортом делать?

Воеводин и на это ответил:

— Должно быть, спросонья, ваше высокоблагородие. Иногда случается, что и матрос так сваливается в море. Вы сами знаете, как это бывает. А может быть, захотела удрать с корабля, пока ее не сели. Свинья — это самое хитрое животное.

Старший офицер даже взглянул за борт и смерил глазами расстояние от корабля до берега.

— Это правильно, ваше высокоблагородие, — спохватившись, подтвердил и Павликов. — Я их сотни имел у себя на родине, свиной-то. Ну, до чего пакостная тварь — просто беда. Какую угодно крепкую городьбу шлюшкой своей разворачивает. Любая река ей нипочем — переплывет.

Когда старший офицер мирно отпустил своих боцманов, Воеводин, отойдя со мною на шканцы, тут же пожаловался мне:

— Ну, скажу я тебе, и бражка же наши трюмные крысы. Прислали нам в каюту фунта три жареной свинины и бутылку рома. Посыльный объяснил, что все с берега достали. А мы, дураки, поверили этому. Оказывается, тут вон какое дело. Да ведь свищья-то какая! В ней было не меньше шести пудов чистого мяса. Меня одно удивляет, как они спустили ее в кочегарку и как зарезали? Ведь она должна бы орать на всю эскадру, а у них не пикнула. Палили ее вероятно паяльной лампой. Чистая работа — нечего сказать.

Боцман вздохнул и добавил сокрушенно:

— Тяжело теперь и нашему брату служить. Если потворствовать команде, того и гляди, сам под суд пойдешь. А стань подтягивать дисциплину — матро-

сы тебя убьют. Разве их чем-нибудь теперь напугаешь, когда и без того все знают: смертники они, на гибель идут.

В этот же день я узнал, что свинья была съедена в одну ночь, а утром на приеме у врача выстроилась длинная очередь людей с расстроенными желудками.

Наша стоянка в Носси-Бэ приближалась к концу. По эскадре был отдан приказ спешно готовиться в поход. Куда мы должны направиться, об этом знали только в штабе командующего. Началась горячка: суда день и ночь допринимали уголь, воду, провизию и другие припасы. Заканчивались последние расчеты с берегом.

На эскадре было двенадцать тысяч человек. Благодаря длительному пребыванию здесь они не могли не оказать своего влияния на туземцев: развратили их женщин, научили население, до детей включительно, ругаться по-русски матерно. К нам на броненосец каждый день приезжали сакалавы, торговавшие фруктами, мылом, открытками и другой мелочью. Один из них побил своих конкурентов тем, что проявил выдающиеся способности по части русской ругани, и у него покупали товары больше, чем у других. Матросы прозвали его по-своему — Гришкой. Почти голый, только с повязкой вокруг бедер, с великолепно развитым торсом, стройный и мускулистый, он напоминал гладиатора, высеченного художником из темнокоричневого мрамора. Направляясь на своей пироге к нашему кораблю, он еще издали начинал выкрикивать на ломаном русском языке скверные слова. Звучный голос его раздавался на всю эскадру.

Матросы смеялись:

— Ребята, Гришка наш плывет!

— Вот чепушит!

— В боцмана бы его произвести.

Появление его на борту было самым веселым развлечением для команды.

В бухту Носси-Бэ 2 марта прибыл пароход «Регина», доставивший для эскадры сухари, масло, чай, солонину, машаные и шкиперские принадлежности. Все это было послано нашим кормильцем, поставщиком флота Гинсбургом. Без него мы пропали бы с голоду. В виду того, что завтра мы должны сняться с якоря,

было приказано разгрузить пароход в двадцать четыре часа.

А за четыре дня до этого к нам присоединился транспорт «Иртыш» с углем.

Мы весь свой броненосец забили углем и другими припасами,

Инженер Васильев, разговаривая с офицерами, возмущался:

— Я не понимаю распоряжений адмирала. Что он сделал с кораблями? Вы только подумайте: водоизмещение «Орла» дошло до 17.000 тонн. Устойчивость его настолько уменьшилась, что перешла уже за все допустимые пределы. Запас пловучести остался совсем ничтожный. При таких условиях мы не можем достигнуть скорости и четырнадцати узлов. Не только в бурю, но даже при крутом повороте есть риск перевернуться вверх киленом.

Офицеры на это только отмахивались рукой:

— Все равно, лишь бы скорее какой-нибудь конец.

3 марта около часа дня корабли начали сниматься с якоря, чтобы уже никогда больше сюда не вернуться.

С каким чувством покидали мы Мадагаскар, у берегов которого провели два с половиной месяца?

Порт-Артур пал. Погибла 1-я эскадра, не причинив врагу никакого вреда. 2-ая эскадра, как разоблачил Кладо, почти в два раза слабее японского флота. Выяснилось теперь, что стрелять мы не умеем. В Петербурге царская власть расстреливает рабочих. В довершение всего за последние дни мы начали получать через телеграфное агентство Рейтера безотрадные известия с сухопутного фронта.

Сегодня в иностранных газетах были напечатаны реляции о боях под Мукденом. Там, в далекой Манчжурии, произошло генеральное сражение, сражение, длившееся несколько дней. Наши не выдержали и в беспорядке отступили к северу, покинув Мукден. Опубликованы ошеломляющие цифры наших

потерь: 30.000 убитых, 90.000 раненых, 40.000 сдавшихся в плен. Кроме того, японцам досталось огромное военное снаряжение: сотни орудий, сотни тысяч винтовок, десятки миллионов пачек патронов и богатейшая добыча в виде лошадей, фуража, повозок, хлеба, паровозов, вагонов, обмундирования, топлива. Главнокомандующий войсками генерал Куропаткин отозван, а вместо него назначен генерал Линевич. Может быть, приведенные цифры были не совсем точны, но не подлежало никакому сомнению, что наши сухопутные войска разгромлены. Повидимому, поражение было настолько сильное, что едва ли они оправятся. У них осталась единственная надежда — это наша эскадра. Но знают ли они, сухопутные войска, что над русским флотом висит то же самое проклятие бюрократического и самодержавного строя, какое погубило нашу армию? Сердце леденело при мысли, что они обманываются напрасной верой в нашу морскую силу, в нашу помощь. Если нас не вернут обратно в Россию, мы пойдем вперед, но только для того, чтобы своей гибелью завершить страшную эпопею, развернувшуюся на Дальнем Востоке.

В продолжение двух часов наша эскадра, состоявшая из сорока пяти кораблей, выстраивалась в походный порядок. Жарко светило солнце. Нас некоторое время провожали две белых французских миноноски, держа на мачтах флаги с пожеланием: «Счастливого пути». На «Суворове» в честь Франции духовой оркестр играл «Марсельезу». Вышли на своих пирогах туземцы полюбоваться последний раз эскадрой. За «Орлом», пока мы не увеличили скорость хода, гнался сакалав Гришка и, коверкая русские слова, посылал нам матерные приветствия.

Я посмотрел на измученные лица команды и офицеров. Как мы постарели за время похода. Смертная тревога отражалась в каждой паре глаз.

Впереди под знойным небом, лежал океан, величественный и сверкающий, — наш роскошный путь к братскому кладбищу.

Три стихотворения

БОРИС ПАСТЕРНАК

I

Упрек не успел потускнеть,
С рассвета опять потрясенье —
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Стояли, от слез охмелев,
И, астр тяжела переливы,
Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.

Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов и шаги,
И приторный привкус эфира.

Твой обморок мира не внес
В качанье венков в одноколке,
И пар обмороженных слез
Пронзил нашатырной иглой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскою плыл панихидой.

Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.

Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.

Покоилась люстр тишина.
И в зареве их бездыханном

Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.

Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

Томившийся в ней поделом,
Но пущенный из заточенья,
Он песнею несся в пролом
На нашем с тобой обрученьи.

Как сборы на общий венок,
Плетни у заставы чернели.
Короткий морозный денек
Вечерней звенел ритуальню.

Магнето прошло темной.
Нас кто-то догнал на моторе.
Дорога со всей прямою
Направилась на крематорий.

Оттуда дул ветер, и снег,
Как на рубежах у Варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.

Озябнувшие москвичи
Шли полем, и вьюжная нежить
Уже выносила ключи
К затворам последних убежищ.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене —
Семья и талант. Он него
Остались броски сочинений.

Ты дома подымеешь пюпитр
И только коснешься до клавиш.
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет и январь, и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдет незаметно.

А то, удивившись на миг,
Спохватишься ты на концерте —
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

II

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней прорвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.
Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.

Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг.
Но их одолевает ложь
До нас похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.
Наследье страшное мещан, —
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

Есть дом, где хлеб, как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.
Пусть вьюга с улиц улюлю,
Вы — радугой по хрусталу.
Вы — светлой вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит я люблю.

О, как она была смела,
Когда, едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала
Без прекословий и помех,
Свой детский мир и детский смех, —
Обид не знавшее дитя, —
Свои заботы и дела.

О, ссадины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.

III

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в
лицо.

Мы в будущем, твержу я им, как все,
кто

Незванная, она внесла, во-первых,
Во все, что случилось, вкус больших
начал.

Жил в эти дни. А если из калек,
То и тогда: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Я их не выбирал, и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год.
Две женщины, как отблеск ламп Свет-
лана,
Горят и светят средь его тягот.

Тогда не убивайтесь, не тужите.
Всей слабостью клянусь остаться в вас,
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

Поднятая целина

Роман

М. ШОЛОХОВ

Продолжение¹⁾

ГЛАВА XI

Кондрат долго долбил пешней смерзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У него из-под черной папахи, нависшей как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеряя рот, он с силой, с яростью опускал пешню, комки и крохи мерзлой земли летели вверх и врозь, дробно постукивая о стены. Ясли наскоро сколотили, загнали в сарай оцененных комиссией двадцать восемь пар быков. Нагульников в одной защитной рубаше, прилипшей к потным лопаткам, вошел в сарай.

— Помахал топориком, и уж рубашу хучь выжми? Плохой из тебя работник, Макар!—покачал головой Любишкин.— Гляди, как я! Гах! Гах!.. Пешня у Титка добрая.. Гах!.. Да ты полушубок скорей одевай, а то простынешь, и попыта на сторону!

Нагульников накинул полушубок. Со щек его медленно сходил кровяно-красный, плитами румянец.

— Это от газов. Как поработаю или на гору подыматься — зараз же зодвохнусь, сердце застукатит... последний стоян? Ну, и хорошо! Гляди, какое у нас хозяйство! — Нагульников обвел горячечно блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся над новыми, пахнущими свежей щепой яслями.

Пока на открытом базу размещали коров, пришел Размётнов с Демкой

Ушаковым. Он отозвал Нагульнова в сторону, схватил его руку.

— Макар, друг, за вчерашнее не сердчай... Наслухался я детского крику, своего парнишку вспомнул, ну и защемило...

— Защемишь бы тебя, чорта, желанника!

— Ну, конечно! Я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло.

— Будет тебе, балабон! Куда направляешься? Сено надо свозить. Давыдов где?

— Он с Менком заявления в колхоз разбирают в совете. А я иду... У меня же один кулацкий двор остался целый, Семена Лапшинова...

— Придешь, опять будешь?.. — Нагульников улыбнулся.

— Отставь! Кого бы мне из людей взять? Такое делается, спуталось все, как в бою! Скотину тянут, сено везут. Кое-кто уж семена привез. Я их отправил обратно. Уж потом за семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять?

— Вон Кондрата Майданникова. Кондрат! А ну, иди сюда. Ступай-ка вот с председателем раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят, есть такие совестливые, вот как Тимофей Борщев... Лизать ему не совестно, а награбленное забрать — совесть зазревает...

— Нет, чего же не поить? Я пойду. Охотой.

Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу Размётнов, поглядывая на Кондрата, спросил:

¹⁾ См. «Новый мир», кн. I с. г.

— Ты чего насупонился? Радоваться надо, гляди, как хутор оживел, будто муравьиное гнездо тронулось.

— Радоваться нечего спешить. Трудно будет,—сухо отозвался Кондрат.

— Чем?

— И с посевом, и с присмотром за скотиной. Видал вон: трое работают, а десять под плетнем на прищипках сидят, цыгарки крутят...

— Все будут работать! Это попервоначалу. Кусать нечего будет — небось меньше будет курить.

На повороте поставленные на ребро торчали сани. Сбочь лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряженные быки жевали яркозеленый на снегу пырей. Молодой парень — сын вступившего в колхоз Семена Куженкова — лениво подгробал сено вилами-тройчатками.

— Ну, чего ты, как неживой ходишь? Я в твой года как на винтах был! Разве так работают? А ну, дай сюда вилы! — Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крикнув, попер навесу целую копну.

— Как же это ты перевернулся? — рассматривая сани, спросил Кондрат.

— Под раскат вдарило, не знаешь как?

— Ну, мотай за топором, возьми вот у Донецковых.

Сани подняли, затесали и вставили копыльями. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями.

— Куженков ты, Куженков! драть бы тебя мазаной шелужиной да кричать не светель. Ты глянь, сколько быки сена натолочили! А ты бы взял беремячко, панул им к плетню и пушай бы ели. Кто же в вольную пушает?

Парень засмеялся, тронул быков.

— Оно теперича не наше, колхозное.

— Видали такого сукиного сына? — Демка раз'ехавшимися в стороны глазами оглядел Кондрата и Размётнова и нехорошо выругался.

Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому клинобородому седачу, предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся

в курене, слышались шопот, тихий разговор:

— А то чего же! Наживал, наживал, а зараз иди на курган.

— Скушноватая песня...

— То-то ему небось жалко! А?

— Всякому своя боль больная.

— Небось не нравится так-то, а как сам при старом прижмем забирали за долги у Трифонова имущество, об этом не думал.

— Как аукнется...

— Так ему, дьяволу, козлу бородатому, и надо! Сыпанули жару на подхвостницу!

— Грех, бабочки, чужой беде ликовать. Она, может, своя — вот она.

— Как то ни чорт! У нас именья — одни каменья. Не подживешься дюже!

— Летось за то, что косилку на два дня дал, слупил с меня как с любушки десять целковых. И это — совесть?

Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата. Знали, что еще до войны у него было не малое состояние, так как старик не брезговал и в долг ссужать под лихой процент, и ворованное потихоньку скупать. Одно время упорные были слухи, что на базу его передерживались краденые кони. К нему временами, все больше по ночам, наведывались цыгане, — лошадиники-купцы. Будто бы через жилистые руки Лапшинова шли кони воровским широким трактом на Царицын, Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в станицу бумажные екатериновки на золотые имперялы. В 1912 г. его даже пытались «подержать за кисет», однако Лапшинов — старик матерый и сильный — отбил от напавших грабителей одной чакушкой и ускакал. Но он и сам охулки на руку не клал: прихватывали его в степи с чужими копнами — это смолоду, а под старость стал он вовсе на чужое прост: брал все, что плохо лежало. Скуп же был до того, что, бывало, поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мирликийского, чуть погорит — Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку, бывало, год становит, а тем, кто упрекал его за такую излишнюю ра-

чительность и нерадение к богу, отвечал: «Бог умнее вас, дураков! Ему не свечка нужна, а честь. Богу незачем меня в убыток вводить. Он даже бечевой сек торгующих в церкви».

Лапшинов спокойно встретил весть о раскулачивании. Ему нечего было бояться. Все ценное было заранее припрятано и сдано в надежные руки. Он сам помогал производить опись имущества, на свою причитавшую старуху грозно притаптывал ногой, а через минуту со смирением говорил:

— Не кричи, мать, наши страданья зачтутся господом. Он, милостивец, все зрит...

— А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? — серьезно, в тон хозяину, спрашивал Демка.

— Какой тулуп?

— А в каком ты в прошлое воскресенье в церкву ходил.

— Не было у меня нового тулупа.

— Был и зараз где-то спасается!

— Что ты, Дементий, перед богом говорю — не было!

— Бог покарает, дед! Он тебя гвозданет!

— И вот тебе христос, напрасно ты это... — крестился Лапшинов.

— Грех на душу берешь! — Демка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки.

— Не виновный я перед ним, истинное слово!

— Прихоронил тулуп-то! Ответишь на страшном суде!

— Это за свой тулуп-то! — вскипел, не выдержав, Лапшинов.

— За ухороны ответишь!

— Бог, он, должно, такого ума, как ты, пустозвон! Он в эти дела и мешаться не будет!.. Нету тулупа!.. Совестно тебе над стариком надсмеяться. Перед богом и людьми совестно!

— А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал, три меры взять? — спросил Кондрат. Голос его был тих и хриповат, в общем шуме почти не слышен, но Лапшинов повернулся на него с юношеской живостью.

— Кондрат! Почтенный твой родитель был, а ты... Ты хоть из памяти об нем не грешил бы! В святом писании сказано: «Падающего не пихай», а ты

как поступаешь? Когда я с тебя три меры за две взял? А бог? Ить он все видит!..

— Он хотел бы, чтоб ему, идолу голоштанному, даром просцо отдали! — истошно закричала Лапшиниха.

— Не шуми, мать! Господь терпел и нам велел. Он, страдалец, терновый венок надел и плакал кровяными слезами... — Лапшинов вытер мутную слезинку рукавом. Гомонившие бабы притихли, завздохали. Размётнов кончил писать, сурово сказал:

— Ну, дед Лапшинов, выметайся отсюдова. Слеза твоя не дюже жалостная. Много ты людей наобижал, а теперь мы сами тебе прикорот даем, без бога. Выходите!

Лапшинов взял за руку своего косноязычного, придурковатого сына, надел ему на голову треух, вышел из дома. Толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно постлав на снегу полу полшубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны.

— Ступай! Ступай! — приказывал Размётнов. Но толпа глухо загудела, раздалась выкрики.

— Дайте хучь с родным подворьем проститься!

— Ты не дури, Андрей! Человек одной ногой в могиле, а ты...

— Ему бы по его жизни обеими надо туда залезть! — крикнул Кондрат. Его прервал старик Гладилин — церковный ктитор:

— Выдабриваешься перед властью? Бить вас, таковских, надо!

— Я тебя, сиводуший, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь!

Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слышали все, трогал доходчивые к жалости бабьи сердца:

— Прощайте, православные! Прощайте, родимые! Дай бог вам на здоровье... пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился...

— Ворованное покупал! — подсказывал с крыльца Демка.

— ... в поте лица добывал хлеб насущный...

— Людей разорял, процент сыпал, сам воровал, кайся! Взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, да об землю!

— ... Насущный, говорю, а теперь на старости лет...

Бабы захлупали носами, потянули к глазам концы платков. Разметнов только-что хотел поднять Лапшинова и вытолкать со двора, он уж крикнул было: «Ты не агитируй, а то...», как, на крыльце, где стоял, прислонясь к перилам, Демка, внезапно возникли шум, возня...

Лапшиниха выскочила из кухни, неся в одной руке кошолку с насиженными гусиными яйцами, в другой—притихшую, ослепленную снегом и солнцем гусыню. Демка легко взял у нее кошолку, но в гусыню Лапшиниха вцепилась обеими руками.

— Не трожь, по-га-нец! Не трожь!

— Колхозная теперича гусыня!.. — заорал Демка, ухватясь за вытянутую гусиную шею.

Лапшиниха держала гусиные ноги. Они тянули всяк к себе, яростно возя друг друга по крыльцу.

— Отдай, косой!

— Я те отдам!

— Пусти, говорю!

— Колхозная гуска!.. — задыхаясь, выкрикивал Демка. — Она нам на весну... гусят!.. Отойди, старая, а то ногой в хряшки... гуся... выведет!.. Вы свое отели...

Разлохматившаяся Лапшиниха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревевшая дурным голосом, замолкла, видно, Демка перехватил ей дыхание, но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белый пух и перья снежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось: еще один миг, и Демка одолест, вырвет полуживую гусыню из костлявых рук Лапшинихи, но вот в этот-то момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порожки. А Демка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках упал на кошолку, стоявшую сзади него, дав гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота обил ледяные сосульки с крыши. Лапшинов встал с колен, натянул шапку, яростно дернул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына,

почти рысью потащил его со двора. Лапшиниха встала, черная от злости и боли. Обметая юбку, она потянулась было к обезглавленной, бившейся возле крыльца гусыне, но желтый борзой кобель, крутившийся возле крыльца, увидев цевкой бившую из гусиной шеи кровь, вдруг прыгнул, вздыбив на спине шерсть, и из-под носа Лапшинихи выхватил гусыню, поволок ее по двору под свист и улюлюканье ребят.

Демка, кинув вослед Лапшинихе гусиную голову, все еще смотрящую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый, взрывами, смех, тревожа и вспугивая с сухого хвороста воробьев.

ГЛАВА XII

Жизнь в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием. Казаки днем собирались на проулках и в куренях, спорили, телковали о колхозах, высказывали предположения. Собрания созывались в течение четырех дней под ряд каждый вечер и продолжались до кочетинного побуднего крику.

Нагульнов за эти дни так похудел, будто долгий срок лежал в тяжелой хворости. Но Давыдов попрежнему хранил наружное спокойствие, лишь резче легли у него над губами, по обочинам щек, глубокие складки упорства. Он как-то сумел и в Разметнова, обычно легко воспламенявшегося и столь же легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверенность. Андрей ходил по хутору, осматривая скотиньи общие базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах, Аркашке Менку, возглавлявшему до выборов правления колхоза колхозную власть, часто говаривал:

— Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе.

Давыдов послал в райком коннонарочного с сообщением о том, что в колхоз вовлечено пока только 32 проц., но что работа по вовлечению в колхоз продолжается ударными темпами.

Кулаки, поселенные из своих куреней, поселились у родни и близких людей. Фрол Рваный, отправив Тимофея

прямо в округ к прокурору, жил у приятеля своего Борщева, того самого, который на собрании бедноты некогда отказался от голосования. У Борщева в тесной связи¹⁾ собирался кулацкий актив.

Обычно днем для того, чтобы оградить себя от подслушиваний и досмотра, сходились к Борщеву по одному, по два, пробираясь задами и гумнами, чтобы не привлечь внимания совета. Приходил Гаев Давыд и жжёный плут Лапшинов, ставший после раскулачивания «христра ради юридическим», изредка являлся Яков Лукич Островнов нащупывать почву. Прибывались к «штабу» и кое-кто из середняков, решительно восставших против колхоза, Николай Люшня и другие. Кроме Борщева, были даже двое из бедноты: один высокий, безбровый казак Атаманчуков Василий, всегда молчаливый, голый, как яйцо, начисто выстриженный и выбритый, другой — Хопров Никита, артиллерист гвардейской батареи, сослуживец Подтелкова, в гражданскую войну все время уклонявшийся от службы и попавший-таки в 1919 году на службу в карательный отряд калмыка полковника Аштымова. Это и определило дальнейшую жизнь Хопрова при советской власти. Три человека в хуторе: Яков Островнов с сыном и Лапшинов старик видели его при отступлении в 1920 году в Кушевке в аштымовском карательном отряде с долевой белой полоской подхорунжего на погоне, видели, как он с тремя казаками-калмыками гнал арестованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на допрос... Видели... А сколько жизни потерял Хопров после того, как вернулся из Новороссийска в Гремучий Лог и узнал, что Островновы и Лапшинов уцелели? Сколько страху пережил грудастый гвардейский батарец за лютые на расправу с конторой года? И он, на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее за копыто задней ноги, дрожал, как убитый заморозком поздний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся Лапшиновым. Его он боялся

больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевеля губами:

— Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдавай!

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал:

— Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу? А спаситель как научал: «Пожалей ближнего, как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь — кровь не текет. У меня так... Только и ты уж пособи, ежели что... На собрании там, может, кто против меня или от власти приступ будет... Ты оборони, на случай... Рука руку моет. А поднявший меч от меча да и гинет. Так ить? Ишо хотел я тебя просить, чтоб пособишь всплахать мне. Сына мне бог дал умом тронутого, он не пособник, человека нанимать — дорого...

Из года в год «подсоблял» Лапшинову Никита Хопров; задаром пахал, волочил, совал лапшиновской молотилке лапшиновскую пшеницу, стоя зубарем¹⁾. А потом приходил домой, садился за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое лицо, думал: «Докоих же пор так? Убью!»

Островнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился, знал, что если попросит когда, то и в большом, не только в бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку пивал Яков Лукич у него-таки частенько, неизменно благодарил: «Спасибо за угощение».

«Захленись ты ею!» — думал Хопров, с ненавистью сжимая под столом полупудовые гири-кулаки.

Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горенке, где раньше помещалась старуха Островниха. Она перешла на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет, лежа на куцой лежанке, упирая босые, жилистые ноги в горячий комель. Ночью он часто ходил по спящему дому (ни одна дверь не скрипнет, заботливо смазанная в петлях гусиным жиром). Иногда, накинув полушубок, затушив цыгарку, шел проведать коня, спрятанного в мякиннике. Застоявшийся конь встречал его дрожащим приглушенным ржанием, словно знал, что не время выражать свои чув-

¹⁾ Связь — хата из двух комнат, соединенных сенями.

¹⁾ Подавальщик.

ства полным голосом. Хозяин охаживал его руками, щупал суставы ног своими негнущимися железными пальцами. Как-то раз, в особо темную ночь, вывел его из мякинника и охлюпкой поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь был мокр, словно вымыт потом, часто носил боками, сотрясался тяжелой нечастой дрожью. Якову Лукичу Половцев утром сказал:

— Был в своей станице. Ищут меня там... Казаки готовы и ждут только приказа.

Это по его наущенью, когда вторично было созвано общее собрание гремяченцев по вопросу о колхозе, Яков Лукич выступил с призывом вступить в колхоз и несказанно обрадовал Давыдова своей разумной, положительной речью и тем, что после слов авторитетного в хуторе Якова Лукича, заявившего о своем вступлении в колхоз, было подано сразу тридцать одно заявление.

Ладно говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, обходя дворы, угущая на деньги Половцева надежных, настроенных против колхоза середняков, подвыпив и сам малость, говорил иное:

— Чудак ты, братец, мне дюжей, чем тебе, надо в колхоз вступать и говорить против нельзя. Я жил справно, могут обкулачить, а тебе какая нужда туда переться? Ярма не видал? В колхозе тебя, братец, так взнальгают, света не взвидишь!—и тихонько начинал рассказывать уже заученное наизусть о предстоящем восстании, об обобществлении жен и, если собеседник оказывался податливым, злобно готовым на все, уговаривал, упрашивал, грозил расправой, когда из-за границы придут «наши», и под конец добивался своего: уходил, заручившись согласием на вступление в «союз».

Все шло хорошо и ладно. Навербовал Яков Лукич около тридцати казаков, строжайше предупреждая, чтобы ни с кем не говорили о вступлении в «союз», о разговоре с ним. Но как-то отправился доканчивать дело в кулацкий штаб (на раскулаченных и группировавшихся около них была у него и у Половцева нерушимая надежда, потому-то вовлечение их как дело нетрудное и было оставлено напоследок), и тут-то впер-

вые вышла у него осечка... Яков Лукич, закутавшись в зипун, пришел к Борщеву перед вечером. В нежилой горнице топились подзетка. Все были в сборе. Хозяин — Тимофей Борщев, — стоя на коленях, совал в творило подзетки мелко наломанный хворост, на лавках, на сваленных в углу едовых тыквах, расписанных, словно георгиевские ленты, оранжевыми и черными полосами, сидели Фрол Рваный, Лапшинов, Таев, Николай Люшня, Атаманчуков Василий и батарец Хопров. Спиной к окну стоял только-что в этот день вернувшийся из округа Тимофей—Фрола Рваного. Он рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить обратно в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, но отец ободрил его.

— Это наш человек, Тимоша? Ты его не пужайся.

Тимофей закончил рассказ, поблескивая глазами, сказал:

— Жизнь такая, что если б банда зараз была, сел бы на коня и начал коммунистам кровь пущать!

— Тесная жизнь стала, тесная... — подтвердил и Яков Лукич. — Да оно, кабы на этом кончилось, еще слава богу...

— А какого ж еще лиха ждать? — озлился Фрол Рваный.

— Тебя не коснулось, вот тебе и сладко, а меня уж хлеб зачинает исть. Жили с тобой почти одинаково при царе, а вот зараз ты как обдутьенький, а с меня последние валенки сняли.

— Я не про то, боюсь, как бы чего не получилось...

— Чего же?

— Война как бы...

— Поддай-то, господи! Уподобь святой Егорий Победоносец! Хоть бы и зараз! И сказано в писании апостола...

— С кольями бы пошли, как вешенцы в 19-м году!

— Жилы из живых бы тянул. эх, гм-м-м!..

Атаманчуков, раненый в горло под станцией Филоновской, говорил, как в пастушечью дудку играл — невнятно и тонко:

— Народ осатанел, зубами будут грызть!..

Яков Лукич осторожно намекнул, что в соседних станицах беспокойно, что будто бы даже кое-где коммунистов уже учат уму-разуму, по-казачьему, как те в старину учили нежеланных, прибывавшихся к Москве атаманов, а учили их просто в мешок головой да в воду. Говорил тихо, размеренно, обдумывая каждое слово. Вскользь заметил, что беспокойно везде по Северокавказскому краю, что в низовых станицах уже обобществлены жены, и коммунисты первые спят с чужими бабами в открытую, и что к весне ждется десант. Об этом, мол, сказал ему знакомый офицер, полчанин, проезжавший с неделю назад через Гремячий. Утаил только одно Яков Лукич, что этот офицер до сих пор скрывается у него.

До этого все время молчавший Никита Хопров спросил:

— Яков Лукич, ты скажи вот об чем: ну, ладно, восстанем мы, перебьем своих коммунистов, а потом? С милицией-то мы управимся, а как со станции сунут на нас армейские части, тогда что? Кто же нас супротив их поведет? Офицеров нету, мы — темные, по звездам дорогу угадываем... А ить в войне части не наобум ходют, они на плантах дороги ищут, карты в штабах рисуют. Руки-то у нас будут, а головы нет.

— И голова будет! — с жаром уверял Яков Лукич. — Офицерьа обявуются. Они поученей красных командиров. Из старых юнкерей выходили в начальство, благородные науки превзошли. А у красных какие командиры? Вот хотя бы нашего Макара Нагульнова взять? Голову отрубить — это он может, а сотню разе ему водить? Ни в жизнь! Он-то в картах дже разбирается?

— А откуда ж офицерьа обявуются?

— Бабы их народют! — озлился Яков Лукич. — Ну, чего ты, Никита, привязался ко мне, как оrepей к овечьему курюку? «Откуда, откуда», а я-то знаю, откуда?

— Из-за границы приедут. Непременно приедут! — обнадеживал Фрол Рваный и, предвкушая переворот, кровавую сладость мести, от удовольствия раздувал одну, уцелевшую ноздрю, с хлопом всасывал ею прокуренный воздух.

Хопров встал, пихнул тыкву ногой и, оглаживая рыжие широкие усы, внушительно сказал:

— Так-то оно так... Но только казачки стали теперича ученые. Их бивали смертно за восстания. Не пойдут они Кубань не поддержит...

Яков Лукич посмеивался в седеющие усы, твердил:

— Пойдут, как одна душа! И Кубань вся огнем схватится... А в драке так: зараз я под низом, лопатками землю вдавливая, а глядь, через какой-то срок уж я сверху на враге лежу, выпинаю его

— Нет, братцы, как хотите, а я на это не согласный! — холодея от прилиза решимости, заговорил Хопров. — Я против власти не поднимаюсь и другим не посоветую. И ты, Яков Лукич, занаянну народ подбиваешь на такие штуки.. Офицер, какой у тебя ночевал, — он чужой, темный чолвек. Он намотит воду — и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули супротив советской власти, казакам понашили лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы, с тонконогими барышнями гулять... Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил? В Новороссийском красные на пристанях калмыкам головы срубали, а офицерьа и другие благородные на пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. Вся донская армия, как гурт овец, табунилась в Новороссийском, а генералы?.. Эх! Да я и то хотел кстати спросить: этот «ваше благородие», какой ночевал, зараз не у тебя спасается? Разка два примечал я, что ты в мякинник воду в цыбарке носишь... к чему бы, думаю, Лукичу воду туда носить, какого он чорта там поит? А потом как-то слышу — конь заиржал. — Хопров с наслаждением наблюдал, как под цвет седоватым усам становится лицо Якова Лукича. Было общее замешательство и испуг. Лютая радость распирала грудь Хопрова, он кидал слова, а сам, словно со стороны, как чужую речь, слышал свой голос.

— Никакого офицера у меня нету. — Глухо сказал Яков Лукич. — Иржала моя кобылка, а воду в мякинник я не носил, помои иной раз... Кабан у нас там...

— Голос твоей кобылёнки я знаю, не обманешь! Да мне-то что? А в вашем деле я не участник, а вы угадывайте...— Хопров надел папаху, глядя по сторонам, пошел к двери. Ему загородил дорогу Лапшинов. Седая борода его тряслась, он, как-то странно приседая, разводя руками, спросил:

— Доносить идешь, Июда? Проданный? А ежели сказать, что ты в карательном, с калмыками...

— Ты, дед, не сепети! — с холодным бешенством заговорил Хопров, подымая на уровень лапшиновской бороды свой литой кулак. — Я сам спервоначалу на себя донесу, так и скажу: был в карателях, был подхорунжий, судите, но-о-о и вы глядите! И ты, старая петля кобыля... И ты... — Хопров задыхался, в широкой груди его хрипело, как в кузнечном меху. — Ты из меня кровя все высосал! Хоть раз над тобой поликовать!

Не размахиваясь, тычком он ударил Лапшинова в лицо и вышел, хлопнув дверью, не глянув на упавшего у притока старика. Тимофей Борщев принес порожнее ведро. Лапшинов встал над ним на колени. Черная кровь ударила из его ноздрей, словно из вскрытой вены. В потерянной тишине слышно было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами Лапшинов да цедятся, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бороды, струйки крови.

— Вот теперь мы пропали во-взят! — сказал многосемейный раскулаченный Гаев. И тотчас же вскочил Николай Люшня, не попрощавшись, не покрыв голову шапкой, кинулся из хаты. За ним степенно вышел Атаманчуков, тоненько и хриповато сказав на прощанье:

— Надо расходиться, а то добра не дожدهшься.

Несколько минут Яков Лукич сидел молча. Сердце у него, казалось, распухло и подкатило к глотке. Трудно стало дышать. Напористо била в голову кровь, а на лбу выступала холодная испарина. Он встал, когда уже многие ушли, брезгливо обходя склонившегося над ведром Лапшинова, тихо сказал Тимофею Рваному:

— Пойдем со мной Тимофей!

Тот молча надел пиджак, шапку. Вышли. По хутору гасли последние огни. — Куда пойдём-то? — спросил Тимофей.

— Ко мне.

— Зачем?

— Потом узнаешь, давай поспешать.

Яков Лукич нарочно прошел мимо сельсовета, там не было огня, темнотой зияли окна. Вошли на баз к Якову Лукичу. Возле крыльца он остановился, тронул рукав Тимофеева пиджака.

— Погоди трошки тут. Я тебя тогда покличу.

— Лады.

Яков Лукич постучался, сноха вынула из пробоя засов.

— Ты, батя?

— Я. — Он плотно притворил за собой дверь, не заходя в кухню, постучался в дверь горенки. Хриповатый басок спросил:

— Кто?

— Это я, Александр Анисимович. Можно?

— Входи.

Половцев сидел за столиком против занавешенного черной шалью окна, что-то писал. Исписанный лист покрыл своей крупной жилистой ладонью, повернул лобастую голову.

— Ну, что? Как дело?..

— Плохо... Беда!..

— Что? Говори живее!.. — Половцев вскочил, сунул исписанный лист в карман, торопливо застегнул ворот толстовки и, наливаясь кровью, багровея, нагнулся, весь собранный, готовый, как крупный хищный зверь перед прыжком.

Яков Лукич сбивчиво рассказал ему о случившемся. Половцев слушал, не проронив слова. Из глубоких впадин тяжело в упор смотрели на Якова Лукича его голубоватые глазки. Он медленно распрямлялся, сжимал и расжимал кулаки, под конец страшно скривил выбритые губы, шагнул к Якову Лукичу.

— Па-а-адлец! Что же ты, твою мать, образина седая, погубить меня хочешь?! Дело хочешь погубить? Ты его уже наполовину погубил своей дурьей неосмотрительностью! Я как тебе приказывал? Как я те-бе при-ка-зы-вал? Надо было по одному прощупать настроения всех предварительно! А ты — как бык с яру!.. — Его приглушенный,

басоватый, булькающий шопот заставлял Якова Лукича бледнеть, повергал в еще больший страх и смятение. — Что теперь делать? Он уже сообщил, этот Хопров? А? Нет? Да говори же, пенек гремяченский! Нет? Куда он пошел, ты проследил?

— Никак нет... Александр Анисимович, благодетель, мы пропали теперича! — Яков Лукич схватился за голову. По коричневой щеке его на седоватый ус, щечка, скатилась слезинка. Но Половцев только зубами скрипнул.

— Ты! бабья... надо делать, а не... сын твой дома?

— Не знаю... я захватил с собой человека.

— Какого?

— Сына Фрола Рваного.

— Ага. Зачем привел его?

Они встретились глазами, поняли друг друга без слов. Яков Лукич первый отвел глаза, на вопрос Половцева «надежный ли парень?» только молча кивнул головой. Половцев яростно сорвал с гвоздя свой полушубок, вынул из-под подушки свежепрочищенный наган, крутнул барабан, и в отверстиях гнезд сияющим кругом замерцал никель вдавленных в гильзы пулевых головок. Застегивая полушубок, Половцев отчетливо, как в бою, командовал:

— Возьми топор. Веди самой короткой дорогой. Сколько минут ходьбы?

— Тут недалеко, дворов через восемь...

— Семья у него?

— Одна жена.

— Соседи близко?

— С одной стороны гумно, с другой сад.

— Сельсовет?

— До него далеко...

— Пошли!

Пока Яков Лукич ходил за топором к дровосеке, Половцев левой рукой сжал локоть Тимофея, негромко сказал:

— Беспрекословно слушать меня! Прийдем туда, и ты, паренек, измени голос, скажи, что ты дежурный сиделец из сельсовета, что ему бумажка. Надо, чтобы он сам открыл дверь.

— Вы смотрите, товарищ, как вас... незнакомый с вами... этот Хопров как бык, сильный, он, ежели не вспопашитесь, может так омочить голым кула-

ком, что... — развязно заговорил было Тимофей.

— Замолчи! — оборвал его Половцев и протянул руку к Якову Лукичу. — Дай-ка сюда. Веди.

Ясеновое топорище, нагревшееся и мокрое от ладони Якова Лукича, сунул под полушубок за пояс шаровар, поднял воротник.

По проулку шли молча. Рядом с плотной, большой фигурой Половцева Тимофей выглядел подростком. Он шел рядом с валко шагавшим есаулом, назойливо заглядывал ему в лицо. Но темнота и поднятый воротник мешали...

Через плетень перелезли на гумно.

— Иди по следу, чтобы один след был, — шопотом приказал Половцев.

По нетронутому снегу пошли волчьей цепкой, шаг в шаг. Около калитки во двор Яков Лукич прижал ладонь к левому боку, тоскливо шепнул:

— Господи...

Половцев указал на дверь.

— Стучи!.. — скорее угадал по губам его, чем услышал Тимофей. Он тихонько звякнул щеколдой и тотчас же услышал, как яростно скребут, рвут за стезжки полушубка пальцы чужого человека в белой папахе, ставшего справа от двери. Тимофей постучал еще раз. С ужасом смотрел Яков Лукич на собачонку, вылезавшую из-под стоявшего на открытом базу букаря. Но прозябший щенок бесголосо твякнул, заскулил, подался к покрытому камышом погребу.

.....

Домой Хопров пришел отягощенный раздумьем, за время ходьбы несколько успокоившийся. Жена собрала ему поечерять.

Он поел неохотно, грустно сказал:

— Я бы зараз, Марья, арбуза соленого с'ел.

— На похмёл, что ли? — улыбнулась та.

— Нет, я не пил ноне. Я завтра, Манутка, об'являю властям, что был в карателях. Мне не по силам больше так жить.

— Ох и придумал! Да ты чего это ноне кружоный какой-то? Я и не пойму.

Никита улыбался, подергивал широкий рыжий ус и, уже ложась спать, снова серьезно сказал:

— Ты мне сухарей сготовь либо пресных подорожников спеки. На отсидку я пойду.

А потом долго, не слушая увещаний жены, лежал с открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про Островнова, пушай и их, чертей, посажают! А мне что же будет? Не расстреляют же? Отсиджу года три, дровишки на Урале порублю и выйду отсель чистым. Никто тогда уж не попрекнет прошлым. Ни на кого работать за свой грех больше не буду. Скажу по совести, как попал к Аштымову. Так и скажу: «Мол, спасался от фронта, кому лоб под пули подставлять охота?» Пушай судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все расскажу! Людей сам я не стрелял, ну, а что касаемо плетей... Ну, что же, плетей вваливал и казакам-дезертирам и кое-каким за большевизму... Я тогда темней ночи был, не знал, что и куда».

Он уснул. Вскоре от первого сна оторвал его стук. Полежал. «Кому бы это приспичило?» Стук повторился. Никита, досадливо крихтя, стал вставать, хотел было зажечь лампочку, но Марья проснулась, зашептала:

— Либо опять на собранию? Не зажигай! Ни дня, ни ночи покою... Перебесились треклятые!

Никита босиком зышел в сенцы.

— Кто такой?

— Это я, дяденька Никита, из совету.

Ребячий, незнакомый голос... Что-то похожее на беспокойство, намек на тревогу почувствовал Никита и спросил:

— Да кто это? Чего надо?

— Это я, Куженков Николай. Бумажка тебе от председателя, велел зараз в совет иттить.

— Сунь ее под дверь.

...секунда тишины с той стороны двери... Грозный попукающий взгляд из-под белой курпйчатой папахи, и Тимофей, на миг растерявшийся, находит выход:

— За нее расписаться надо, отвори.

Он слышит, как Хопров нетерпеливо переступает, шуршит по земляному полу сенцев босыми подошвами ног. Стукнула дверная задвижка. В квадрате двери на темном фоне возникает белая фигура Хопрова. В этот миг Половцев заносит левую ногу на порог, взмахнув топором,

бьет Хопрова обухом повыше переносицы.

Как бык перед заревом, оглушенный ударом молота, рухнул Никита на колени и мягко завалился на спину.

— Входить! Дверь на запор! — неслышно командует Половцев. Он нащупывает дверную ручку, не выпуская из рук топора, распахивает дверь в хату. Из угла с кровати — шорох дерюги, встревоженный бабий голос:

— Никак ты свалил что-то?.. Кто там, Никитушка?

Половцев роняет топор, с вытянутыми руками бросается к кровати.

— Ой, люди добрые!.. Кто это?.. Кар..

Тимофей, больно стукнувшись о притолку, вбегает в хату. Он слышит звуки хрипенья и возни в углу. Половцев упал на женщину, подушкой придавил ей лицо и крутит, вяжет рушником руки. Его локти скользят по зыбким, податливо мягким грудям женщины, под ним упруго вгинается ее грудная клетка. Он ощущает тепло ее сильного, бьющегося в попытках освободиться тела, стремительный, как у пойманной птицы, стук сердца. В нем внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание, но он рычит и с яростью просовывает руку под подушку, как лошади, раздирает рот женщины. Под его скрюченным пальцем резинового подается, потом мягко ползет разорванная губа, палец в теплой крови, но женщина уже не кричит глухо и протяжно: в рот ей до самой глотки забил он скомканную юбку.

Половцев оставляет возле связанной хозяйки Тимофея, сам идет в сенцы, дышит с хрипом, как сапная лошадь.

— Спичку!

Яков Лукич зажигает. При тусклом свете Половцев наклоняется к поверженному навзничь Хопрову. Батареец лежит, неловко подвернув ноги, прижав щеку к земляному полу. Он дышит, широкая бугристая грудь его неровно вздымается, и при выдохе каждый раз рыжий ус опускается в лужу красного. Спичка гаснет. Половцев наощупь пробует на лбу Хопрова место удара. Под пальцами его шуршит раздробленная кость. Опухоль покрывает веко левого глаза.

— Вы меня увольте... У меня на кровь сердце слабое... — шепчет Яков

Лукич. Его бьет лихорадка, подламываются ноги, но Половцев, не отвечая, приказывает:

— Принеси топор. Он там... возле кровати. И воды.

Вода приводит Хопрова в сознание. Половцев давит ему коленом грудь, свистящим шопотом спрашивает:

— Донес, предатель, говори! Эй, ты, спичку!

Спичка опять на пару секунд освещает лицо Хопрова, его полуоткрытый глаз. Рука Якова Лукича дрожит, дрожит и крохотный огонек. В сенцах по метелкам свисающего с крыши камыша пляшут желтые блики. Спичка догорает жжет ногти Якова Лукича, но он не чувствует боли. Половцев два раза повторяет вопрос; потом начинает ломать Хопрову пальцы. Тот стонет и вдруг ложится на живот, медленно и трудно становится на четвереньки, встает. Половцев, стоная от напряжения, пытается снова опрокинуть его на спину, но медвежья сила батарейца помогает ему встать на ноги. Левой рукой он хватает Якова Лукича за кушак, правой — охватывает шею Половцева. Тот втягивает голову в плечи, прячет горло, к которому тянутся холодные пальцы Хопрова, кричит:

— Огонь!.. Будь проклят! Огонь, говорят! — он не может в темноте нащупать руками топора.

Тимофей, высунувшись из кухни, не подозревая, в чем дело, громко шепчет:

— Эй, вы! Вы его под хряшку.. Под хряшку топором, остряком его, он тогда скажет!

Топор в руках у Половцева, с огромным напряжением вырывается он из объятий Хопрова, бьет уже острием топора раз и два. Хопров падает, и при падении цепляется головой за лавку. С лавки от толчка валится ведро. Гром от падения его, как выстрел. Половцев, скрипя зубами, кончает лежащего; ногою нащупывает голову, рубит топором и слышит, как, освобожденная, булькает, клекочет кровь. Потом сидком вталкивает Якова Лукича в хату, закрывает за собою дверь, вполголоса говорит:

— Ты в душу твою мать... слюняй! Держи бабу за голову, нам надо узнать, успел он сообщить или нет? Ты, парень, придави ей ноги!

Половцев грудью наваливается на связанную бабу. От него разит едким мускусом пота. Спрашивает, отдельно произнося каждое слово:

— Муж после того, как пришел с вечера, ходил в совет или еще куда-нибудь?

В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшее от удущья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, на воздух... Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовишной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким захлебывающимся шопотом просит:

— Роденькие!.. роденькие, пожалейте! Все скажу! — она угадывает Якова Лукича, ведь он же кум ей, с ним она лет семь назад крестила сестриного сына, и трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными разорванными губами: — Куманек!.. родимый мой!.. За что?..

Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить! Ей страшно!

— Ходил муж куда или нет?

Она отрицательно трясет головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева:

— Ваше... Ваше.. Ксан Анисмыч!.. Не трожь ее... Мы ей пригрозим, не скажет!.. Век не скажет!..

Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает: «Завтра же выдст! Но она—женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно... К чорту!.. Закреть ей глаза, чтобы последнего не видела...»

Заворачивает ей на голову подол холстинной подставки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица... Половцев в полусумраке вдруг видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, стремительно покрыв-

ваясь испариной пота. «Поняла, зачем голову накрыл. К чорту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху.

Яков Лукич вдруг чувствует, как длительная судорога потянула тело его кумы. В ноздри ему хлынул приторный запах свежей крови... Он, шатаясь, дошел до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности...

На крыльце Половцев пьяно качнулся, губами припал и стал хватать напавший на перильце свежий и пушистый снег. Вышли в калитку. Тимофей Рваный отстал, околесив квартал, пошел на певучий голос двухрядки, доплывавший от школы. Возле школы — игрище. Тимофей, пощипывая девок, пробрался в круг, попросил у гармониста гармошку.

— Тимоша! Заиграй нам цыганку с перебором, — попросила какая-то девка.

Тимофей стал брать гармонь из рук хозяина и уронил. Тихо засмеялся, снова протянул руки и снова уронил, не успев накинуть на левое плечо ремень. Пальцы не служили ему. Он пошевелил ими, засмеялся, отдал гармошку.

— Натрескался уж гдей-то!

— Глянь-ка, девоньки, он никак пьяный?

— И пинжак уж облевал! Хорош!..

Девки подались от Тимофея. Хозяин гармошки, недовольно сдувая со складок меха снег, неуверенно заиграл «цыганочку». Ульяна Ахваткина, самая рослая из девок, «на гвардейца деланная», как звали ее в хуторе, пошла, поскрипывая низкими каблуками чириков, коромыслом выгнув руки. «Надо сидеть до света, — как о ком-то постороннем, думал Тимофей, — тогда никто на случай следствия не подкопается». Он встал и, уже сознательно подражая движениям пьяного, покачиваясь, прошел к сидевшей на порожке школы девке, положил ей голову на теплые колени:

— Поищи меня, Любушка!..

А Яков Лукич, выbleвавшийся, зеленый, словно капустный лист, как вошел в курень — пал на кровать и головы от подушки не поднял. Он слышал, как под лоханкой мылил руки, плескал водой и отфыркивался Половцев, потом ушел к

себе в горенку. Уже в полночь разбудил хозяйку:

— Взвар есть, хозяйюшка? Зачерпни напитокся.

Попил (Яков Лукич смотрел на него из-под подушки одним глазом), достал разваренную грушу, заачкал, пошел, дымя цыгаркой, поглаживая по-бабьи голую пухловатую грудь. В горенке Половцев протянул босые ноги к неостывшему комельку. Он любит по ночам греть ноющие от ревматизма ноги. Простудил их в 1916 году, зимою вплавь переправляясь через Буг, верой и правдой служа его императорскому величеству, обороняя отчизну. С той-то поры есаул Половцев и тяготеет к теплу, к теплой валеной обуви...

ГЛАВА XIII

За неделю пребывания в Гремячем Логу перед Давыдовым стеною стал ряд вопросов... По ночам, придя из сельсовета или из правления колхоза, разместившегося в просторном Титковом доме, он долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот» и опять в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к колхозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк, пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, работу, становилось чуточку грустно оттого, что там теперь многое изменилось, и все это в его отсутствие; что он теперь уже не сможет ночи навывлет просиживать над чертежами катерпильерского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, что на его капризном и требовательном станке работает другой, наверное этот самоуверенный Гольдшмидт; что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших двадцатипяти тысячников хороших с горячинкой речей. И внезапно мысль снова переключилась на Гремячий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений. Он ехал на работу в деревню вовсе не таким уж наивным горожанином, но разворот классовой борьбы, ее путаные узлы и зачастую потаенно скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, ка-

кие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков итти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок — вчерашний партизан и нынешний кулак и враг. Тимофей Борщев — бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов — культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз, и настороженно враждебное отношение к нему Нагульнова. Все гремяченские люди шли перед мысленным взором Давыдова... И многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неощутимой, невидимой завесой. Хутор был для него, как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном, неустанном напряженном биении этой мудреной машины...

Загадочное убийство бедняка Хопрора и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти Хопрора есть причинная связь с коллективизацией, новым, бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. На утро, когда были обнаружены трупы Хопрора и его жены, он долго говорил с Размётновым и Нагульновым. Те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопрор был бедняк, в прошлом — белый, в общественной жизни пассивный, каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшинову. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хопрора и братья было нечего. Размётнов отмахнулся:

— Должно, обидел кого-нибудь по бабьей части. Чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни.

Нагульнов молчал, он не любил говорить непродуманно. Но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселение их из хутора. Нагульнов его решительно поддержал:

— Из ихнего стану стукнули Хопрора, без разговоров! Выселить гадов в холодные края!

Размётнов посмеивался, пожимал плечами:

— Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу в колхоз вступать. Но только Хопрор не через них пострадал. Он к ним не причастный. Оно-то верно, он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него, да ить это же, небось, не от сытости? Нуждишка придавливала, вот и прибавался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить, не чудите, братцы! Нет, тут бабье дело, как хотите!

Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрора и Лапшинова. Но следователю так и не удалось заполучить ведущей нити к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов Северокавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов (кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Размётнов, несмотря на возражения Нагульнова), Павел Любишкин, Демка Ушаков, с трудом прошел Аркашка Менок, пятым дружно, без споров, избрали Давыдова. Этому способствовала полученная накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что райпартком по согласованию с райполеводсоюзом выдвигает за должность председателя правления колхоза уполномоченного райпарткома, двадцатипятилетия т. Давыдова.

На общем собрании шел долгий спор, как наименовать колхоз. Размётнов в конце держал речь:

— Даю отвод прозванию «Красный казак», это мертвое и обмаранное прозвание. Казакором раньше детву пужали рабочие. Предлагаю, дорогие товарищи, теперешние колхозники, присвоить нашему дорогому путю в самый социализм, нашему колхозу, имя т. Сталина. Про него всем нам известно, что он с начала времен идет прямым путем, ни туда, ни сюда не хитнётся, и мы—за ним рассы-

панной лавой в этот же самый родимый социализм, за какой мы бились, жен, детишков бросили, об молодой жизни позабыли и в свою, и в чужую кровь руки омочали нещадно.

Андрей заметно волновался, на лбу его багровел шрам. На какой-то миг злобноватые глаза его затянула дымка слез, но он оправился, подтвердел голосом:

— Нехай, братцы, товарищ наш Иосиф Виссарионович долго живет и руководствует! Предлагаю встать в честь ему и снять шапки!

Собрание встало, засветлели обнаженные лысины, обнажились спутанные разномастные головы. Размётнов продолжал: — А мы давайте прозваться его именем. Окромя этого, даю фактическую справку: когда мы обороняли Царицын, то я самолично на передовом огне видал и слышал т. Сталина. Он тогда вместе с Ворошиловым реввоенсоветом был, одежду носил штатную, по долгон сказать, — дока он! Тогда на смотру и на линии огня нам, бойцам, бывало, говорил на счет стойкости...

— Ты не по существу, Размётнов, — прервал его Давыдов.

— Не по существу? Тогда я конечно извеняюсь, но я твердо стою за его прозвание!

— Все это известно, я тоже за то, чтобы имени Сталина колхоз назвать, но это ответственное название, — внушал Давыдов, — опозорить его невозможно! Тогда уж надо так работать, чтобы перекрывать всех окружающих.

— С этим мы в корне согласные, — сказал дед Шукарь.

— Понятно! — Размётнов улыбнулся. — Я, дорогие товарищи, авторитетно, как председатель совета, заявляю: лучше прозвания имени т. Сталина не может быть. Я бы все колхозы так и прозвал. Наша коммунистическая партия так тесно и так плотно с твердостью вокруг товарища Сталина стоит и так она его жалеет, что тут и придумать лучше невозможно. Мне вот к примеру довелось в 19-м году видать, как возля хутора Топольки наша красная пехота брала плотину на речке Цулим, возля водяной мельницы...

— Вот ты опять в воспоминания удаляешься, — досадливо сказал Давы-

дов, — пожалуйста веди собрание и конкретно голосуй!

— Извиняюсь, голосуйте, граждане, но как вспомнишь войну — сердце зашвербит часоткой, хочется слово сказать, — виновато улыбнулся Размётнов и сел.

Собрание единогласно присвоило колхозу имя Сталина.

Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка — бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара, но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лушка — жена Нагульнова — была с Давыдовым неизменно приветлива, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них. По утрам Давыдов, не вступая в разговор, часто искося посматривал на Лушку. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно черных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты, казалось, что постоянно ждет она что-то радостное; яркие губы в уголках неизготове держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковки выпуклых зубов. Она и ходила-то так, шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась, как все гремяченские казачки, была, может быть, немного чистоплотней. Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки:

— У меня в полушубке в кармане резинки. Ты что ли заказывала Семену? Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать.

— Макарушка, взаправди? — голос Лушки, теплый спросонок, дрогнул радостью.. Она в одной рубашке прыгну-

ла с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые, стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голу-бым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом: она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге попку, вытянув мальчишески худую шею. Давыдов в зеркале видел излучины улыбки над ее вспыхнувшими глазами, негустой румянец на веснущатых щеках. Любуясь туго охватившим ногу черным чулком, она повернулась лицом к Давыдову, в разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди, торчавшие, как у козы, вниз и врозь, и она тотчас же увидела его через занавеску, левой рукой медленно стянула ворот и, не отворачиваясь, щуря глаза, тягуче улыбалась. «Смотри, какая я красивая!»—говорили ее несмущающиеся глаза.

Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинул со лба глянцевито-черные пряди волос. «Чорт знает! еще подумает, что я подсматривал... дернуло меня встать! еще взбредет ей, что я интересуюсь...»

— Ты хоть при чужом человеке телешом-то не ходи. — Недовольно бормотнул Макар, услышав, как Давыдов смущенно кряхтит.

— Ему не видно.

— Нет, видно. — Давыдов кашлянул за перегородкой.

— А видно, так и смотрите на доброе здоровье, — равнодушно сказала она, через голову одевая юбку. — Чужих, Макарушка, нету. Нынче чужой, а завтра, ежели захочу, свой будет, — засмеялась и с разбегу кинулась на кровать. — Ты у меня смирененький! Тпружень! Тпруженьюшка! Телочек!..

После завтрака, едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул:

— Дрянь у тебя баба!

— Тебя это не касается... — Ответил Нагульнов тихо, не глядя на Давыдова.

— Тебя зато касается! Я сегодня же перехожу на квартиру, мне смотреть тошно! Такой ты парень, — что надб, а с нею миндали разводишь! Сам же говорил, что она живет с Рваным.

— Бить ее что ли?

— Не бить, а воздействовать! Но я тебе прямо скажу: вот я коммунист, но

на это у меня нервы тонкие, я побил бы и выгнал к чорту! А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет! Я не вмешиваюсь во внутренние ваши дела...

— Ты женатый?

— Нет. А вот на твою семью посмотрел — теперь до гроба не женюсь!

— У тебя на бабу вид как на собственность.

— Э, чорт тебя. Анархист кривобокый! Собственность, собственность! Она же еще существует? Чего же ты ее отменяешь? Семья-то существует? А ты... на твою бабу лезут... разврат заводишь, терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю!.. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример!

— Ну, я ее убью!

— Здравствуйте!

— Ну, ты вот чего... зараз в это дело не лезь... — останавливаясь среди улицы, попросил Макар. — Я сам с этим разберусь, зараз не до этого. Ежели б это вчера началось, а то я уж обтерпелся... погожу чудок, потом... Сердцем к ней присох... А то бы давно... Ты куда идешь, в совет? — перевел он разговор.

— Нет, хочу зайти к Островнову. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его завхозом устроить, как ты думаешь? Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой.

Нагульнов махнул рукой, осердился.

— Опять за рыбу деньги! Дался вам с Андреем Островнов! Он колхозу нужен, как архиерею это самое... Я — против. Я добьюсь его исключения из колхоза! Два года платил сельхозналог с процентной надбавкой, зажиточный гад, до войны жил кулаком, а мы его выдвигать?

— Он—культурный хозяин! Я что же по-твоему кулака охраняю?

— Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел!

Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.

ГЛАВА XIV

Февраль...

Жмут, кережат землю холода. В бе-

лом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко лопаётся. Курганы в степи, — как переспелые арбузы, — в змейстых трещинах. За хутором возле зяблевой пахоты снежные наносы нестерпимо, слепяще блещут. Тополя над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам строевым лесом высятся прямые, оранжевые стволы дыма. А на гумнах от мороза пшеничная солома духовитей пахнет лазоревым августом, горячим дыханьем суховея, летним небом...

На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьянной былки об'едьев. Ягнят и козлят зимнего ок'дта уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней, и от козлят, от курчавой их шерсти первозданно, нежнейше пахнет морозным воздухом, разнотравьем сена, сладким козьим молоком. Снег под настом — ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, так выморочно студеное небо в зыбкой россыпи многозвездья, что кажется мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина — жемчужный след.

Ночью, если тихо, заржет ожеребая кобыла, чувствуя, как в черном атласном вымени ее приливает молоко, ржанье слышно окрест на много верст.

Февраль...

Предрассветная синяя тишина.

Меркнет пустынный Млечный Путь.

В темных окнах хат багрово полыхающие зарева огней: отсвет топящихся печек.

На речке под пешней хрупко позванивает лед.

Февраль...

Еще дэ света Яков Лукич разбудил сына и баб. Затопили печь. Сын Якова Лукича Семен на бруске отточил ножи. Есаул Половцев старательно обернул портянками шерстяные чулки на ногах, обул валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий баз. У Якова Лукича — семнадцать овец и две козы. Семен знает,

какая овца скотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит, наощупь выбирает валухов, баранов, ярк, по одной выталкивает в теплый катах. Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину закрученного рога, валит на землю, и, ложась грудью на распластанного валуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отворяет черную ручиственную кровь.

Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они — советские, а советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато — сытней сытного. Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил было денег, думал возле себя кормить человек трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь!)... думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика — войскового старшины Жорова — его полузаброшенную вальцовку... В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чортовой кожи, а в чесучевой паре, с золотой цепкой поперек живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка-выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новоавлова... Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная екатериновка! Революциядохнула холодом невиданных потрясений, шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигавшееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян спустил нажитое... Продал паровой двигатель, куп-

ленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десятков и кожаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев. Подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним, как черный степовой вихрь над травой: погнуть — погнули, а чтобы сломать или искалечить — этого не было. В бурю лишь тополя да дубы ломают и выворачивают с корнем, а бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встает. Но вот «встать-то» Якову Лукичу и не пришлось! Потому-то он и против советской власти, потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него, потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублевой, или и эту кинуть! Поэтому и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич — член правления гремяченского колхоза «имени Сталина». «Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кобелю, который у ног есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурт, чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти! — думает Яков Лукич. — И правильно говорил ученый есаул Половцев: «Надо резать скот! Надо рвать из-под большевиков землю, Пустьдохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем, когда захватим власть! Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, разрухой, восстанием их задушим! А о кобыле не жалея, Яков Лукич! Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно... Когда восстанем и будем занимать хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из двора во двор искать их». Золотые слова! Голова у есаула Половцева также надежно служит, как и руки...»

Яков Лукич постоял над сараем, посмотрел, как Половцев и Семен орудуя, обдирая подвешенные к перерубу тушки. Фонарь «Летучая мышь» ярко освещал белый отблеск овчины. Свежевать было легко. Посмотрел Яков Лукич на тушку, висевшую перерезанной шеей вниз, с завернутой, спущенной до синего пузыря овчи-

ной, глянул на валяющуюся возле корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, побледнел...

В желтом овечьем глазе с огромным, еще не потускневшим зрачком застыл смертный ужас. Вспомнилась Якову Лукичу жена Хопрова, ее косноязычный, страшный шопот «Куманек!.. Родненький! За что?» Яков Лукич с отвращением глянул на овечью лилово-розовую тушу, на ее оголенные долевы пучки и связки мускулов. Острый запах крови, как тогда, вызвал припадок тошноты, заставил качнуться. Он заспешил из сарая.

— Мяса душа не примаает... Господи! И на дух не надо.

— За каким дьявлом приходил? Без тебя управимся, тонкошкурый! — улыбнулся Половцев и окровавленными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать цыгарку.

К завтраку насилу управились. Освеженные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки. Половцев затворился в горенке (днем он безвылазно находился там). Ему принесли свежие шей с бараниной, вышкварок из курдюка. Едва лишь сноха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка.

— Батя! Давыдов к нам, — крикнул Семен, первый увидев входившего на баз Давыдова. Яков Лукич стал блее отсевной муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гулко кашлял, шел уверенно, твердо переставляя ноги.

«Пропал! — думал Яков Лукич. — Ходит-то, сукин сын! Будто всей земле хозяин! Будто по своему куреню идет! Ох, пропал! Небось за Никиту рестовать, дознался, вражина».

Стук в дверь, сильный тенорок:

— Разрешите войти?

— Входите, — Яков Лукич хотел сказать громко, но голос сехал на шопот. Давыдов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-за стола (не мог! И даже дрожащие, обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки чириков дробно выстукивают по полу).

— Здравствуй, хозяин!

— Здравствуйте, товарищ! — в один голос ответили Яков Лукич и его жена.

— Мороз на дворе...

— Да, морозно.

— Рожь не вымерзнет, как думаешь?—Давыдов полез в карман, достал черный, как прах, платочек, хороня его в кулаке, высморкался.

— Проходите, товарищ, садитесь,—приглашал Яков Лукич.

«Чего он испугался, чудак» — удивился Давыдов, заметивший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились, обятые дрожью.

— Так как рожь-то?

— Нет, не должно бы... снегом ее прихоронило... Может, там прихватит, где сдуло снежок...

«Начинает с жига, а зараз небось скажет: «Ну, собирайся!»». Может, про Половцева кто донес? Обыск» — думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь, из пор выступил пот, покатылся по лбу, на седоватые усы, на колючий подбородок.

— Гостем будете, проходите в горницу.

— Я зашел потолковать с тобой, как имя отчество-то?

— Яков, сын Лукин.

— Яков Лукич? Так вот, Яков Лукич, ты очень хорошо, толково говорил на собрании о колхозе. Конечно ты прав, что колхозу нужна и сложная машина. Вот насчет организации труда ты ошибнулся, факт! Думаем тебя заведывающим хозяйством выдвинуть. Я у тебе слышал как о культурном хозяине...

— Да вы проходите, дорогой товарищ! Гаща, постанови самоварчик. Али вы, может, щец похлебаете? Али арбуз соленый разрезать? Проходите, дорогой гость наш! К новой жизни нас... — Яков Лукич захлебнулся от радости, с плеч у него будто гору сняли. — Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Темных наших от дедовской привычки хотел отворотить... Как пашут? Грабют землю! Похвальный лист от окружного ЗУ имею. Семен! Принеси похвальный лист, что в рамку заведенный. Да мы и сами пройдем, не надо.

Яков Лукич повел гостя в горницу, приметно мигнув Семену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горенку, где отсиживался Половцев, заглянул туда и испугался: горенка пустовала. Семен сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных

чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семен вышел, приложил к двери хрящеватое, сторчмя, как у хищного зверя, поставленное ухо. «Бесстрашный чорт!» — подумал Семен, выходя из зала.

Зимой большой, холодный зал в островновском курене был нежилым. На крашеном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла кадушка с мочеными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему было слышно каждое слово разговора. В запушенные изморозью окна точился розовый сумеречный свет. У Половцева зябли ноги, но он сидел, не шевелясь, с щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одною дверью. «Охрип, собака, на своих митингах! Я бы тебя.. Ах, если бы можно было сейчас!» — Половцев прижимал к груди набухавшие отечной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони.

За дверью:

— Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза: не гоже нам хозяйствовать по-старому? Взять хучь бы жито, через чего вымерзает и приходится на десятину, это красно, ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие? А у меня — завсегда не проломись меж колосу. Бывало выеду, оседламши, на своей кобылке и по верх луки колосья связываю. Да и колос — на ладони не уляжется. Все это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух режет под корень — жадует, все, мол, на топку согдится. Ему, сукину сыну, на базу кизек летом нарезать некогда, лень вперед него родилась, залипает ему, а того не разумеет, что будыля, ежели резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать, промеж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры. На весну такая земля лучше самой глыбкой зяби. А не держи снег, он потает зря, жирной водой сольет, и нету от него ни человеку, ни землице пользы.

— Это конечно верно.

— Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица, советская власть не зря похвальный лист преподнесла! Я знаю, что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в ихней учено-

сти. Вот к примеру выписывал я агрономский журнал, и в нем один дюже грамотный человек из этих, какие студентов обучают, писал, что, мол, жито даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопаётся и вместе с собой рвет коренья у колоса.

— А, это интересно! Я не слышал про это.

— И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню, самое какими прерощенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие, — лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибает. Человеку жилы пережешь — не будет же он на свете жить? Так и зерно.

— Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать.

«Тебе не пригодится! Не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни!» — улыбался Половцев.

— Или вот как на зяби снег держать? Шиты надо. Я уж и шит такой продумал из хвороста... с ярами надо воевать, они у нас земли отымают каждый год больше тыщи десятин.

— Все это верно, Ты вот скажи, как нам лучше помещения для скота уте-

плить. Чтобы и дешево и сердито получилось, а?

— Базы-то? Это мы все исделаем! Баф надо заставить плетни обмазать, это раз. А нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать...

— Да-а-а... А вот как насчет протравки.

Половцев хотел устроиться на кадушке половчее, но крышка скользнула изпод него, упала с грохотом. Половцев скрикнул зубами, услышав, как Давыдов спросил:

— Что это упало там?

— Должно кот что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит. Да вот хочу вам показать породную коноплю. Выписная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите.

Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор, дверь, заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его...

Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов подмышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю. Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу!» — думал он, шагая в сельсовет.

(Продолжение следует).

Энергия

Роман

Ф. ГЛАДКОВ

(Продолжение¹)

VII

Викентий Михайлович вставал по утрам ровно в шесть часов. Еще не открывая глаз, он уже чувствовал всем телом кубическую огранку своей комнаты и воздушную прозрачность гулкого света. Вещи быстро занимали свои места в неподвижной готовности служить ему. Широкий дубовый письменный стол, в простенке между саженными окнами, пламенел жаром на солнце: полированная поверхность дымилась металлическим накалом, и над нею вихрилась радужная пыль. На белой стене, у карниза, кудрявились золотые облачка солнечных отражений. Книжный шкаф из золотого дуба улыбался важно и гордо. И за рамой, в другом далеком мире, в фотографической дымке чеканился перспективным рисунком строгий дворец электростанции, которую он строил на северных озерах еще при жизни Ленина.

Владимир Ильич! Как всегда встречал он Викентия Михайловича из-за рамы обычной дружеской улыбки, с лукавым любопытством устремленного вдаль человека, в кепке с широким козырьком, надвинутым на глаза. Он застыл, охваченный невидимым движением, и морщинки около глаз взволнованно дрожат даже на висках. Викентий Михайлович на мгновение видел его живым — экспансивным и юношески порывистым. Чудилось, что вот он сейчас,

как бывало, быстро повернет к нему лицо и засмеется, радостно протягивая руку, и на лице его затрепещет множество переплетающихся беспокойных выражений.

«Ильич, голубчик, ты смотришь двенадцатым годом. Это — хорошо, это я больше всего люблю в тебе».

И Викентий Михайлович каждый раз вспоминал, как Ильич когда-то горячо прокартавил:

— Мы строим коммунизм, несмотря на необычайные трудности. Но мы не боимся этих трудностей и дальних сроков. Поколение, которому теперь 50 лет, не увидит коммунизма, но те, которым сейчас 15 лет, они увидят и будут творцами коммунистического общества. Мы должны создать социалистическое хозяйство на базе высочайшей техники. Основа же этой техники — электрификация. На это нужно не менее десяти лет, и за эти десять лет мы построим до 30 крупных электростанций. Вот Волховстрой. Это — уже начало. У нас есть строители, которые крепко связаны с диктатурой пролетариата. Это — такие же герои на хозяйственном фронте, как и бойцы Красной армии на военных фронтах.

И, как всегда, был очень деликатен, вежлив и корректен.

И еще вспомнил: он пришел к Ленину после того, как механически выбыл из партии и сдал свой партбилет. Ленин сидел за столом, и около него — товарищи, с которыми Балеев когда-то работал в подполье.

¹) См. «Новый мир», кн. 1 с. г.

— Он — путаник, этот Викенгий Михайлович. Он простодушно думает, что революция кончилась, и поэтому он теперь только желает строить электростанции. Он не хочет, чтобы его дергали и туркали по собраниям. Чудак! Теперь он может только сооружать, а остальное — не его дело... Что ж, пусть строит, сооружает... пока не убедится, что так мыслить коммунист не может.

Потом вдруг засмеялся брызгами в зрачках, обильно рассыпал по лицу белые пучки дрожащих, горячих морщинок.

— Ах, какой же вы чудак, товарищ Балеев! И какой же вы нетерпеливый человек!

И, не забывая о Балееве, улыбался ему одним глазом и виском. Это было в тяжелый момент отступления на польском фронте.

«Да, это было трудное время... Но... я не раскаялся, Владимир Ильич. Овому — талант, овому — два. Я предпочитаю жить с одним талантом. Ибо два и много талантов взаимно исключают друг друга: один талант неизбежно пожирает другой, а в результате — дилетантизм, любительство или чиновничья мелкотравчатость и политиканство».

И ещё вспомнил, как Ленин приезжал когда-то на стройку электростанции — вот этой, на фотографии, — и радовался, как ребенок. Он смеялся, говорил словоохотливо, мечтая о будущем, прижимая локоть Балеева к своему горячему боку, и Балеев слышал (слышал, Владимир Ильич!), как билось его сердце.

И, как всегда в этот час, комната упруго подпрыгнула и заплясала, громом рванулся воздух, и стекла забили барабанную дробь. Воздух сгустился до физической осязаемости и до боли ударило по барабанным перепонкам. Кровать встряхнулась и подбросила Балеева на пружинах. Дальнобойным орудием грохнул взрыв. Должно быть, на шлюзе.

При первых взрывах он должен быть уже на ногах. Где-то в твердых породах происходит дрожжевое брожение, и из чудовищных бутылей, скрытых в недрах камней, рвутся диковинные пробки. Извергается дым и пена.

Викентий Михайлович распахнул окно. Утро было прозрачное и густое.

Река в струистом зеркале оранжево горела даже в глубинах. Она плавилась разливно, невесомо, густо, без всплесков. Она так же стара и так же бессмертна, как мир. Так же, как и сейчас, в бездне времен текла она широко; спокойно и так же цвела перламутром.

Перед окном дымился густой зеленью сад. Плескалась вместе с волнами воздуха жирная пена цветов. А ниже, по крутому спуску, до железной решетки ограды, — буйные взрывы сирени, фруктовых деревьев, голубых елей. Ограды не видно: она запутана густыми потоками винограда и хмеля. В другой половине особняка жил его заместитель по комбинату, инженер Стрижевский. Впрочем Балеев занимал три комнаты, а Стрижевский — семь: Стрижевский — барин, и он, и его жена привыкли к простору и роскоши. У их девочки — гувернантка-англичанка. Между Балеевым и Стрижевским — нет никакой близости; их общение — только в стенах управления.

Молния вырвалась из скал на том берегу, и голубое облако выросло над гранитами, как великанное седое дерево. Взрыв. Боль в перепонке и колющее щекотанье. Удар воздуха был тверд и упруг, и стены комнаты задрожали, готовые рассыпаться щебнем. Мгновенный порыв бури рванул зеленые охапки деревьев и вороха цветов. Грохот взрыва долго отдавался эхом по далеким холмам, как утихающий гром.

И вдруг — тишина до звона в ушах, до трели далекого колокольчика. Тишина и пустота. Кажется, что воздух исчез, и нечем дышать.

Множество извергающихся вулканов. Кучи камня и щебня летят веером, вырываясь из облаков. Они летят, как птицы, в разные стороны, падают в реку, и вода огненными фонтанами бьет вверх и рассыпается брызгами.

Балеев любил эту канонаду взрывов, эти могучие извержения огня, камней и дыма: вместе с первым громом и сверканьем молний, волнами крови поднималась в нем молодость. Беспричинная радость рвалась из сердца. Когда-то он обследовал, изучал эти дикие места и своенравие этой реки. Полстолетия бились инженеры над разрешением вопро-

са о том, как бы взять эту реку. Это были смелые люди, с большой дерзостью мысли. Но они состарились, умерли, и от их замыслов остались одни пожелтевшие клочки бумаг и чертежей. И вот только ему, инженеру Балееву, подпольщику в прошлом, удалось сейчас создать этот грандиозный план сооружений, который американские и немецкие эксперты нашли блестящим по своей смелости и простоте. Вот он сам осуществляет в жизни эту мечту: он — в центре этих великих работ. Он несет в себе огромную ответственность перед своей страной, перед целым миром. И как-то странно и удивительно: почему его бывшие порывы и пламенность вдруг помимо сознания перерождались в холодную расчетливость и математическое бесстрашие? Почему он, бывший пропагандист, оратор, журналист, сейчас молчалив, нелюдим и крут характером? Он добр, а его считают бессердечным, он любит интересную, веселую беседу, а его считают необщительным и угрюмым. Почему это? Человек, освоивший мечту и претворяющий ее в жизнь, всегда очевидно находится во власти своего творения. Оно беспощадно к своему творцу. И всегда, как он смотрит на себя в зеркало, он видит, что глаза его глядят внутрь. Волосы на голове и в бороде кажутся жесткими и грубыми, и к ним неприятно прикасаться рукою. И нос у него острый и твердый, как клюв, — недобрый, безжалостный нос.

Он быстро прибрал постель и вышел в столовую. Стол уже был готов: он серебрился чистой скатертью и смеялся блеском посуды.

В комнате было пусто. Сестра Варя по обыкновению — на кухне: она сама готовит ему кофе.

Ага, обычный приветственный писк. Проволочный цилиндр шуршал в быстром вращении. Внутри прыгала белка, встряхивая пышным хвостом. И — знакомый порыв пошалить со зверушкой.

Он прошел в ванную, разделся и пустил душ.

Молочные струи воды зазвенели в белом фарфоре ванны. Тело задрожало судорогами мышц, и под ливнем брызг оно уже не было крепким и скульптурно

твердым, а стекало струями, таяло, играло переливами ручейков. Он извивался, растирал грудь, живот, ноги, смылся с лица упрямую суровость. Брызги пронизывали тело, резали кожу, и он чувствовал, как смывался с него сон и осадки вчерашнего утомления. Он вышел из ванны и нечаянно взглянул в зеркало. Был он молод и строен, и лицо в мокрой бороде и усах, с застывшими в волосах каплями, улыбалось добродушно.

Каждое утро он выходил в столовую новый, бодрый, рожденный из юности. Обычно неразговорчивый, затяжеленный суровыми мыслями, всегда жесткий от спрятанных вопросов, в этот утренний час он являлся к столу с освещенным мозгом.

Сестра Варя, седовласая, стриженная, маленькая, тощенькая, но румяная, с зоркими молниеносными вспышками пенсне, сидела обособленно около никелевого чайника. Она похожа была на хозяйку конспиративной квартиры: чутко ко всему прислушивалась, быстро вскидывала голову, озабоченно настораживалась, и ни одно движение Викентия Михайловича, ни один звук за дверями и окнами не пролетал мимо нее.

— Сегодня ты, Викентий, опять лег очень поздно. Это — возмутительно. Не бережешь ты своего сердца.

Перед ним стоял стакан кофе с молоком, горячая котлета и яичница. Викентий Михайлович прошел мимо сестры и с суровой застенчивостью погладил ее по волосам.

— Ты, Варя, по обыкновению трогательно деспотична. Я старше твоего Кости на двадцать лет, а ты относишься ко мне с большей нетерпимостью, чем к нему. Советую тебе пристальнее приглядеться к сыну: он — любопытен. Мне кажется, что ты кое-что проглядела в нем.

— Мой друг, я чувствую, что ослепла душой: я уже не узнаю людей.

Опять грохнул потрясающий взрыв. Задребезжали стекла, и зазвенела посуда. Рванулся воздух и упруго подбросил тело.

— Представь, Викентий, я так привыкла к этому грому, что жду его в положенный час. Если бы вдруг деть

прошел без этих взрывов, он был бы глухим и незначительным. Сердце замирает, когда подумаешь, какую ты громоздишь махину... Тебя знает вся страна... весь мир...

— Вношу поправку, Варя: не я строю, а мы строим. Это — заметь.

— Ах, да... массы... Как это просто!.. Без творца эти массы — сырая, стихийная сила.

— Ты смешна, Варя.

— Не хитри, Викентий. Я великолепно знаю тебя. Талант — беспокоен и неудобен для множества, и его стараются обезличить. А ты — скромн и застенчив. Ты беззаботен к самому себе.

— Ты заблуждаешься, мама: дядя творчески обособлен больше, чем ты думаешь.

Константин вошел быстро и возбужденно, порывисто отодвинул стул и сел за стол взволнованно, с блеском в нервном лице, очень чутком и беспокойном. Переплетались и играли в этом лице противоречивые настроения: вызывающий задор, готовность к смеху и пристальная, молчаливая сосредоточенность в себе. Он жадно хватал глазами всякую мелочь, прислушивался и к словам, и к шумам на улице, вспыхивал от взрывов и будто никак не мог оторваться от внутреннего какого-то события, которое опьянило его уже давно. У него — большой лоб, курносый, стертый кверху нос и сдавленное с подбородка лицо с мясистыми губами. Он стал заботливо и быстро намазывать маслом хлеб перед самым лицом.

— Видишь ли, мамаша, индивидуализм со всеми его фиоритурами умер. Всякий индивидуализм — это иллюзия, самообман. Я признаю единственный индивидуализм — это индивидуализм матери, индивидуализм самопожертвования. Но я не признаю филлистерского индивидуализма избранников. Таковых избранников не существует. Пусть простит мне дядя мой нигилизм и непочтительность, но он — не избранник... ни в коем случае. Сольнысы — нелепость. Это — истерическое самообольщение мизантропов.

— Допустим, что ты прав. Но ведь ты же не можешь отрицать своеобразие индивидуальности.

Викентий Михайлович улыбался в усы и смотрел в стол. Ему почему-то было неприятно слушать Константина: будто сын Вари развенчивал его: силу его превращал в самомнение, а творческую волю — в самолюбование неврастеника. Но хмурился не он, а мать. Трепетало вспышками пенсне, вся она сурово выпрямилась от негодования, и лицо застыло в гордых морщинах. Она напомнила Балееву ту давнишнюю Варю, которая умела находчиво и энергично вести все подпольное хозяйство партии и для каждого быть матерью, нежной нянькой и трогательно поднимать человека в собственных его глазах.

— Ну, и олух же ты, Константин! Как можно отрицать самое драгоценное в человеке? Ведь человек ценен только своей оригинальностью и одухотворенностью. Ты стал нечистоплотен с собой. Это — духовное босячество.

— Ох, мама-Варя!.. — Константин весело засмеялся. — Право, когда ты рассуждаешь, ты становишься сварливой. Мне кажется, что все философы похожи на ночных сторожей, которые не видят величия дневной жизни, не выносят людей и обозлены на солнце. Это конечно относится исключительно к философам, а не к тебе, ибо ты не философ.

— Не дури, Константин. Я не шушу. Ты — музыкант. Твое призвание — творчество. Зачем ты здесь? Что тебе здесь нужно?

Константин строго взглянул на ломь хлеба, намазанный маслом.

— Видишь ли, мамаша... мне нужно жить искусством созидания новой жизни. Я хочу быть участником великих событий. Короче, я хочу строить социализм. Мир звуков и образов — это мир человеческих действий, это — я, который хочет воплотиться в эпоху Надеюсь, ты поняла меня.

— Ну, разумеется, Костя. Ты достойно выполняешь творческую роль... табельщика на земельно-скальном. Не менее высокое искусство — топтать бетон на плотине. А, может быть, Викентий пошлет тебя каменоломом. Прекрасные возможности для пианиста!

Глаза Кости заиграли теплой влажностью.

— А что же, мама-Варя... Великая идея уравнивает и пианиста, и каменолома. Во имя идеала, то-есть конкретной великой цели, труд бурильщика равноценен творчеству гения. До сих пор мои пальцы били впустую и лепетали о мистических тайнах души. Все это — чепуха. Шопены и Чайковские, Скрябины и Бетховены — это все эпиграфы далеких времен, непонятных для нашей железной, энергической эпохи. Нет-с, будем открытены: симфонии и сонаты умерших столетий, это — музыкальные некрополи, не больше. Все эти невнятные зовы в неведомые надземности, в сумерки внутренней отрешенности, это — откровения не наших дней, как романтизм прошлого — не наш жизнетворческий пафос. Я хочу жить, жить, как настоящий рабочий наших дней. Для меня сейчас нет иной музыки, кроме музыки массового труда и очень реального созидания будущего. Я хочу расти каждый день на вершок и чувствовать настоящее солнце.

— Не понимаю тебя, Костя. Ведь музыка всегда интимна, и символы ее — всегда сокровенны. Иной музыки быть не может. Во мне все протестует против твоих слов. Если в тебе это засело прочно, ты погиб как музыкант и художник.

Варвара Михайловна повяла, опечалилась, и стекла пенсне блеснули слезами. Балеев скрыто усмехался — усмешка его колюче и сурово искрилась в жестких волосах усов и бороды. Лицо с холодком в глазах склонилось над стаканом с нелюдимой затаенностью.

— Ты как на этот счет, дядя?

— Я не понимаю музыки: мне она всегда казалась скучной и пустой. Судить не могу. Мне представлялось всегда, что она — и не женского, и не мужского рода. Что-то в ней атавистическое и вредное: это, по-моему, кликушество, колдовство и прочее в этом роде.

— Ах, этот Викентий!.. Разве он — судья? Зачем глухих спрашивать о пении соловья? Он — утилитарист... Он никогда не понимал искусства. Нашел, кого спросить...

— А, по-моему, дядя говорит дельно. Традиционная музыка для него — не только бесплодное, но и вредное занятие, как, скажем, куренье опиума.

— О, разумеется! — Варвара Михайловна скорбно опустила голову. — Не лучше ли прекратить этот разговор? Мне он невыносим.

— Я уже оговорился, Варя, насчет музыки: я — глух к ней. Но я знаю другую музыку, — правда, грубую, хаотическую, — музыку из первоисточников, музыку взрывов, металла и электричества. Конечно это — мелодии другого порядка...

Константин слушал Балеева с застывшей улыбкой и любопытством.

— Ты слышишь, мама-Варя? Ты неправа. Дядя — замечательно чуткий человек. Я бы с удовольствием выдвинул его как великолепного музыкального критика. Честное слово, в его немногих словах — целый переворот в искусстве.

— Вас не переспоришь. Я — старая идеалистка. А теперь это не в моде. Я ничего не понимаю, что сейчас происходит. У вас обоих какая-то индустриализация мозга.

Викентий Михайлович улыбался в усы, и баритон его, всегда будничной, скутой на разговоры, всегда недовольный и строгий, с носовым тембром, намешливо (это признак веселости) прозвенел в пустой стакан:

— Тебя, Костя, нужно перевести на экскаватор. Твои взгляды на искусство я приемлю. Хороший музыкант должен быть хорошим механиком на деррике. Чтобы рояль был созвучен эпохе, надо, чтобы пальцы твои чувствовали психику двигателя. Тогда и клавиши зазвучат новой мелодией, чудовищной для уха Вари. Но она привыкнет, как привыкла к взрывам.

По неуловимым судорогам его бровей и морщин на лбу, по переливам перламутра его глаз Варвара Михайловна нутром отмечала его внутреннее состояние. Вот сейчас у него крылышко брови у виска медленно подтягивается, корчится, как плюшевая гусеница, а глаза стали вдруг твердыми и хрупкими, как стекло: кажется, стоит ему быстро повернуться в сторону или вскинуть голову, и они загремят, как ледяшки. Костя заиграл пальцами и засмеялся. Потом быстро вышел из комнаты, точно вспомнил о чем-то, что поразило его. Два грохнуло стран-

ные, могучие аккорды, без мелодии, как гром или далекие перекаты взрывов.

Викентий Михайлович покосился на дверь и усмехнулся.

— Это у него ловко выходит... Тут совсем твоей музыкой не пахнет... Из него выйдет толк...

Он по-юношески вскочил со стула и быстрым порывом отвернул ворот рубашки на груди, и этот привычный жест тоже был молодым и задорным. В комнате было солнечно. Далеко, в воздушной опаловой глубине, стекали зелеными и рыжими потоками склоны холмов, и на огненно-красных террасах земляными разработок и развороченных взрывами скалах пламенными вихрями горела пыль, точно пылала земля, зажженная солнцем. Верхняя половина открытых окон и верхние стекла густо заливались небом.

Викентий Михайлович стоял оксалетки и весь светился от улыбки. Эта улыбка была у него необычайной: никогда ни один из инженеров, служащих и рабочих не видел у него такого лица. Эта улыбка загоралась где-то глубоко внутри и наивно струилась не только по лицу, но обливала его всего: если бы кто-нибудь из инженеров увидел его в этот миг, он с изумлением решил бы, что Балеев подвержен припадкам циклотемии—он забывал себя и немел от умиления и детского восторга.

Белка цепко и юрко, как ящерица, с гимнастической гибкостью бегала по его рубашке. Она дымилась на солнце, рассыпала искры, и по шерсти ее струились огоньки. Хвост ее вскидывался кверху, как голубое пламя горелки, а уши брызгали пучками искр. Вся она была заряжена электричеством: поднеси к ее горячей шерсти палец — и из каждого волоска стрельнет ослепительная иголка.

Викентий Михайлович стоял в солнечно-дымном блеске и сам был огненно-прозрачен. Рубашка его горела ослепляющей белизной, и сквозь ее обвисшие складки на боках мутно розовело тело. Он нежно прикоснулся к сизому зверку, а зверок гибко выскользнул из-под руки и, воркуя, хватался за его уши и тыкался в них мордочкой, порхал по груди, зарывался в складки.

Варвара Михайловна грустно мыла посуду, прислушиваясь к себе и к стран-

ной, неслышанной музыке сына. Ярко звенели какие-то свежие созвучия, но быстро гасли в глухих порывах металла. Константин ушел, но оставил в душе слезную боль предчувствия. Какая судьба! Он, Костя, который не знал иной жизни, кроме жизни симфоний, который был воплощением музыкальных образов, сейчас распят: табельщик на скальных выемках! Он — жизнерадостен, и внешний его облик попрежнему ядрен и юношески налит здоровьем. Он даже стал крепче и мускулистее. Но нет уже в нем той внутренней озаренности и особой, свойственной артисту одержимости, которая вдруг охватывала его в неожиданные мгновения. Теперь он стал будничным, бесцветным, множественным. Он уже не говорил о музыке, о концертах, а о кубатуре вырытого камня и щебенки, о подрывных работах, о думпкарах, крапах, экскаваторах, о рабочих бригадах, об интенсивности труда. Что это такое?

Варвара Михайловна посматривала на дверь, будто еще видела его у порога и ловила его улыбку — улыбку обычного человека. Она взглянула на Викентия Михайловича и снисходительно усмехнулась.

«Какой он странный, этот Викентий! Настоящий ребенок. Как мало нужно ему для радости!.. А вот оторвется от этого зверка, выйдет из дому — и будет непроницаем и неприветлив».

— Ну, иди, зверушка! Иди погуляй. пошали...

Балеев с влажной улыбкой растроганного человека прошел к своему стулу очень осторожно, на цыпочках, точно нес на плече стакан с водою. Глаза его глядели белку, нежили и играли с ней.

Он сел на стул и накрыл белку ладонью. Она опять заворковала голубем и быстро слетела на колени. Потом зайчиком запрыгала по столу, и хвост, и уши ее рвались кверху веером искр. Она завилыла среди посуды, любопытно тыкаясь мордочкой в блюдечки, хватаясь за их края, быстро выхватила из сахарницы кусок сахару и закурила его в лапках. И будто только сейчас заметила Варвару Михайловну: бросилась к ней, вспыхивая дымной шерстью. Варвара Михайловна отмахнулась от нее с трусливым отвращением.

— Пошла, пошла... убирайся!.. Нечего тебе здесь... До смерти боюсь... укусишь еще...

Балеев радостно смеялся и над Варей, и над белкой.

— Я никогда не видела, Викентий, чтобы ты так нежно ласкал детей. Сколько у тебя любви к этой живой игрушке!

— У меня, к твоему сведению, не было детей, Варя. К тому же, дети — неуклюжи, плаксы, обрубки какие-то. А посмотри на зверушку: как много в ней жизни, ловкости и изобретательности!

Варвара Михайловна облокотилась на край стола и с пристальной пытливостью уставилась стеклышками пенсне в лицо брата. Лицо его опять пожухло, кожа стала жесткой и ломкой, продольная складка на лбу окаменела. Он встал, небрежно подхватил белку и швырнул ее в клетку. Так же небрежно взял панаму с окна и бросил ее на голову.

— Я с тобой не буду говорить о сыне, Варя. Я знаю, что хочешь мне сказать. Ты видишь, что он не нуждается в твоей опеке. По-моему, у него есть своя твердая установка. Оставь его в покое. Мне он теперь больше нравится, чем прежде. Право, он будет неплохим машинистом на экскаваторе.

— Но, Викентий, ты пойми эту нелепость... Табельщик.... экскаватор.... Это он-то?.. Костя-то?.. Ведь чудовищно! Я не знаю... с ним происходит что-то страшное...

Он поднял голову и сбоку высокомерно скользнул по ней глазами.

— Ты, Варя, не понимаешь его. А для меня он сейчас любопытен. В нем совершаются сложные процессы. Искусства нет, как самодавлеющей сути. Пусть он больше живет работой в котлованах, чем рапсодиями Листа. Извини, но на лохматых музыкантов я смотрю, как на дармоедов и бездельников.

— Ты очень жесток. Ты все обращаешь в шутку и вулгаризируешь.

— Нисколько, Варя. Правда, наша музыка не по плечу скрипачу и пианисту. Но меня радуют его порывы к физическому труду. Он просто хочет жить здоровой жизнью. И твое беспокойство и печаль только радуют меня.

— Но ты пойми меня, Викентий. Он потухает из года в год. Это началось еще с первых лет военного коммунизма. Вдруг ни с того, ни с сего он выкопал где-то флют-гармонию и пошел по рабочим дворам, в красноармейские казармы и по целым дням стал играть самые простые мелодии. Подговорил какую-то певицу, и они с год, как бродяги и нищие, шатались из двора во двор, из казармы в казарму. Сначала думали, что они собирают милостыню: совали им хлеб, сахар... А они отводили их руки. Нет, видишь ли, они несли свою музыку в массы для того, чтобы поддержать дух рабочих и красноармейцев в тяжелые дни голода и гражданской войны. Этих чудаков привыкли ждать каждый день, в определенный час, и люди валили к ним толпами. Потом они удрали на фронт и полгода блуждали там под пулями. А теперь — новое чудодействие. Впрочем певица опаматовалась и хотела возвратиться в театр, но... голоса уже не было. В отчаянии она пыталась два раза покончить с собой.

— Очень любопытно, Варя. У той не выдержала кишка, а Константин чувствует жизнь: он нашел себя и будет управлять локомотивным краном. Он чувствует настоящую жизнь и людей. Не беспокойся — он знает свой путь, и с него теперь не сойдет.

Как странно, что это тот Викентий, ее брат, которого она знала с детства. Кажется, что он был совсем иным и в юности, и даже в подполье — сердечнее, мягче. Впрочем, со студенческих лет он рос в тюрьмах, в эмиграции. Тогда, в молодости, она знала всех его товарищей-революционеров: они проходили через ее квартиру. Но их отделяла от нее какая-то неуловимая тайна, и этой тайной был покрыт и он, ее брат. Эта тайна окутывала каждого из этих людей, как некая густая прозрачная среда. Варвара Михайловна видела их лица, слышала их голоса, но люди казались ей призраками, несущими в себе какую-то необычайную, непосильную для нее жизнь, где страдания и радости, самоотречение и строгая забота о собственной духовной чистоте, беспощадная суровость в борьбе и нежная сердечность сливались воедино. Ей они казались существами какой-то иной, не здешней

жизни, и она боялась их и преклонялась перед ними. Викентий и сейчас нес в себе эту знакомую ей, непостижимую силу: он давил ее и казался ей и непонятным, и необыкновенным, но уже иным, не прежним.

— С искусством шутить нельзя, Викентий: как ни насилуй его, как ни глуши его, оно взорвется и сожжет огнем. Борьба с искусством — это ладонью ловить бурю.

— Искусство, Варя, — не мистическая сила: это только обычная функция мозга. Надо быть хозяином своих талантов, то-есть уметь распорядиться ими в интересах общественной пользы.

— Ты — утилитарист, Викентий.

— Да, я — утилитарист, Варя. Надо жить и мыслить так, чтобы каждое твое действие и каждое слово были нераздельны и давали максимум полезного эффекта.

— Ты отрицаешь красоту и сводишь все к поденщине.

— Красота — не призраки и не фантазия, а стройная система воспроизводства реальных ценностей.

Варвара Михайловна умолкла, жалкая и убитая.

VIII

Каждое утро, с семи до десяти, Балеев ходил по участкам работ. Широкоплечий, высокий, длинноногий, в белой косоворотке, в сапогах, в старой панаме, шел он быстро, без усилий, как человек, привыкший к ходьбе. Его замечали еще издали: его нельзя было смешать ни с кем из инженеров. При каждом его размашистом шаге с уверенным упором ног он стремительно рвался вперед, в энергичном выбрасывании плеч, в сдержанном полете рук. И когда он останавливался где-нибудь на гранитном выступе или на скале, или на отвалах земли, в этой крепкой сбитой фигуре дышало властное сознание хозяйственной ответственности. И всегда, как только он появлялся на склонах холмов или выростал среди людей, все начинали работать с особенным упором, точно он, этот по-рабочему одетый человек, возбуждал тревогу и скрытую лихорадку в мускулах.

В это огненное утро Балеев, как обычно, вышел из дому один. Он пошagal

не по улице, вязкой и удушливой от песку, а через заднюю калитку. Пахло конопельной прелью крапивы, горьким хмелем трав, горячим зноем пережженной земли. Да, запахи древности — седые запахи стихий. Былые кочевья номадов... ковыль и бурьян. Сивые старики, овчинные волосы мужиков. Соха и избяной дух славян. Дохлая кляча и навоз. И песня, похожая на рыдания, и плач бабы, как визг горького полынка...

Это было недавно. Наши годы — это эпохи. Степь в бурьянах и ковыле, поля, затоптанные множеством людей и лошадей, мутные, прибитые дождями и ветром, обеспокоенные, покинутые землеробом, сглаженные и разорванные извивными и ветвистыми канавами — руслами весенних и дождевых потоков, — уже преобразались новыми людьми и их делами: тут уже не будет больше ни стада, ни плуга в волнах чернозема. Этой земли не покроеет больше ни запах плодородных отбросов, ни горький аромат полыни: она уже не будет пустынно стонать и жутко тревожить ночными призраками предгрозя.

Внизу, в раструбе оврага, на песчаной отмели берега, высокой сизой стеной мола врезалась в середину реки ряжевая перемычка, и из ее развороченной каменной утробы громоздились в высь бетонные громады устоев будущей плотины. Все это еще — хаос, это еще неоформленный скелет сооружения. Уже возводится железо-бетонное здание электростанции мощностью в миллион лошадиных сил. Эта работа поглощает целые составы поездов с бетоном, — десять цементных заводов выбрасывают сюда всю свою продукцию.

Сверкали зелеными и фиолетовыми искрами мухи и звенели металлическими струнками. Роями бронзовых мух пели далекие пневматические сверла бурильщиков. Глухим барабаном в оркестре рокотали компрессоры. Все хорошо и могуче. День гремит железной симфонией труда. И он, Балеев, — чуткий и строгий дирижер в этом оркестре.

Он быстро и легко вбежал по песчаной дорожке на каменистое ребро холма и остановился. Перед ним проваливалась глубоко вниз гранитная пропасть,

как кратер вулкана. По дну траншей стекал туда волнистый блеск рельсов. Здесь перфораторы ревели, как пропеллеры, и казалось, что воздух из этой огромной ямины вихрями рвался вверх и каменной гарью обжигал лицо.

Горела земля, воздух был знойно густ и сушил губы и глаза, с реки волнами наплывал удушливый запах тины и водорослей. Разбухало лицо, тело тосковало от изнурения. Рубаха была уже совсем мокрая, и лицо и спину щекотали ручки пота. Труд! Эти толпы людей, которые муравьями копошились в расселинах скал, распаренные душой и работой, заражали Балеева напряжением. Но вместе с этой бодростью ныла тревога: с некоторых пор эти люди таяли, и темпы работ замедлялись. Чувствовалась растерянность технического персонала, и каждый день отдел экономики труда надоедно доносил ему об отливе рабочей силы и трусливо намекал о прорыве. Уединенный в себе, Викентий Михайлович ревниво относился к независимости своего аппарата. Ему казалось, — и многие ему намекали каждый день, — что организации посягают на эту независимость и ведут против него постоянную борьбу. Руководители этих организаций не раз публично нападали на него за преднамеренный отрыв от масс, от руководящих сил. Он нервничал. Умный, твердый, уравновешенный в делах, он раздражался, когда говорилось о взаимоотношениях с организациями. Создавалась атмосфера взаимного недоверия. Эта взаимная вражда была затяжной, и Балееву внушали, что организации сами углубляют и усложняют процессы брожения и дезорганизуют рабочих. Мышиная возня ничтожеств, склока и барахтанье в мутной луже. Он, Балеев, стоит выше этих дряг.

Он спустился вниз по ступеням гранитов и, когда сходил по этим камням в зеленых лишаях плесени, чувствовал, что ноги его крепки и упруги, что весь он здоров и силен, кровь его густа, горяча и, как в крепком нервном узле, сходятся в нем все силы, которые, действуют в разных местах территории строительства. И здоров он, и бодр, и сила его плещет через край только потому, что он сам — во власти этих про-

цессов, он сам — только трепетная точка пересечения всех этих сил, и эти силы превращают его в аккумулятор организованной энергии. И сердце его, которое раньше доводило его до припадков и мутило его мозг ужасом смерти, сейчас работает без перебоев, как хороший многосильный двигатель.

Прораб Шепель, тощий и высокий, с бледным загаром на очень узком и вытянутом лице, с холодными, умными глазами, предупредительно снял кепку и шагнул к нему, как к хозяину, готовый к услугам.

Оба — и Балеев, и Шепель — были неразговорчивы и сейчас, при встрече, молча стояли рядом и смотрели на работы. Работы в каменной пыли, в брезентовой прозодежде сливались с окраской серых гранитов. Они двигались по изуродованным разрывам скал на террасах разработок, возились в остро-ребрых массивах, дрожали вместе с перфораторами и сами похожи были на камни, а эти вороха каменных глыб и обломков скал тоже были живые: они дрожали и двигались вместе с рабочими

— Сегодня, Викентий Михайлович, я принимаю два новых «марриона» и три машины Сандерсона: .. одну — сюда, две — на плотину.

— Когда они будут у вас в действии?

— Сегодня после обеденного перерыва.

— Не успеете, Шепель.

— «Сандерсоны» будут доставлены в час дня точно.

— Посмотрим. Сомневаюсь. — Балеев скептически, но удовлетворенно улыбнулся. Он не смотрел на Шепеля, а следил за рабочими. Он хорошо знал Шепеля: этот бесстрастный, похожий на камень человек, точный, как автомат, говорит только о том, что делает, будто отмечает по хронометру выполнение положенного цикла заданий. — Посмотрим, Шепель. Я приду проверить.

— Они будут на месте, Викентий Михайлович. В два часа мы их пустим в действие.

— Приду в три часа, чтобы лично удостовериться. Имейте в виду, Шепель, что на всех участках работ — неблагоприятно: отлив рабочей силы.

Шепель невозмутимо, с холодным удивлением взглянул на него и опять

бесстрастно отвернулся. Он вынул портсигар и почтительно протянул его Балееву. Тот, не глядя на него, взял папиросу.

— Вы, Шепель, впервые, угощаете меня папиросами.

Шепель резко, но вежливо, с гордым отчуждением отрапортовал, не глядя на Балеева:

— Раз я поставлен на работы Викентий Михайлович, я должен выполнять свои обязанности без перебоев. Бегут сырые силы — недавнего набора. Лишние машины не только восполнят недовыработку, но и превысят норму.

— А завтра, Шепель? Через день, через два паника может охватить всю массу ваших рабочих, и вы останетесь, как рак на мели.

— Я буду сам работать вместе с десятниками и бригадирами.

— Вы говорите глупости, Шепель.

— Управление Главинжа и профорганизации не допустят до оголения фронта работ. Я своих рабочих знаю и уверен в их устойчивости.

— Когда зараза распространяется вширь и вглубь, вы сами можете оказаться жертвой событий. Мне не нравится ваша самоуверенность.

— Викентий Михайлович! — Шепель гордо глядел прямо в глаза Балееву. — Я не привык бросать своих слов на ветер. Вы не можете упрекнуть меня в легкомыслии. Если на других объектах будет развал, у меня все будет крепко стоять на своих ногах. Основной кадр моих рабочих в достаточной степени воспитан механизмами. Тот, кто вжился в машину, не может оторваться от нее безнаказанно: машина, которой овладел рабочий, утверждает строгую дисциплину.

— Вы, Шепель, хорошо рассуждаете, но ваша философия неожиданно может крахнуть перед фактами. Самоуверенность крива на один глаз.

Балеев говорил строго и раздраженно, но в душе он любовался Шепелем: такой человек не дрогнет перед опасностью. Он не сомневался: этот объект работ — в надежных руках, здесь не может быть прорывов.

Он нервно забеспокоился, зорко следя за рабочими по погрузке камней.

Крикнул он сварливо, пронзительно, со скрипом в горле.

— Вы вот, Шепель, мне зубы заговариваете, а посмотрите: рабочие у вас, как пьяные. Это — не рабочие, а колбасы. Видите — сиделки и закурочки.

Шепель даже не взглянул на сезонников. Он курил с суровой и твердой сосредоточенностью.

— Механизация, Викентий Михайлович, заставит их подчиниться своему ритму. Это — не рабочие, а навозники. Они еще не приспособились к работе механизмов. Это — неизбежная болезнь перерождения.

— Удерут они от вас, Шепель.

— Пусть ударают, на их место будут другие. Мы производим отбор, — так бывает всегда.

Шепель точно сам был механизмом какого-то сложного двигателя. И Балееву стало не по себе около него: дотронься до его плеча, и рука ощутит твердость металла.

«У меня есть что-то от этой деревенщины: я волнуюсь от каждого пустяка. на меня действует солнце и река. Наша неуравновешенность — от хаоса, от ручного труда, от первобытности, от отсутствия ритма. А вот он, Шепель, живет только ритмом двигателя, и слова его и мысли — точное отражение психики машины; она очевидно ближе, роднее, понятнее ему, чем человек. Он всегда будет честен и точен. Он бессилен изменить себе. У него нет ни проклятых вопросов, ни злых умыслов».

— Вы — холостой, товарищ Шепель?

Шепель быстро повернул к нему лицо, в изумлении отвел руку с папиросой и растерянно улыбнулся. Видно было, что он в первое мгновение не понял Балеева и испугался. Этот вопрос Викентия Михайловича был не обычен и не касался прямых его обязанностей: он опрокидывал его мысли и его рабочую устойчивость, нарушал его ритм. Балеев некстати открывал клапан его личного бытия, которое не существовало для него в эти часы.

— Я женат, и у меня — двое детей: мальчик и девочка.

— Ах, вот как! Я был уверен, что вы — одинок. Они живут здесь, с вами?

— Я здесь имею комнату. У меня больна девочка. У ней — туберкулез

И голос у него вдруг стал мягким и грустным, странно усталым. Балеев заметил, что губы у него дрогнули в судороге и затрепетала ноздря.

«Это — удивительный человек. Он, кажется, сейчас заплачет. Кто бы мог подумать, что этот механизм способен к чувствительности?»

— Анечке уже десять лет. Она лежит пластом. Ночи проходят у нас очень мучительно. Ребенок страшно страдает.

— Разрешите мне зайти к вам и посмотреть вашу девочку. Может быть, что-нибудь можно предпринять общими силами.

— Благодарю вас, Викентий Михайлович. Я буду бесконечно рад.

Как в сущности мы мало знаем людей! Этот холодный истукан совсем не то, что о нем думал Балеев. А может ли кто подумать, что у Викентия Михайловича, начальника объединенного строительства, есть слабость к зверкам? Его все считают жестким человеком, и никто не поверит, что он, в сущности, тоскует по человеческой душе, что он — одинок, что он нуждается в самой простой ласке. Если бы у него была жена и ребенок, он, кажется, стал бы совсем другим человеком. А жизнь проходит, и эти простые слабости приходится скрывать, как тайну...

Где-то внизу, под скалой, жесточно били камнем по металлу. Фыркал и бил мотоциклом перфоратор, задыхался, захлебывался, и опять били камнем по металлу. Кто-то внизу ругался и в ярости колотил железом по железу.

Шепель вдруг опять стал прежним, подошел к краю обрыва и посмотрел вниз.

— Заело.

Балеев тоже подошел к обрыву и увидел, как бурильщик, весь банный от пота, оскалив зубы, изо всех сил колотил железом по стержню перфоратора. Рабочий уже бился в иступлении, глаза его выползали из век, слепые, без мысли, и улыбка страдальчески застыла на губах, как у сумасшедшего. Балеев внезапно почувствовал острый укол в сердце и затрясся в припадке гнева.

— Ну, что ты колотишь, чортова голова? Чего колотишь? Балда ты! Ведь

сам виноват в порче инструмента. Я прикажу сделать вычет из твоего жалованья.

Шепель сбежал с обрыва, подошел с обычным спокойствием к перфоратору и ловко рассчитанными движениями начал его исследовать. Рабочий смущенно толкался около него и вытирал рукавом пот. Шепель заиграл пальцами по пневматической коробке на тяжелом треножнике, провел рукою несколько раз по бурильному стержню, и они с парнем стали быстро работать над аппаратом.

IX

В прошлом году река, подпертая перемычками, неслась здесь густым, стремительным напором. Теперь она бурлит в левом протоке с грохотом далекого водопада, несется по крутому уклону, по отвалам каменного бута от взорванных перемычек, в прорывах между бетонными быками будущей плотины. Вершины этих быков видны из глубины котлована, как боевые башни. Снизу они кажутся головокруглительно высокими.

Балеев шагал по развороченному взрывами дну, по отшлифованным гранитным наплывам, по дюнам мельчайшего промытого песку. Из сумеречных, грязных пещер—пролетов, между рядами, отгороженными от реки бетонными шандорами,—журчала по камням вода. Эти ручьи играли на солнце, ветвились и вливались один в другой. И уже в самых глубоких местах порожиисто курлыкала маленькая речка в уступах скал, вливаясь в бурое озеро, засоренное щепками, чурбаками и досками. Низкими струнами пели электромоторы мощных насосов. Вода поднималась по членистым трубам на высоту перемычек и с ревом выбрасывалась в реку. Всюду громоздились кучи камней, щебня, горы песку, ветвились узенькие изогнутые параллели рельсов, с вереницами ржавых вагонеток, широкими накатанными аргериями напрягались ширококолейные волнистые рельсы на шпалах. На рельсах стояли площадки и думпкары, а в скалы упирались мордами «марионы».

По горбылям скал у задней перемышки и на верхушках гладких караваев, обточенных водоворотами, растопыркою, в неудобных позах, с трудом сохраняя равновесие, трое бурильщиков дрожали на перфораторах, которые с оглушительным дребезгом грызли гранит.

Несколько рабочих сидели на камнях, бездельно курили, жмурились от солнца и скалили зубы. Около них стоял маслянисто-потный кран, вытягивал над ними острую вершину треугольника и ждал их в покорной неподвижности. В кабинке, среди сложной путаницы зубчаток и рычагов, возился механик и что-то разбирал, подвигивал и постукивал металлом.

— Это еще что такое за канитель? — пронзительно крикнул Балеев: — Почему вы бездельничаете?

Рабочие переглянулись, и в глазах их хитренько заиграли искорки. Один из них сделал грустное лицо и ткнул пальцем в машину.

— Порча у нее произошла. То ли зазор, то ли запор...

Вдоль верхней аркады, на ряжевых устоях, очень высоко, вровень с мостовой настилкой, стояли тоже пузатые краны. Жесткие деррики горели алым пламенем арматуры. Наверху, за парапетами, ходили и хлопотали люди — рабочие, техники, десятники, просто прохожие, женщины с кошолками и толпы экскурсантов. Здесь каждый день очень много приезжих и зевак, которые засоряют все участки строительства, толкаются среди рабочих и мешают всем на каждом шагу. Балеев махнул рукою и пошел дальше.

С каждым шагом он чувствовал, что погружается в тишину в пустынную. Котлован стал будто шире и глубже, но скалы выпучивались террасами и свежими, еще не остывшими разрывами. Перфораторы почему-то замолкли внезапно, и Балеев стало не по себе: он здесь один, маленький, беспомощный, на дне этих громад. Даже люди, которые только-что возились среди камней, и утесов, вдруг исчезли, — ушли они или спрятались в цементно-сизых свалках пород и застывших машин? Их прозодежда восприняла окраску каменных отвалов и смешалась с ними по закону мимикрии. Глубокое дыхание пу-

стоты, болотного гниения, брошенной каменоломни, окоченевших машин и вагонеток давило первобытной жутью. Труд отступил перед мертвыми гранитами, челоовек исчез, и машины — и краны, и деррики, и экскаваторы — задохнулись и окаменели. Ажурные устои ряжей, туго набитых камнями, стояли, как обомшелые башни, и пролеты между ними, как сумеречные глубокие ниши, темнели плесенной древностью.

И Викентий Михайлович впервые испытывал странную оторопь перед этими скалами, которые громоздились со всех сторон и близко, и далеко. Потухший кратер, дикий горный цирк, пылающий солнечным жаром. И камни, и скалы — в огне, и кажется, что потоки зеленой воды, сверкающей под ногами, кипят и удушливо обдают его вонючим угаром. Что это? Мстит природа человеку? За этот месяц в котловане не произошло почти никаких изменений в конфигурации. Бесчисленные взрывы как будто порхали по поверхностным слоям этих скал и отшлифованных горбылей. Только кучи щебня и сахарные обломки засоряют дно по всему размаху глубокой впадины, изуродованной каменными волнами. Граниты не поддаются массовым усилиям человеческого труда. Бурильные станки обеззубели, оксидквиты испаряются в бездействии. Балеев остановился, озираясь на глыбы утесов, на пустынную заброшенность котлована, и вдруг услышал, что в этой душной ямине его шаги стонут эхом. Это уже пугает. Вот он здесь один, а людей нет, и, надо признаться, ему немного страшно. Он, строитель, организатор созидания, — ничтожен и покинут, а если бы сейчас он крикнул и голос его, как обычно, с пронзительной суровостью прорезал котлован по всем закоулкам, — это было бы и смешно, и глупо: его голос пророкотал бы в собственных откликах, и он сразу, до боли, до острого стыда почувствовал бы себя опозоренным, как мальчишка. Люди, которые бродят по настилам ряжей наверху, и, опираясь на парапеты, бездельно смотрят вниз, маленькие, неизвестно откуда, неизвестно зачем пришедшие сюда, засмеялись бы и уморительно замахали руками. Хоть бы кто-нибудь по-

пался ему на пути, — точно все вымерли. Испугались его? или смотрят исподтишка, из-за камней и, затаив дыхание, следят за его поведением?

Ясно одно: работы парализованы, и отовсюду смотрит на него катастрофа. Она — неотвратима, и помешать ей сейчас нет никаких сил. Это уже — стихия, и она — не в его власти. Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным и ненужным. Перед ним стала какая-то страшная тень, и перед этой тенью, плывущей отовсюду, замирает сердце. Крушение. Гибель. Ужасный провал в его жизни. А вдруг его власть над людьми и над всей системой этого созидания—самообман? А вдруг все эти тысячи людей, начиная от начальников работ, от прорабов до каменоломов подчиняются законам, которые живут помимо него, и сам он, не сознавая этого, является только одной из незаметных единиц, которая рабски, как ничтожная клеточка в организме, обречена выполнять ту волю, которая творится этими всеильными законами жизни? Что можно сейчас сделать, как вызвать к действию этот умерший мир?

«Как корова языком слизнула...» — усмехнулся Викентий Михайлович. Он опозорен и освистан, и нет у него ни авторитета, ни силы хозяина. Вот он здесь один, жалкий и гордый, и никому нет до него никакого дела. Люди спрятались, схлынули с котлована и, может быть, сейчас смотрят на него отовсюду и хохочут над его комической особой, а ему и камнем бросить не в кого.

«Корова — языком... Чепуха! Почему корова?.. Язык заднего крестьянского двора в устах строителя мирового гиганта... Вот эта плесень мужицкого словаря — плесень мужицкого разгильдяйства, мужицких изьяных привычек и косности. Это нам показывает себя стое-росовая, лопотная стихия. Попробуй-ка сейчас взять ее за гашник! Организации... Актив Ватагина... Где его сила и власть над массаами?»

И он вспомнил, как однажды рабочком предъявил ему требование о контроле общественных организаций над на-

бором технического персонала, над пригодностью его на строительстве, о чистке управленческого аппарата. Он вежливо показал на дверь, а на многочисленном делегатском собрании властным жестом отверг их домогательства: это — вмешательство в его прямые функции, в специфику его работы, как начальника строительства. Зал сотрясался от возбуждения, а он, как никогда, чувствовал себя сильным, непоколебимым и большим, почти монументально подавляющим. Он после этого ушел независимо и даже не взглянул ни на кого. Мелькнули только в последние мгновения лица Ватагина и предрабочкома и еще кого-то из президиума. Издали, в сумерках зала, — и тут внизу, у авансцены, и там, в перспективе удаляющихся и поднимающихся рядов, — виден был угрюмый ливень глаз и опаленных тревогой лиц. Ватагин был спокоен и строг. Он не обращал внимания на Балеева, точно его здесь не было.

«Он с выдержкой, этот Ватагин. Он умеет владеть своей силой. До сих пор он еще не позволял дотронуться до себя».

Нахлынула новая глухая волна предчувствия. Мирное курлыканье ручьев зеленой воды и странная возня и вздохи каких-то внутренних сил в недрах перемычек и гранитов раздавили его: ведь этот внезапный паралич котлована — катаклизм, и в этом катаклизме он первый летит в пропасть и будет погребен под обломками. Ведь его горделивые мысли о себе, как о властной созидательной силе, — смешны. Он сейчас более ничтожен, чем Ватагин и все эти общественные организации. Их вожди уйдут, исчезнут, а организации останутся и, выдвинут новых вождей — они поорут, передерутся, но все-таки перестроятся и начнут стягивать свои силы: их мощь — во множестве, в артельном духе, в массовом устремлении. А в чем сила его, Балеева? Ему не на кого опереться. Его инженеры, его технологи-спецы — инертная сила: они приходят в движение только в процессах совершающихся работ, как колеса сложного механизма. Но в этот момент полной летаргии работ они сами — в аго-

нии. Что он может сделать сейчас, в этот миг торжества мертвой стихии? Он даже не может крикнуть, чтобы позвать своих командиров и приказать им оживить этот участок работ. Это уже выше его сил и власти. Его даже не видно здесь, среди змеино-серых скал, среди отвалов камней и щебня. Зачем он здесь сейчас, такой нелепый и кукольно-ничтожный с своим смешным самообольщением? Он сейчас здесь, как генерал разбитой и уничтоженной армии. Что он может сказать веского и значительного в управлении, в техническом совете? Ему просто стыдно, стыдно и страшно по-настоящему, как очень простому, покинутому человеку. Ему даже не под силу поднять сейчас глаза на перемишки, где бродят люди. Несколько человек плечом к плечу опирались на парапет и смотрели вниз, тыкали пальцами и скалили зубы. Бешенство, стыд и страх — нет, просто тупая трусость — судорогой сводили нутро. Крикнуть им — смешно, глупо, унижительно; промолчать и пойти назад — унижительно, глупо, смешно. И в своей гордости он почувствовал, что все-таки сейчас самый близкий ему человек, с которым бы он мог говорить откровенно, не стесняясь своего страха и беспомощности, это — Ватагин. В глубине души он знал, что этот парень рабочего облика не посмеется над ним, не прищурит хитренько глаз, не солжет ему, не будет скрытно злорадствовать, как эти его благородные и воспитанные спецы. Но все-таки это значит — итти в Каноссу, значит — отдать себя во власть этого человека, с которым он держал себя замкнуто, на почтительном расстоянии.

Внезапно он увидел неподалеку, за отвалом щебня, за выступом скалы артель людей в мешкотной прозодежде. Наверху, на ряжемом устое, бойко орудовал жесткий деррик. Такелажник дирижировал рукою и певуче покрикивал фальцетом:

— Майна-майна!.. Вира!..

Артель сезонников возилась над камнями вчерашних и утренних взрывов. Ног их не было видно за скалами и камнями, ворошились только головы и горбатые спины. Экскаватор над скалой поднимал кубическую башку,

уносил ее куда-то в сторону, и только фистулой, в плясовой надсаде шипел пар где-то очень глубоко в яме да металлически хрюкала от усилий и громахала камнями чудовищная стальная химера.

«Это любопытно...» — Викентий Михайлович юрко встряхнулся и, всматриваясь в суетливую возню серых спин и смятых картузов, с изумленными бровями пошагал к ним сначала нерешительно, в раздумьи, потом ускорил шаг, размахивая руками, с насмешливой судорогой в усах.

«Нет, это — любопытно. Эти дуболобые михрютки что-то упрямо прут против течения. Они даже не обращают внимания на эту могилу».

Он остановился в расселине между глыбами гранитов и стал наблюдать за этой небольшой артелью рабочих. Собственно, работали две артели по четыре человека: одна — под дерриком, на подеме крупных гранитов, а другая — у экскаватора и вагонеток по погрузке щебня. Среди пустынной тишины котлована они с непонятным упрямством и увлечением, с суровым одушевлением, бойко, без обычной оглядки, без ленивой прищурки на солнце уминали щебень и зеленую грязь и боролись с угловатыми камнями, откатывали и подкатывали вагонетки. Они обливались потом, лица их, бородатые и безбородые, были коричневые. Пот заливал глаза, а они не отрывались от работы, грязными рукавами стирали с лиц рыжую грязь. Пегий мужик похозяйски хлопотал около троса деррика, подталкивая мужиков, хватался сам за крюк, когда он не давался рабочим.

— Ну-ка, ну-ка, ребята!.. наддай-ка!.. Надо закончить к обеду с этими свинками.. а то, окаянные, протухнут... Подцепляй ее за ухо, сорока-барыня, подтолдыкивай!.. Эй, ты, такелажник, подтягни гашник, арап!

Рабочие сопели от натуги и угрюмо, со скрытой ненавистью поглядывали и на камни, и на трос, и на свои руки, но работали торопливо, и изо всех сил старались перегнуть тех парней, которые возились у экскаватора. Молодой парень в кепке озорно вспрыгнул на

вагонетку, которую откатывали рабочие от экскаватора, и заорал мужикам у деррика:

— Матвей, как же ты, душегуб, с такелажником поступаешь беззаботно? Сердца у гебя нет, бригадир. Ведь в пот его вогнал — в конце зарезал. Эх, Матрены нет во свидетелях. Уж она бы в сахарные уста тебя поцеловала, сиво-го, несомненно.

Матвей даже не взглянул на парня, гочно считал ниже своего достоинства отвечать на его балагурство. Он заботливо и привередливо прищурился на камни, на отвалы щебня, прицеливался к машинам и строго проверял острыми глазками работу людей.

Мужик с чახлой бороденкой не выдержал — сел на камень, изнуренно опустил голову и осовело уставился себе в лапти. Плечи его поднимались и опускались от удущья, руки дрожали, и с носа раз за разом падали мутные капли пота, вспыхивая на солнце. Матвей взглянул на него из-за скулы, споткнулся, подумал немножко и зашагал к нему, шоркая зелеными опорками. Он поднял лом, брошенный мужиком у своих лаптей, и обидно усмехнулся.

— Вот оно, сорока-барыня! Выходит, я за тебя должен твою работу дodelывать. Обет на себя наложил, поручкой закрепился, а честь — себе под задницу.

Задыхаясь, мужик промычал, не поднимая головы:

— Невтерпежь, Матвей Егоров... Одышка у меня, сердце зашло. Козырь этот мой тебе знакомый. Незамай начас...

Матвей добродушно и беззлобно ударил ломом по камням, и звон железной палки слился с его словами:

— Честь, друг, дороже жизни... Бросил лом, отяжелел зад — значит ты — в нетях. Вот как, сорока-барыня.

И он неторопливо пошел к кучке рабочих. Мужик поднял голову, одурело поглядел на его опорки и вдруг вскочил с камня, задылял за Матвеем и замычал в одышке:

— А ты лом-то брось, Матвей Егоров. Я души не убью. Зря уволок лом-го...

Матвей остановился, и лицо его за-лоснилось от сердитого участия.

— Ну, ты... сорока-барыня... отво-няйся... Ты — не калика переходжий, а лом — не клюшка. Каждая вещь должна быть в своих руках. Я за тебя поворожаю...

— Нет, Матвей Егоров... Огудобило маленько... болезнь-то бабья...

Он степенно взял лом из рук Матвея и пошел на место дрыхлым шагом.

— Эх, ты, Микита-мякина!.. Ладный ты мужик, только с защаблинкой. Худой из тебя активист...

И Матвей пошел, не оглядываясь, к экскаватору. Там покрикивал и весело разорлся парень в кепке.

Эти рабочие точно не видели пустоты котлована, точно их мир ограничивался одним этим местом. Какое им дело до того, что где-то, в необъятном размахе скал и провалов, густо оседала тишина! Они делали свое дело по непонятной причине. Паника не захватила их, и их бодрая напряженная работа только углубляла эту жуткую смерть котлована. Их работа — грохот экскаватора и свист деррика — замирающим эхом рокотала по глубинам и утесам. Пройдет час, а может быть, несколько минут, и стон каменного молчания встревожит их смутным предчувствием. Они испуганно будут озираться и вдруг увидят, что они — одни, брошены всеми, и опрометью побегут один за другим по лестницам вверх на перемычки. В чем дело? Откуда эта торопливая старательность? Почему эти люди как будто на зло всем, на зло этой брошенной тишине, с таким воодушевлением возьются около машин? И Балеев изумился еще более, когда заметил, что эти мужики не тратят по-деревенски своих сил, — не лопатки в их руках, не голыми мускулами орудуют они, а умело и ловко используют и экскаватор, и деррик при каждом своем движении. И это — не квалифицированные рабочие, а деревенские бородачи, лапотники, сырая сила, которую нужно приучить к механизированному труду.

Парень скалил зубы и победоносно осматривался по сторонам. И оттого, что везде камни и скалы лежали труп-

ми, а люди исчезли, бросив инструменты и машины, а эти треножки и краны с обвисшими тросами мертво и зловеще стояли на камнях и на рельсах, ненужные и почему-то страшные, — парень как будто ликовал от этого и подплясывал на вагонетке. Он свистнул в пальцы, и этот свист откликнулся в разных местах котлована. И от этого свиста котлован стал будто глубже и первобытнее.

— Гляди-ка, браток, нигде ни звания, окромя падали... Вычистило под метлу. Ну, и картина!.. Несомненно, мы здесь — герои, Матвей, чистые, по твоим собственным словам, арапы. При нашей ударной производительности труда мы единственно взяли правильную линию. Поле сражения мы держим в своих боевых руках. Выдержим, Матвей! Несомненно. Какого чорта паровоз там торчит? Вот, сволочь! Ну, прыгай сюда... ты! блоха черномазая!

И он, надувая щеки, опять с наслаждением пронзительно свистнул.

— Только пшикает, подлец, паровая чахотка...

И он замахал рукою. Но лицо его было озорное, и глаза играли задорным смехом, точно эта тишина и заглохший зной были любопытны для него и забавны.

Паровозик позади Балеева крикнул и зарокотал рельсами.

Матвей внимательно осматривался и соображал что-то, прищуриваясь по-хозяйски.

Викентий Михайлович повернул назад и зашагал по камням, прыгая через ручьи и грязные лужи. Это такой миг, который ценнее и значительнее огромного напора массового труда. Трепетала какая-то горячая жилка в груди, и горло больно и радостно сжимала судорога. Нет, жизнь не умерла: ее нельзя убить. В этой группе людей, простых и значительных, — целая эпоха. И все его горделивые мысли, которые волновали его так недавно, показались хвастливыми и ничтожными. Он — только бессильная, оторванная от этой стихии единица. Он раздавлен и смят этим парнем, этим неведомым Матвеем, этими пыльными людьми. И если бы его не было на этом строительстве и никто не

знал бы о его существовании, эти люди вот так же возились бы здесь, в этих камнях, в прогорклом, болотном зное котлована.

Неподалеку от него крылато мхал полами макинтоша прораб Вихляев. Он шагал широко, уверенно, деловито, скривив голову набок, точно в котловане работа шла бесперебойно, и как будто здесь совсем ничего не случилось. Балеев хотел остановить его, но усмехнулся вздрагивающими усами и направился к трапу, который круто взлетал на ряжевый устой.

Х

В парткоме был очень горячий день — экстренное заседание бюро о переклещении всей партийной работы на плотину — на самый ответственный и опасный участок, на котлован и бетон. Все члены бюро были распределены по объектам работ. На скальные — заоргинстр Гудим, как бывший политрук, с военной выправкой, спокойный до холода в глазах. На шлюз — тщедушный завкультпроп Цезарь. Имя у него хотя и внушительное, но по здоровью — на шлюзе для него самое удобное место. На бетон — секретарь комсомола Васяй. Осокин — по мобилизации масс на ударные участки. Женорганизатору Бочке (она — крупнотелая, в очках, кличка — подпольная) — мобилизацию женщин, домашних работниц. Потом ездили по ячейкам, профсоюзам подготовить работу на местах. Когда возвращались обратно, неожиданно заплескались на холме знамена, и рабочие всех возрастов — выходники, женщины и девчата — собрались у здания управления и с песнями, организованно пошли по шоссе, по склону взгорья, к парткому. И когда демонстранты проходили по улице поселка, сразу стало тревожно, песенно и многолюдно. А от красного знамени и старых транспарантов («Все силы на борьбу»... «Выполним пятилетку в 4 года»...) улица стала крылатой и нарядной.

Миرون освободился только часов в шесть, тоже возбужденный, тревожный, помолодевший и бодрый от усталости. Он не ел весь день, но голода не чув-

ствовал. Забежал домой, захватил полотенце и пошел купаться. Его догнала Феня и на бегу подхватила под руку. Кудри ее играли буйным вихрем, а лицо от этого казалось маленьким, детским, и короткая верхняя губа и носедоросток кричали от волнения.

— И я — с тобой, Мирон. Сегодня я чувствую себя чортovski хорошо. Революция питается опасностями, а боевой дух — тревогой. С этого дня мы, кажется, вступили в новую эпоху.

— Ты не знаешь, Феня, кто это сбил народ по поселкам?

— Понимаешь, носилась с горнистом-пионером. Он дудит, а я нанизываю по одному, по два...

— Значит, сегодняшняя демонстрация — это твоя работа?

Она смущенно засмеялась и вызывающе тряхнула кудрями.

— Ну... пусть так... тебе ж от этого не легче? Помогла мне и Домаша Микешина... ну, еще — девчата... Потом взялись рабочие. Я уж потом среди них потерялась — совсем потонула, хотя и охрипла от ораторства.

Он, сам не ожидая того, сбнял ее за шею и прижал к себе.

— Молодчинка, Феня! С тобой просто становишься юношей...

Она строго сдвинула брови и сбсила его руку.

— Без нежных жестов, Мирон Васильевич. Я не выношу высокомерия и чванности старших. Возрастной коэффициент для меня теряет всякое значение и смысл.

— А! проблема поколений...

— Да-с. Я делаю отвод нелепой повинности молодежи преклоняться перед стариками. Так называемый опыт стариков в наших условиях сводится к количеству прожитых лет, а вовсе не к боевому качеству. Педагогическое значение седовласых биографий для нашей юности часто имеет отрицательный показатель. Теперь, брат, и старики часто учатся жить у молодежи, и я не скажу, чтобы эти ученики были сплошь внимательны и способны.

— Ого, Феня! Это — уже юнчванство.

— Мы прошли комсомольскую школу, Мирон Васильевич. Она часто бьет по самолюбию стариков. Дерзание и задор всегда забегают вперед, и тогда непочтительно и больно кое-кого сбивают с ног.

Позади поселок густой свалкой красных и зеленых крыш осыпался в лошину. Домов не было видно — одни крыши в клубастых облаках зелени. Прямо проваливалась опять лощина, щербатая от каменной осыпи и осевших в землю гладко обтесанных валунов. А там, за лощиной, развалинами крепости обрывалась бурая, остроробрая скала. Река дымилась и горела зеркальным разливом. Гранитные островки, забитые песком и кустарником, плыли навстречу рекe, как флотилия барж, и вода бурлила в их камнях, выворачивала свои глубины и пронзительно колола брызгами глаза.

Направо вздымались высокие пагоды бычков на том и на этом берегу. Посредине пластались перемычки в песчаных и фашинных отмелях, в зубастой броне стальных шпунтов, в крылатых взлетах стрел кранов и дерриков. Тонкой оторочкой в красивом геометрическом рисунке, как сложный чертеж, прилипла к пескам берегов коричневая штриховка плотов. В дымке того берега, очень далеко, тоже темнела их бурая заросль. Между плотами того и этого берега кипела жирными водоворотами река в раздольной стремительности плноводья. Там, у перемычек, она медленно и тяжело поворачивала к скалам левого берега, к аркадам бычков и горбато напирала на ряжeвые устои моста, и оттуда глухо, необ'ятным ливнем дышали водопады. В жирной неподвижности отдыхал перед плотами у того берега сизый рефулер с членистым круто загнутым хвостом скорпиона. И, рождаясь из водопадного гула, низкой струною запела сирена. Она стремительно подняла гамму до высоты полной октавы и в медленных волнах стала спускаться вниз. В отвалах камней и щебня, в зеленых и красных утесах той стороны, дыша паром, бежал паровозик с думпкарами, а над ним на аркаде причальной стенки шлюза стоял черным жучком пузатенький кран, и тонкая стрела

его, как щупальце, чутко взлетала над ним почти отвесно. Не слышно, не заметно было живого напряженного труда, точно он растворился и впитался землей и засыпан камнями. Может быть, он заглушен гулом водопада, может быть, и последние толпы людей бросили свои участки и ушли по баракам. Так чудилось Мирону, когда он смотрел на горные взлеты берегов, на этот строительный ландшафт с неподвижными стрелами кранов. И граниты под ногами, зеленые от плесени, первобытно молчали о покое, как трупы панцирных чудовищ. Но как только запела сирена, все вдруг пришло в движение: казалось, что стрелы кранов залетали в суматошливом беспокойстве, и карьеры разработок, и ажурные леса, и хаотическая путаница строительных материалов на перемычках зашевелились от людских масс и не вмещали в себя избытка трудовой возни невиданных толп.

— Эх, какая красота, Мирон! Кажется, стоит окунуться в это море огня — и сгорить мгновенно, без остатка.

— Когда-то здесь был другой огонь, Феня. По этим холмам я вел свой отряд в наступление. Здесь я был два раза в битве с белогвардейцами.

— А теперь, Мирон, в третий раз — в борьбе за иной огонь, за огонь энергии. Только тогда орудием борьбы была смерть, а теперь — жизнь. Тогда человек сжимался от ужаса и озверения, а сейчас он растет и расцветает от творческого труда.

— Это сказано неплохо.

Феня вбежала на высокий выступ утеса. Она ослепительно горела на солнце, и на нее больно было смотреть, только смугло золотилось ее лицо, да кудрявый барашек на голове янтарно переливался и шевелился живыми колечками. Она не смотрела на Мирона, а изумленно прислушивалась к себе, не отрываясь от пламенной реки.

Мирон точно впервые видел Феню. Что-то в ней было новое, понятное только извне — в фигуре, в волосах, в походке. В сущности, он не знал ее внутреннего мира, а теперь почему-то ощутил ее сложной и мятежной.

— Жизнь овладевается ценою крови, Мирон. Нет ли в этом противоречия? Всякое безвыходное противоречие принято называть трагедией, хотя никакой трагедии я не чувствую в наших противоречиях.

— Потому что у нас нет безвыходных противоречий, Феня. Всякая трагедия есть борьба, а наша борьба есть беспощадное разрешение противоречий.

— Какая тут, к черту, трагедия, Мирон! Посмотри, что делается кругом: какая гигантская работа совершается всюду! Я чувствую, что вырастаю из себя, и мне кажется, что я могу совершить необыкновенные подвиги. Это — не просто борьба, Мирон, это — завоевание времени.

Она прыгнула со скалы и сразбегу обхватила Мирона. Он почувствовал ее тощенькое тело, девичью грудь, почти детские руки, и она вошла в него как родная, как бесконечно милая сестренка. И эта целомудренная, ребячья доверчивость к нему и трогала, и пугала его.

Густой рокочущий вздох, как далекий гром, как гул недостижимого орудия, необъятно толкнул воздух и волнами прошел в глубинах земли. И они оба, Мирон и Феня, невольно взглянули на небо, в мерцающий миражный сиянием горизонт.

— От этих взрывов все кажется огромным, Мирон. И кажется, что вырастают крылья. Это — где?

— В аванкамере, у Шепеля. На своем участке он сумел сохранить основные силы. Интересный тип. Кстати, Феня. В нашей социалистической системе от труда нельзя убежать, как от самого себя. Бегство сезонников — это только колебание уровней. Отлив сменяется приливом, нужно только регулировать эти колебания.

— Какая удивительная и захватывающая штука, эта жизнь, Мирон! Даже ужасы ее — неотразимо прекрасны.

— Собственно, ужасов не существует, Феня. Трагедии и ужасы — это понятия, созданные обреченными, гибнущими классами. У нас звучит это несколько иначе. Мы это называем переутомлением и надрывом от жизненной

нагрузки. Тут иное содержание и другая философия.

— Видишь ли, Мирон. По-моему, и жизнь чудесна потому, что она именно сплошная нагрузка. Жизнь например чеховских нытиков была лишена этой важной сути: их жизнь была пуста, а потому и бессмысленна и бессодержательна. Правда, и у нас есть нытики, но это люди ушедшей эпохи... как бы тебе сказать?.. это — люди пьедестальные. Это — люди собственного нутра, эгоисты, живущие отвлеченными нормами, истлевшими даже в их собственном мозгу.

— Знаешь, Феня...

Он взял ее под руку и тепло прижал к себе.

— Знаешь... Я часто вижу тебя простенькой и обыкновенной. А иногда, как сейчас, удивительно новой. В эти минуты ты часто говоришь мудрые наивности, но в них я чувствую тебя полнее и глубже.

— Ну, ну... ведь мы же не на свидании? Мы же идем купаться... только не в потоках собственных слов.

Она вырвала руку и побежала вниз по склону горы, ловко и гибко вскакивая на граниты, обегая большие глыбы в чешуйчатых вспышках. Вся она была худенькая, но крепкая, с узким тазом, с узким перехватом в талии. И опять издали она была похожа на мальчишку.

XI

На широкой бугристой песчаной полосе, поодаль от пристани, длинными дощатыми экранами золотились две купальни: одна—мужская, другая — женская. Эти купальни были сбиты на скорую руку, без боковых щитов, — для устойчивости маленькие крылышки из обрезков горбылей гребнем зубрились по концам экрана. В мужской купальне—отсыпи горячего песка. Он—белый, в искрах, мелкий и ласковый. Так и хотелось, не раздеваясь, броситься в него, пересыпать с руки на руку и зарыться в неисчерпаемую золотую россыпь. Здесь был заводделом экономики труда Шалнин, длинный, костлявый, с

жутко выщелкнутыми ребрами и ключицами, с отчетливыми мослаками суставов. Он весь был прокален до кофейного глянца, и на костистой голове его гнедая щетина казалась чужой и грязной, как шутовской парик.

Тут же валялся рядом с ним десятник по строительным работам, Величко. Лежал он жирненьким боровком в отечных складках кожи на боках, с раздутым живогом и бабьими наплывами на груди, с маленьким носиком и противно распухшими щеками. Глаза прорезывались тоненькой полоской, — они будто постоянно смеялись, и в них остренько играли быстрые искорки.

Был тут и длинный, с лица похожий на иностранца, молчаливый человек с серебряной стрижкой на голове и усах, которого каждый день встречал Мирон в столовой ИТС. Он лежал на отлете, застывший и, как всегда, опечаленный. Мирон знал только, что он—геолог, что фамилия его странная—Борзая, какая-то мордовская, совсем не авторитетная. Рядом с ним сидел белотелый, с загарным треугольником на волосатой груди, нервно беспокойный, порывистый инженер Кряжич и близоруко смотрел и на песок, и на руки, и на Борзая и как-то пугливо и тревожно — на небо и на людей.

Величко лежал вверх животом и, разморенный, плавил свое сало на солнце. Он лениво разбрасывал руки, подгребал горячий песок к бокам, с боков — на живот и на ляжки, и руки его дрожали от наслаждения. Когда он внезапно заливался визгливым хохотком, рыхлый живот бултыхался бурдюком, а песок пугливо ссыпался по бокам. На ребристой груди Шалнина, на впавшем его животе песок только дышал в чуткой дремоте.

На длинной лавке их одежда лежала рядом, и Мирон сразу узнал, что опрятно и заботливо сложенные брюки и белье — это Шалнина, а брошенные кое-как — Величко. Одежда Борзая свешивалась со скамьи очень далеко — нелюдимо и скрытно. В ней было тоже что-то опечаленное.

Недалеко, налево, вверх по течению

ворошилась в песке и сидела на огромных валунах толпа голых тел и жарилась на солнце, а в воде густо бурлили, брызгались и, захлебываясь, орали мальчишки и парни. Кто-то рычал в воде с звериной яростью.

Борзый и Кряжич лежали рядом и беседовали тихо, разомлевшие от горячего песка и солнца. Слова их не долгали до Мирона: они падали в песок, в голые их тела и сейчас же угасали.

— Я не знаю, как это выразить, Петр Иванович. Но в некую эпоху нашей истории произошла во мне какая-то странная передвижка...

— В геологии это, голубчик, называется, диастрофизмом. Процесс—закономерный. Смена циклов — покоя и движения — совершается и в человеческой жизни.

— Удивительная вещь, Петр Иванович. Я потерял способность четко мыслить, перестал понимать действительность, и мое дело совершается само собою. Так например раньше я как будто ясно видел, какое место в жизни занимает человек, а теперь я не знаю, куда его втиснуть. Мало этого: я вдруг увидел, что человек-то не обнаруживает никаких признаков к реальному самоутверждению.

— Это, родной, красиво сказано, но... видите ли... — Борзый смущенно улыбнулся, и лицо его стало еще более печальным. — Что-то больно мудрено... гуманно как-то...

Кряжич не слушал его и говорил будто сам с собою.

— Я, как вы знаете, человек живого характера — беспокоен, мятежен. Такие люди по преимуществу неглубоки и не способны к философскому мышлению. Я—инженер, практик, рабочая лошадь, а не созерцатель. Но почему мне страшно жить? Почему я, Петр Иванович, чувствую себя обреченным? Особенно по ночам, когда внезапно просыпаешься от того, что внутри у тебя произошло какое-то тяжелое событие? Смотришь во тьму, прислушиваешься и чувствуешь физически, что безнадежно погружаешься в пучину какого-то ужаса.

— Нервы у вас; голубчик, Николай Николаевич. Истерия.

Кряжич встрепенулся и сел перед Борзлем. Руки его быстро зарылись в песок.

— Нет, как хотите, Петр Иванович, но тут одними нервами не отделаешься. Вы вот спокойны и философски уравновешены. Но, простите, дорогой, я не верю вашему спокойствию.

— Почему же? Геология — наука весьма спокойная и мудрая. Она обостряет внутреннее зрение и утверждает чувство свободы. Ведь все зависит от одного: как вы решаете проблему протяженности, ибо это — основная проблема жизни. Если в формуле протяженности вы определяете, как основную функцию, свое личное я, то вы обрекаете себя заранее на бесконечный ряд непреодолимых и неразрешимых противоречий. Надо не по Достоевскому извлекать квадратный корень, а брать объективный интеграл. Он неизбежно выйдет за пределы вашей орбиты. Вас раздавила ничтожная секунда... поденка, которая пожирает слона!.. тогда как человеку следует видеть во времени чудесного вестника бесконечности. А ведь секунда — это самая зловещая бактерия для мозга. Вон, смотрите: этот жирный боров и не подозревает, что он обсыпает себя пылью эоцена.

— Вы шутите, Петр Иванович, но вы разучились смеяться.

Борзый улыбнулся и погладил коленку Кряжича.

— Вы — эгоцентрист, Николай Николаевич, а эгоцентрист весь мир сводит к одной точке — к ничтожной секунде, которая есть только удар сердечной мышцы.

Кряжич весело засмеялся и опять завожился в песке.

— Вы — неисправимый человек, Петр Иванович. Серьезно. Вас совсем не интересует человек. Для вас какая-нибудь... как это называется, фация, что ль?.. фация, скажем, пермского периода значительно более человеческой трагедии. Вы не женаты?

— Секунда — это мой враг, Николай Николаевич.

— Не пойму, я вас, Петр Иванович, что вы такое, не то пантеист, не то стоик, не то буддист.

— Нет, зачем же: я — просто геолог, который познал, что жизнь земли не имеет пределов, а посему в ней нет никаких тупиков. Все совершается по законам непрерывного движения и изменчивости. Страшное и жуткое — только в моем первобытном сердце, свойство которого — сводить весь мир к собственным болям. Скверный орган — маленький, трепетный мешочек крови.

Кряжич опять засмеялся, поднялся на локте и шлепнул себя по круглому бедру.

— Вы — безнадежный скептик, Петр Иванович. Честное слово! Несомненно, стоик. И в то же время такой... ошутимый человек...

— Ну, вот... а вы, голубчик, жалуетесь, что человек утрачен, а он — вот, весь голый... без штанов... даже без шерсти... А когда-то, этак в эпоху плицена, он еще был мохнат, и его жестоко пожирали блохи и вши — главным образом площади. Отвратительная тварь, которая впивалась в тело, как клещ.

— Да, удивительный вы человек, и я завидую вам. Вы рассуждаете так, будто для вас не существует ни гнета, ни изоляции, ни унижительной повинности не быть самим собой...

— Подождите, голубчик... Невразумительно! Нехорошо, когда темперамент с'едает мысль.

Кряжич не слушал его, раздраженно «втал песок и бросал его в ноги».

— Мы дожили до такого состояния, когда интеллигенция теряет свой образ и свой язык. Она становится вымершей фацией. У нас уж нет своего «я». Нас, в силу нашей изоляции, всякий может оскорбить и словом, и действием. Нас истребляют, как общественную формацию.

— Ой, ой, как вы торопитесь!.. Я, право, никак не могу понять вас, Николай Николаевич. Как это можно отнять у меня самого меня. Метафизика. Совершаются события, борьба классов, войны — так и полагается. Закон. Я работаю, как и тридцать лет назад. И чувствую себя независимым и свободным.

— Петр Иванович! — губы вздрагивали у Кряжича, и глаза вскипали презрением и гневом: — Петр Иванович! если это — не ложь и не лицемерие, то это, простите, ослиное безличие.

Борзый пристально вглядывался в голое тело Мирона и любовался им.

— А знаете, я смотрю вон на этого парня. Видите, кажется, это — секретарь парткома. Здоровый человек, красивый, хорошее тело. Какая гигантская работа совершилась от питекантропоса до Homo Sapiens! Какая чудесная планета эта земля! Человеческая планета. И смотрите, как это тело обезображено шрамами. Этот человек не боялся смерти: жизнь в нем — могучая сила, она — бесстрашна, и смерть для него — не мистическая неотвратимость, а простой конкретный факт борьбы. Я думаю, что он далек от тех мыслей, которые вас сейчас, голубчик, обуревают.

— Ну еще бы!.. — Кряжич икнул от горестного смеха. — Он имеет право не утруждать себя такими инфернальными мыслями. Он — мой хозяин, который во всякое время может наступить мне на горло.

— Ой, какие вы ужасы говорите! На горло? Вот уж в голову не приходило. А по-моему, он — парень простой и совсем не кровожадный. Хороший парень.

— А спросите-ка у него, сколько он вот этими своими руками уничтожил человеческих жизней?

— Ну, нет, друг мой, не поверю Убийство, совершенное по капризу собственной воли, отражается в глазах. Но глаза у него — совсем свежие, нутряные глаза...

— На вас невозможно сердиться, Петр Иванович. Право. Вы — ребенок. Против вас бессильны и злоба, и факты.

— Скажите, Николай Николаевич, вон эти сооружения... бычки эти... станция... разве это не ваше созидание? Ведь это же — ваш мозг и вдохновение... Кронштейны какого-то еще неясного, но, признаюсь, величественного храма. Что-то в них — египетское. Какая сила человеческой мощи!

— Да... идольское сооружение. Но при чем тут я? Теперь «я» — нет. Те-

перь уж человеческая единица или обречена на исчезновение, или химическим ингредиентом входит в состав нового тела — в аморфное множество. Я — не я, я — раб.

— Зачем же раб? Рабы не живут творческим трудом: рабы гибнут от подневольного ярма. Вы — созидатель.

— Да-с... раб. Я, как проклятый, отдаю всего себя этим сооружениям и ненавижу их. Все эти громады и это множество в моем восприятии — одно, а я — их пленник. Вот в чем ужас. И знаете, если бы вдруг совершилась некая катастрофа...

— А вы об этом, милый, не думайте. Вы стройте себе на здоровье и не забывайте, что все рассчитано нашей планетой на бесконечность. Вы по своему назначению строителя неизбежно должны отрицать всякие катастрофы. Созидание — это человеческая жизнь, а жизнь — это борьба с разрушением. Иначе человеческое существование не имело бы смысла. И, право же, человек сильнее смерти: как только он сорвал с нее мистическое покрывало, он просто рассмеялся. В человеческом смехе — вся сила победы. Какие там катастрофы! Что вы, родной!

— В наше время могут быть всякие катастрофы. Они — неизбежны. Вот, скажем... вдруг все эти нагромождения рухнут... или по видимости все будет закончено, но в последний момент все лопнет и разлетится в прах... Все может быть... Или, скажем, будет все стоять нелепой ненужностью... как возведенная гора среди города...

— Знаете что, Николай Николаевич... Сизиф — самый жалкий вид человеческого самоотрицания. Это — самое жуткое проявление бездарности. Вы — не Сизиф. Я вас очень ценю и люблю. Вы мне об этом не говорите. Не говорите, дорогой мой. Вы не вынесете этого бремени.

Борзяй впервые взволновался и близко придвинулся к Кряжичу. В глазах его дымилось страдание, а руки дрожали.

— Разве от меня это зависит, Петр Иванович?

— От вас, Николай Николаевич, и только от вас.

— Если бы только от меня... если бы... Я живу только одним ужасом и обреченностью. Каждый день моей жизни — это дебри, и я не принадлежу себе.

— Нет, нет, родной. В творчестве человек принадлежит не только себе, но и всему миру. В этом — великое счастье человека.

XII

Мирон, голый, волосатый, гладил себя по бокам, по бедрам, обжигаясь солнцем. Он оглядывал свое тело — ноги, руки, живот, — и лицо его морщилось не то от солнца, не то от изумления: он будто конфузился своей наготы или удивлялся, что видит себя голым и неожиданно здоровым и крепким. На груди, у ключицы, бледнел рваный рубец, на боку — другой, на ноге, на мускулистой ляжке, с внутренней стороны — красный шрам.

Костявое тело Шалнина, высохшее и дохлое, раздражало его, вызывало злой протест. Лежит здесь эта мумия, мертво, бездушно, и не трогает ее ни солнце, ни золотой берег, играющий смехом детворы и женщин, ни огромный разлив реки в стремительных водоворотах и беззвучной тяжести густого задымленного течения. Раздражал и Величко своим бурдючным жиром. Хотелось размахнуться ногою и двинуть его хорошим пинком в раскисший зад.

Инженеры держатся поодаль — не хотят быть в общей куче. Он посматривал на них презрительной прищуркой и скалил зубы. Хорошо было бы подойти к этим аристократам и заорать на них во все горло:

— Вон отсюда, к чертовой матери! Намазывай пятки!..

А потом погнать их голыми по песку, по пыльной дороге, к поселку и, задыхаясь от хохота, с присвистом улюлюкать им в спины и насладиться непристойным зрелищем — видеть, как они панически удирают нагишом по улице на потеху drogалей, рабочих и женщин.

Почему они обидно держатся замкнуто, на отшибе? Надо их узнать поближе, подойти и прощупать их, надо их привязать к себе, чтобы они не чувствовали себя чужаками, чтобы они сами сделались прозрачными и доступными. Это — фарфоровые люди, которые требуют особого, непривычного отношения.

Величко лежал в песке, нежился и блаженствовал, и лицо его улыбалось благодушно, по-детски невинно, мечтательно.

Мирон вспомнил, как еще вчера к нему заходили в райком рабочие-партийцы и с угрюмым волнением жаловались на этого толстяка:

— Обрати внимание, товарищ Ватагин, на эту сволочь, Величку. Хам. Старорежимный барбос. Хотя дело знает, опытный подлец, но у него рука зудит — мучается, тоскует по мордобою.

Мирон подошел к нему и погрузил ступню в тестообразную мякоть живота. Величко завизжал, как поросенок, и затрясся жиром от лица до коленок.

— Ой же ж, матери твоей красивого чорта! Боюсь щекотки, ей-право... боюсь ж щекотки, ги-ги!..

Шалнин был невозмутим и лежал трупом, и скелет его отчетливо просвечивал сквозь истлевшую кожу.

— Величко, что же это ты кулаками дразнишь людей на своем участке? Рабочие спускают с тебя жирок, вот увидишь. Взбунтуются и исколошматят в пух.

— Ну, вот же ж, вот! — Величко радостно и смешливо озлился. Весь песок опрометью слетел с его живота. — А я за что же говорю? Понятное дело... До мене, скажем, касается... Так и так... банда... охрана труда... то-сё... почему такое — строгость? А иде же дисциплина, граждане? Иде дисциплина, спрашую? Иде ваша пролетарская сознательность? Кто в ответе? Ну, и, скажем, матом их — до исходного пункта. Они — до тебе, ты — до них... Дезорганизация!.. А иде у мене — жесты? Нема у мене жестов. Не старое время. А кто в этом виновны? Вы же с рабочкомом.

Шалнин глухо пропел с акцентом:

— Осторожность, Величко... нужен товарищеский подход... Это — верно: дисциплина у тебя хорошая, хрономеграж — без перебоев. Только методы, Величко... методы твои ты оставь при себе... Хамишь.

— Да ничего ж подобного! Я двадцать лет до своего строительного дела причастный. Гаворь деликатно — зубы выщербят, покрой на четыре горы — разом берут до понятия.

— За твой режим скоро тебя раком поставим, Величко. Взвоешь тогда.

— Фу ты бо-же ж мой! Да как же в строительном деле без режиму? Старый, новый, сухой, намазанный... Как ни окрести чорта — так он чертякой и будет. Ты скажешь, в вашей партии нема режиму? Хо-хо, похлеще старого — и в хвост, и в гриву! Вот позавчера какой хвакт у меня случился...

Но Шалнин вдруг тревожно перебил его:

— У тебя там беспокойно, Величко. Это верно. Как бы не напоротья. плотники прямо с работ бегут на вокзал и удирают. Инструментов не сдают и не берут расчета. Идет массовое расхищение материального склада. Как бы не напоротья.

— Да я ж тебе говорю, какой у меня хвакт был позавчера. Этот самый их солдат... да и не солдат, бодай его мак... какой он солдат!.. Так он до меча, стерва... ну, — с топором... Правда, топор в руке был приличного жеста... Это тебе, говорит, что? старый или новый режим? Ну, я же, понятное дело, двадцать лет практики, — знаю, какой тут важный прием. Сейчас его живым жестом — за горло и припаял к штабелю. Сдавай инструменты. Один — спроть всех... Ну, и в момент расчесал красивые кучери. А вот вы теперь распространяйте нсвий режим... со своим деликатным тактом... на счет пролетариата... А этот ваш пролетариат налево и направо лямзит инвентарь... и — драла...

Мирон опять помял его ногою по животу, и опять Величко завизжал, как поросенок.

— Придется тебя, боров этакий, отдать на расправу. Они быстро тебя

высколят. Теперь, брат, рабочие такие мастаки насчет самозащиты, что ты находишься в подвале.

— Ну, это, хлопчик, сказала Настя, как удастся. Меня этим не возьмешь. Рабочий люд до меня — горой.

— Прищемят они тебя, Величко. Почему не ходишь на производственные совещания?

— Хо, насчет говорильни я — швах. Я — деловой человек.

— Ой, Величко! будешь ты героем показательного суда.

— Это — я, старейший десятник Величко?

Он даже поднялся на локти и вонзился смеющимися щелочками в лицо Мирона. Жир его сморщился на боку, и брюхо сразу свалилось к ногам. Песок серыми лишаями прилипал к телу. Он с украинской нежностью приложил ладонь к бабьим грудям и, певуче взвизгивая, витиевато и задушевно, с ласковой женственностью продекламировал:

— Это — я, старейший десятник Величко?.. Да мене ж, когда мама родила, так в очи плюнула: Величко, каже, делай красивые жесты, и ты будешь добрым десятником до конца жизни. Мама моя горно знала, кого породила. Есть ли такой город на свете, где бы не знали Величку? Царю и Величке — одна была слава.

— Царя-то давно уже смазали, а с Величкой справятся одним махом.

Величко смеялся пискливо и отмахивался жирной рукой.

— То ж — царя. До царя я не имею радости, потому у царя — не жесты, а мании, да какие-то мантии. У мене же с живыми жестами — только мат.

Шалнин всегда казался апатичным, невозмутимым. Он держал себя так, точно его ничто не волновало, не беспокоило, и ему будто не было знакомо чувство ответственности и страха. Белобрысый, безбровый, весь какой-то оголенный, с вытянутым лицом, он казался слепым в белесых ресницах. Он больше замкнуто молчал и, когда резко критиковали его работу, неумело улыбался злопамятной, вынужденной улыбкой. Но Мирон раскусил его бы-

стро: Шалнин был труслив, беспомощен в борьбе, покорен до лакейства и никогда не имел своего мнения. Он боялся каждого пустяка, а от невинной шутки замирал до изнеможения. Он подобострастно лез на сближение с инженерами, с работниками управления Главинжа и с ним, Мироном, но с рабочими и другими партийцами держался особняком, нелюдимо и немо.

И теперь, когда Мирон стал около него и растирал солнце по коже, Шалнин сказал с сильным акцентом (это у него — признак растерянности):

— Положение совсем швах, Ватагин. Отдел труда — в параличе. Биржа повисла в воздухе: мы, говорит, — не мы, а вы — сами по себе. Ну, что я буду делать? У меня — доклад на техническом совете, а я — баран бараном. Ставь вопрос о вербовке: я не хочу, чтобы на меня вешали собак.

— Не беспокойся, Шалнин. Собак-то на тебя навешаем и спустим шкуру изрядно. Ты, дорогой, что сделал для предотвращения прорыва? Пыхтел в кабинете, а дома играл на гитаре. Гитарист ты хороший, но это не спасает тебя от контрольной комиссии. Кто виноват в срыве работ?

— Только не я... — Шалнин замер от страха и, ослепший, сел на песок.

— Только не я, Ватагин. Партком не пришел мне на помощь.

— А почему ты не ставил вопроса на бюро? Почему твой доклад — на техническом совете, а не в бюро? Ты — беспомощен, у тебя нет конкретного плана. Играешь под дудку Балеева. Знаю — не оправдывайся.

Шалнин окоченел от обреченности и лицом мертвеца смотрел на реку.

А Величко хитренько и нахально улыбался и ворковал фистулою:

— Эх, вы... хлопчата красивые!.. Вы души в человеке не чуете, товарищи...

— Ты, Величко, поешь, как нежная дивчина, а поступаешь, как живодер.

— У мене ж — натура: разговор у меня мягкий, и жесты — нежные. но горячие, как перец. У мене — красивая душа, а когда пою «Де ты бродышь моя

доля», весь изодьюсь слезами, ей-право. Ну, я ж и веселый, бодай его мак: как урежу трепака, аж... аж быки регочут... Я не боюсь жизни.

Мирон пошатываясь на Величку и удивляясь: в этом добродушном и сентиментальном борове как-то очень кстати уживается свирепый мерзавец: вероятно, когда он уродовал физиономию в кровь, то по-украински нежно и певуче, с задушевной улыбкой убеждал ласковым матом:

— Та, друзи мои! хиба ж вы не чуе-ге, яким мене мама породыла?..

Мирон поплыл наперерез течению и с наслаждением всем напором мускулов рвался вперед, навстречу густым водоворотам. Его относило назад и хлестало по ногам, скручивало их, вырывало из суставов, било по ребрам, но он изо всех сил боролся руками, извивался туловищем, отталкивался от густых упругих наплывов и выбрасывался из воды до бедер.

Величку крякал, подвывал у берега и пел фистулой:

— Ну, и вода ж! Всем водам — вода... Ласковая вода... Нежная вода, бодай ее мак!..

И Мирону казалось, что он плывет где-то в пространстве, борется с облаками и ветром — небо и затуманенный свет плещут ему навстречу. Он на мгновение увидел далекие скалы в обломках и нагромождениях камней, далекие холмы, рыжие, мерцающие огнем. Они тихо и воздушно плыли быстрее его, а река зеркально, без всплесков, застыла в своем течении, только взрывалась водоворотами со звоном и урчанием. Эта борьба с водой возбуждала его. Водовороты ломали тело, затягивали в пучину, отшибали удары рук, но он упрямо рвался вперед и с радостью борца чувствовал, что он сильнее силы течения, что упоры его рук бурлят в воде, как лопасти винта. Сердце билось горячо, и кровь сочно и молодо опьяняла мускулы и мозг. Вон — песчаный берег впереди, плоты... Мирон еще ни разу не переплывал реки: ее разлив — четыреста метров. И вот сейчас он

чувствует избыток физической силы — она играет беспричинной, утренней радостью. Он охвачен ею до озорства, до дерзкой жажды борьбы — добиться во что бы то ни стало своей цели. Он не заметил, сколько времени он плыл, но берег уже манил его своей близостью. Ему почудилось, что уже навстречу ему плыли запах влажного песка и ила. Вдруг его отбросило в сторону — тугой удар взрыва из глубины, — и около него зазвенела и закурькакала вода. Этот звон и ручейковый смех стали разливать-ся шире и глубже. Вода забурилась и запела. Она зашалила с ним, хватала за ноги, за руки, захлестала в лицо. Внезапно он увидел, что она — живая, непонятная в своей жизни, хищная и глазастая, и глаза у нее — сложные, зернистые, опаловые, как у стрекозы. Она смотрит на него отовсюду, вся — в чешуе и судорогах. Инстинктивно он оглянулся назад. Купальни плыли вверх по течению и были уже далеко позади. Вправо реяли и разбухали бетонные громады бычков, и вода там пучинилась горюю. Если попасть в ураганный напор реки у ряжевого моста, Мирон будет раздавлен. А когда будет выброшен в пролеты бычков — его кости будут искрошены в щепки. Кто-то голый махал ему рукою, откуда-то издали кричал женский голос с надсадным призывом. Но ему чудилось, что это поет где-то девушка... нет, не девушка — это звенит, смеется ручейками и пристально смотрит на него со всех сторон река. Она оплетает его сосушищами щупальцами и затягивает в глубь. Мирон, бессознательно подчиняясь этому призыву, заработал широкими взмахами рук. И впервые мутная волна изнурительно прошла через сердце. Тело почувствовало страх, страх животный, одуряющий, тошнотный. Он торопливо поплыл обратно к своему берегу. Руки его стали тяжелыми, а тело грузным и неповоротливым. Был момент, когда он захлебнулся, — его неудержимо потащило вниз и стало крутить, как веревку. Он очнулся, и вдруг услышал крики Фени, и крики ее пели далеко и близко.

— Мирон!.. ко мне!.. плыви ко мне!.. Скорей от протока!.. Ко мне!..

В руках — непостижимая слабость. Каждый взмах был непомерно тяжелым, а тело разбухло и размякло. Вода крутила его в водоворотах, и казалось, что река течет куда-то в глубину, засасывает его, больно бурлит в ребрах, в груди, в ногах и хлещет по спине, как потоки водопада. И странно: река была спокойна, неподвижна, молчалива и зеркальна, как озеро, и пахла болотцем и рыбой. А тошно плыл песчаный берег, густая зелень лозняка в гранитах, белые и кирпичные стены домов на склонах гор. На мгновение он увидел, как быстро и молча неслось ему навстречу вместе с берегом черное поле плотов. Мозг сразу как-то оглох и ослеп, и Мирон потерял ощущение времени. Потом он увидел, как по сырой полоске прибрежного песка бежала голая, худенькая женщина. Она махала ему рукою и что-то кричала. И еще заметил, что женщина отражалась в воде вниз головою, и мокрая полоска песку между настоящей женщиной и другой, бегущей вверх ногами, несется сизой поземкой. И опять черной, пугающей пашней плавно наваливались на глаза плоты. И опять он внезапно пришел в сознание, точно проснулся, и мгновенно поймал себя чужим, совсем не Мироном, и удивился: он сильно и ловко работал руками, рвался к какой-то цели, и цель эта была близко, на несколько взмахов рук. Вдруг рядом с собой увидел зыбкую подкову маленькой волны. Казалось, что навстречу течению, мимо Мирона, плыло какое-то животное и бурвило медовый блеск реки. С силой, которая плеснула из глубины нутра, Мирон в лихорадочной надежде рванулся к камню. Плоты уже были близко, и бревна, масляные, жирные, туго срастались стволами и торчали комлями против течения. Если камень промчится мимо, если даже соскользнет рука с его глянцевого лба, тело напорется на эти чудовищные зубы бревен. Он напрягался с неиспытанной силой, надрывался, боролся с течением, задышался, нечаянно захлебнулся и опять на мгновение потерял сознание. И как только проглотил воду и спазмы в горле прекратились, увидел, что ка-

мень очень тихо проплыл мимо него, совсем рядом. Рука раза два скользнула по его наливному боку, и водоворот захлестал его по ребрам, по ногам и засасывал в клочущую воронку. И опять он увидел голую, тошенькую женщину, огненную в воздушном блеске. Она бежала по бревнам плота, легко подпрыгивала, упруго изгибаясь и взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие и не поскользнуться. Он услышал ее взвизгивающий, даже будто веселый крик, но не понял, что она кричала. Он только жадно искал, за что бы хватиться, затормозить себя, чтобы не нырнуть в пучину, в водяную ночь, под бревна. Крик рвался из легких, но он только выдыхался из широко разинутого рта хрипыми стопами. Ну да, это — Феня. Она бежит к нему на помощь. Она — такая маленькая и жалкая. Плоты поплыли мимо него, и его медленно и плавно понесло к берегу. Он инстинктивно потянулся к бревну и судорожно схватился за тонкую слегу, которая торчала над водой. Ноги его рвануло в сторону. Сильная струя потянула его в глубь, точно вода со страшным напором стремилась в бездонную воронку. Слега съехала в сторону и больно прищемила его пальцы к бревну. Феня упала на колени и протянула ему руку. Потом отдернула ее и схватилась за растрепанный конец каната.

— Ну, скорее же!.. Да на же вот!.. Я держу его... Не бойся!..

XIII

Они опять шли вместе, и Феня никак не могла приспособиться к его шагам. Он ни разу не взглянул на нее и волновался: не то хотел отстать, не то убежать от нее. Его трепало какое-то нетерпение, и он немножко нервничал, улыбался про себя и хватался ладонью за череп, будто не верил, что голова его — на плечах.

«Чего он конфузится?» — в изумлении думала Феня, и ей было смешно — смешно и радостно. До сих пор она никак не могла вообразить, как это Мирон мог бы конфузиться перед ней, стыдливо теряться от чепухи — от того,

что он нечаянно вдруг очутился перед ней голым. Но ведь и она, тоже голая, хлопотала около него и, право, не испытывала никакого стыда. Ей даже в голову не пришло подумать об этом: некогда было стыдиться — нужно было помочь ему выпутаться из беды. Если бы не она, Феня, он, вероятно, не справился бы, изнемог бы и утонул. Кажется, на всю жизнь запомнила его лицо — синее, с ужасом в глазах: как будто глаза, необычно зрячие, хватающие глаза, они захлебываются и присасываются и к ее ногам, и к бревну, и к восковой чешуйке сосновой коры, но не видят ни ее, ни солнца, ни большого, ни далекого.

«Какой он чудак! Совсем другой человек. Мутит его, потому что привычного себя позабыл — утверждение свое утратил».

— Ну, и сваял дурака! — сердито засмеялся он и почему-то взмахнул руками. — Чего ты взбаламутилась? Ведь все равно ничего бы не могла сделать: если бы я схватился за тебя да сорвался бы — мы бы оба забулькали ко дну.

Она шалила — неудержимо хотелось шалить: очень уж играла радость в сердце, даже задыхалась. Вон мальчишка все пытается пройти на руках по песку, и никак ему это не удается — тело у него пружинное, горит медью. Она подпрыгнула на одной ноге, потом — на другой и засмеялась со смехом, задыхаясь от ветра.

— А все-таки спасла-то я тебя, чувствуй это. Только, Мирон, зачем же злиться? Здоровые люди не злятся — они не стыдливы. А я до сих пор допустить не могла, что ты такой слабенький. Самолюбием страдаешь, Мирон, а?

— А верно, Феня: я совсем не помню, как ты меня спасала. Помню одну — самую чепуховскую мелочь: увидел, что ноги мои — в волосах, они дрожат, и с них скатываются капли.

— Только-то? а ведь мы вместе переходили плоты, и я даже пыталась поддержать тебя.

— Представь, Феня, это как-то тоже исчезло — смутно отразилось, но четко ударило в уши, как ты сказала: иди, одевайся! Тут я и дал стрекача.

Он лгал — сознательно лгал, чтобы не смутить ее: он очень больно ощущал ее наивную наготу: это была девочка, тощенькая, безгрешная, странно вспыхивающая в контурах, телесно-горячими отблесками, с очень гибкими очертаниями и округлостями. Она и в тот миг поразила его тем, что не корчилась от стыда и смотрела на него открыто, с изумлением матери, пережившей смертельный страх. Она ласкала его, гладила рукою по мокрому голому телу в остывающей мускульной дрожи и говорила очень нежно и торопливо, точно боялась, что он сейчас заплачет:

— Ну, вот... ну, и выполз, и выскочил! Эх, ты, детина!.. С водичкой повоевать захотелось, а силенки-то нехватило...

И Мирон только на один короткий миг ощутил необычайное озарение до безумной радости: он еще никогда не видел, чтобы бревно плавилось золотом, а холмы сплошь волновались цветущей сиренью, и небо никогда не было таким синим и близким: кажется взмахни рукою и — достанешь его, и рука погрузится в эту густую, пышную синеву. Он увидел мужиков на берегу, лошадей в постромках, большие штабеля бревен. Мужики махали ему руками, указывали на Феню, скалили зубы и кричали что-то невнятное. И голос ее, Фенин, плавился глубоко внутри, а ее солнечное прикосновение до слез было любовным и бесконечно родным. И он весь кричал и изумлялся каждой клеточкой тела:

— Как же это так? а? Что же случилось, а?.. Что же это такое? Ведь это — впервые в моей жизни...

И замирал от ужаса, до невыносимой боли в сердце: а ведь он мог погибнуть... уже погибал... и все это — и он сам, и Феня — уже исчезло бы навсегда... Он дрожал мучительно, до отчаяния, и мысли сверкали, как молнии: а он все-таки живет! и эта земля, и это небо, и эти прекрасные люди — все это горит на солнце, все это — он, и все это чудесно и полно огромного смысла.

— Что же это такое, а? Что же произошло?

И вдруг увидел ее горящую наготу и сам почувствовал, что он — голый.

Он пустился в бегство. И очень четко запомнилось: Величко, голый, весь в жирных колбасах, добродушно щурился, встряхивал складками сала и кричал:

— Вот, бодай тебе мак!.. Не иначе ты сдурел, хлопче?.. А я думаю, иде его понесла нелегкая... Ну, счастлив твой бог!.. И ангелы, бывает, несут свою службу, но отнюдь не по тарифной сетке... на манер этой голой баришни, бодай ее мак!..

А Борзый, молча, с особой значительностью и печалью в глазах, пожал ему руку и только с ласковой иронией сказал:

— Ну, я очень рад... бесконечно рад... Риск всегда от азарта, а азарт — от всклоченных сил. Вам надо жить, голубчик. Жить очень устойчиво и крепко.

А Мирона потрясал смех, и он никак не мог с ним совладать: в нем бурно ликовала жизнь, независимая от его воли и сознания.

«А ведь оба они, эти инженеры, — прекрасные ребята. Этот Борзый — интересный и душевный человек. С ним надо крепче сойтись».

Кряжич издал приветствовал его растопыренными пальцами.

И вот — теперь он шел с Феней, всегдашней, успокоенной, и ему казалось, что он уже никогда не забудет ни ее, ни своей перед ней наготы: и ее платьишко, и свои тряпки будут слетать при встречах, как пыль. Он навсегда связал себя с ней какими-то странными, неустрашимыми нитями: он вечно будет у нее в плену, где бы она ни была и куда бы он ни скрылся от нее.

— А знаешь, Мирон... Я когда-то... ну, даже до последнего дня... я иногда боялась тебя, немножко. А теперь ни капелечки тебя не боюсь, и кажется, что ты нуждаешься в моей помощи.

Феня лукаво и радостно взглянула на него.

— Знаешь, ты мне вдруг стал страшно близким... Именно, вот сейчас. Точно я узнала тебя всего... как-то сразу...

Мирон будто увидел себя со стороны и удивился: старого Мирона унесла река, он, прежний, утонул, а вот этот Мирон — новый, почти ребенок, который в простом камне видит чудо.

Феня как будто запыхалась, — дыша-

ла плечами, лицом, даже глазами. От снежной блузки подбородок и затемненная щека дымились лиловым сиянием, и от этого лицо ее было спелым, как виноград.

Да, да, где и когда она так же вот солнечно вспыхнула перед ним льяными кудрями? Почему она напоминает ему какое-то тяжелое событие, которое оставило в нем нудную боль, как заглушенный, задавленный жизнью голос раскаяния?

Они поднялись по песчаной тропинке, желтой и бархатной, в густой заросли седого полынника, и пошли по дорожке, твердо утопанной и виляющей между валунами.

— Смотри, Мирон, какая причудливая нелепость! Ветряк. Одного крыла нет, а остальные, как старые лестницы. Стоит. Не разрушили. Как старик, который обалдел и ничего не понимает. Этот ветряк я вижу каждый день и привыкла его не замечать, а сейчас вдруг точно увидела впервые, и мне смешно и любопытно. Тут совершаются чудеса, а он стоит, седой и дряхлый.

Действительно, Мирон тоже будто впервые увидел этот ветряк среди лесов и новых зданий. Зачем он здесь стоит? Почему он не разрушен?

— Этот ветряк напоминает мне того старика, нашего соседа, у которого мы пьем молоко. Он так же упрям и нелеп в своей ненужности. Не желает признавать и видеть сокрушительной действительности: она уже раздавила его. И дом не его, и семья развалилась, и река скоро затопит его двор, а он и в ус не дует. Живет в убеждении, что время и события — это иллюзия, а он в своем гнезде, застывший в прошлом, — подлинная непреложность.

— Это вероятно потому, Феня, что люди живут настоящим, а прошлое расплывается в памяти. Наша память отстает от событий — не в силах вместить наших биографий. Это — то же самое, что произошло сейчас со мною: так же многое потонуло в водоворотах этих тринадцати лет. Вот, например, где и какие события столкнули нас когда-то? Никогда не могу воскресить в памяти. А чувствую, знаю — было...

Феня как будто встревожилась и немного даже отодвинулась от него. На

мгновение она отчужденно задержалась глазами на его затяженном профиле.

— Откуда же я могу помнить тебя, Мирон? Твое прошлое могло совпасть только с моим детством.

И Мирону почудилось, что она фальшивит, притворяется, что она знает о нем больше, чем он, что в ней тоже осталась та заноза, которая ноет в его душе. Вероятно она не хочет, чтобы он врвался в мир ее личных призраков: этих призраков она не желает тревожить, чтобы не нарушать светлых дней настоящего. Прошлое вовсе не так мило (это казалось дворянам — Пушкину там, Толстому). У нас, пролетариев, оно — кошмарно: образы нашего детства иногда будят нас по ночам, и мы замираем от ужаса перед событиями минувшего. Не переживала ли и Феня эту жуть, вспоминая теперь какой-нибудь солнечный луч или вздыхающий тишиной весенний вечер, перед которым она замирает теперь от страха?

— Я не знаю, Мирон, как я только могла спастись... Я могла погибнуть — стать проституткой, воровкой, беспризорицей... или просто меня забили бы до смерти... Не надо об этом вспоминать. Детство у меня было нехорошее. Каким образом я могла встретиться с тобой и... извини, мне смешно... и поселиться в твоём сердце? Чепуха!

Впереди, на взгорке, у свалки гранитов, стоял одинокий дубок в кудрявой папахе кованых листьев. Наполовину он горел солнцем, а наполовину чернел, как опаленный. На траве пласталась тень в огненных горошинках. Дорожка вползла под дубок и потухла — стала пепельно-фиолетовой. У ствола лежал огромный черствый валун. Тут было прохладно и тихо. Золотыми искрами звенели бронзовые мухи. По выжженной траве, над полынком и лиловой медуницей, трепетала желтая бабочка. Вдали зеркально блистала река, а ближе, из-за косогора, высовывались в разных наклонениях и пересечениях узкие треугольники кранов. Дальше, высоко над обрывом, — алая кружевная мачта вантового деррика, с длиннейшей (тоже алой) кружевной стрелой на отлете. Рядом с ним громоздился многоярусный дворец

из бесчисленных колонн и переплетов, кружевной вязи и очень легких, прозрачных стропил и каркасов. Трехкрылый ветряк провалился в лавину и неожиданно оказался с двумя крыльями, вскинутыми кверху:

— Отдохнем немножко, Феня.

Они сели на валун под деревом, помолчали, точно впервые увидели всю картину строительства в новых, невиданных раньше красках и сочетаниях линий, планов и пейзажей.

На той стороне ущелья, на крутом взлете холма, засыпанного камнями, опираясь друг на друга, карабкалась вверх густая толпа белостенных домиков. Они янтарно горели с запада и стреляли в глаза нестерпимым сверканьем стекол. Выше их пластался сарайный корпус рабочего клуба, еще выше, на плоскогорье, голубело здание летнего театра, похожего на гигантский аэроплан. Очень далеко, за крышами поселка, в воздушной перспективе, с утеса на утес широким размахом перелетала голубая дуга железнодорожного моста, а под ним опять зеркально струилась река. За мостом, в высоких каменных берегах, она разливалась широким плесом и была похожа на голубое озеро, спокойное, небесно-синее, и в нем четко отражались опрокинутые избы, которых не было видно за мостом, на горе.

— Хорошо все-таки, Мирон, чорт подери!

— Не возражаю. Мне редко приходится любоваться этими красотами — нет ни одной свободной минуты. Все это я будто вижу впервые. Работаешь и не видишь ничего, что совершается вокруг. Мы строим бурно, но не замечаем, как изменяется наша земля.

Глаза ее стали прозрачными и синими, как у ребенка. Дышал подбородок и вздрагивали ноздри.

— Мне очень нравится определение героя у Плеханова. Он говорит, что герой — это тот человек, поступки которого на пользу обществу, — инстинктивная его потребность, которая часто нарушает его личные интересы, подчас угрожая гибелью. Настоящие герои

обычно ослы: они навьючены нагрузками, никогда не протестуют, не жалуются, а про себя мечтают о подвигах. Вчера Кольча сказал: «Чорт его знает, как обернется... Строительство, ведь это — война. Здесь не только люди творятся, но и гибнут. Это может случиться и со мной. Важно только умереть содержательно».

— Феня, ты... любишь Кольчу? Он носит тебя в своих глазах.

Она не смутилась, а независимо и резко оборвала его:

— Кольчу я люблю. Чудесный парень. Из него выйдет толк. Превосходный комсомолец.

«Она или хитрит, или не поняла меня,—думал Мирон, изучая ее сбоку:— так не говорят о любимом человеке. Чорт его знает! может быть, и любовь проявляется в других формах, которые я не знаю. Возможно, что и любовь стала иной — рациональной, деловой, мужественной...»

Он тихо засмеялся сам себе и ласково погладил ее рукой. Феня видела в его твердых глазах непонятную затаенность. В них было что-то жесткое и ласковое, как у врага, который наслаждается беспомощным ожиданием и хрупкостью своей жертвы. И еще видела волны неудержимой радости.

— Вот что, Феня. Давай хоть разок поговорим с тобой по душам.

Она с удивлением и досадой осадила его взглядом.

— Я всегда говорю с тобой откровенно и по душам. Что за странные у тебя слова?

— Нет, по-сердечному, Феня.

— Что касается меня, Мирон, я эти минуты слишком злоупотребляю. За это меня здорово пробирает Татьяна.

— Ну, твоя Татьяна, кажется, не в меру фальшива.

— Полегче, Мирон Васильевич. Татьяна — умна. Она слишком знает людей, чтобы не следить за собою. Жизнь беспризорницы научила ее большой мудрости.

— Как? разве она была беспризорницей? Вот уж никогда бы не подумал.

— Она была беспризорницей четыре года. Испытала она страшно много ли-

шений. Зато она научилась жить и ценить себя.

— А вот мы, Феня, в личном общении еще живем тупо.

Она насмешливо подхватила его тон:

— Без сантиментов живем... без неврастении... без стихов Надсона... без тоски Чехова...

Она вскочила с камня и встала перед ним вызывающе, заложив руки за спину. Разрез глаз у ней скопился еще больше, нос заодно вздернулся кверху, и скулы зарумянились гневом.

— Ерунда, Мирон. Ты плетешь какую-то невразумительную канитель. Что значит — тупо? Это можно слышать только от дряхлых стариков, которые уходят из жизни.. Нам, прошедшим школу комсомола, и в разум не приходит жаловаться на одиночество, на отсутствие живых дружеских связей между собою.

— Да, в комсомоле я не был, это верно. Староват. Но ведь я тоже прошел неплохую школу партийной боевой работы. Однако же...

Феня уже не сдерживала своего негодования и наступала на него грудью. Она уже гордо смотрела на него сверху вниз и насмешничала, как человек, который сильнее его и который понимает жизнь лучше его.

— Однако же люди твоего поколения немножко отяжелели на шаг. А молодежь — рьяна, напориста и, нечего таить, порою не считается с вашими революционными заслугами. У ней слишком горячая кровь, чтобы жаловаться на недостаток кровных связей. Тот, кто не ощущает жара сердца у соратников, тот должен прежде всего исследовать температуру собственной крови. Так-то-с!

Она отвернулась от него, вскинула руки на голову и засвистала победоносно: «Смело мы в бой пойдем...»

Мирон впервые видел ее такой задорной и самодовольной в своих суждениях. Она сразу стала далекой и отчужденной. Неужели этой своей оценкой старого поколения она хотела выразить свое отношение к нему? Если так, то она совсем не уважает его. Если так, то она переносит на него весь тот пыл юношеского пренебрежения к старикам,

который порождается упоением жизнью, избытком сил и жадной к чрезмерному их расточительству. В ней, как и в других молодых партийцах из комсомола, эта неумная сила жизни превращается в молодежное самодовольство.

— Ты, кажется, Феня, стреляешь не по мишени. Думаю, что у тебя нет оснований упрекать меня в одряхлении воли.

Она тревожно повернулась к нему и схватила его за руку.

— Ну, как же тебе не стыдно, Мирон! Я же о тебе ни слова не сказала. Молодежь очень любит тебя. Но, милый мой! ты обижаешься, а это — плохой признак. Ведь в чем дело-то? Работа сама по себе — бездушна, как голый процесс. Но человек осознает себя и видит свою ценность только в работе. Нужно насытить ее своей кровью и мозгом, нужно ни на минуту не забывать себя, то-есть своего творческого огня. Только в этих творческих процессах возможно слияние людей — дружба, единомыслие, горячее сердце, званная любовь...

Ее кудрявая овчинка завихрилась на ветру, рассыпая искрами. Она подняла голову и понюхала ветерок в запахах полыни, мяты и свежих досок. Нечаянно взглянула на него сбоку, из-под бровей, — очевидно так она делает в минуты волнения. Юбочка прилипла к ногам и животу, и опять она обожгла его вспыхнувшим телом. Она отбежала от него, перешагнула дорожку, кувырнулась в седой полынок, оперлась на руку, сорвала былинку и защекотала ею лицо. И дразнила его нутряной думающей улыбкой.

И в тот миг, как она упала на траву около дорожки и мимолетно взглянула на него через брови, а тощенькая рука ее напряглась от тяжести тела, — будто молния обожгла и ослепила Мирона. Внезапно он увидел перед собой ту девочку, которая десять лет назад так же вот, как сейчас, сидела в пыли солнечной дороги и не замечала, как на ее платьишко выхаркивается кровавая пена. Она! Несомненно, она! Так вот почему она тревожила его при каждой встрече, и он мучился от бессильных потуг вспомнить какой-то забытый образ из далеких дней. Билось сердце, вздра-

гивали ноздри. Эта встряска была мгновенной, как электрический разряд: она уничтожила время, и Феня теперешняя слилась с девочкой прошлого, и то горное, морское утро, светоночно-голубое, с розовыми чайками, горит теперь вот этим солнечным опалом предвечерья. Сейчас Феня так же смотрит на него растерянно и изумленно. В этой позе упавшей девочки она так же жалка и прозрачна, как тогда. И волосы распахнуты и дымятся на солнце.

— Мирон, что такое? — ее голос ослаб и немножко надломлен волнением. Она тянется к нему и боится его.

Волна потрясения отхлынула так же мгновенно, как и ошеломила его. И ему стало легко, и по телу разливалась спокойная свежесть. Точно болел до сих пор каким-то скрытым недугом, а теперь вдруг выздоровел, и кровь густо и горячо помчалась по жилам.

— А что же случилось, Феня? — он встал с валуна, зачем-то вскинул раза два руки и засмеялся, хотя ничего смешного не было.

— Да ты какой-то стал... этакий пьяный... Я даже немножко трухнула: а вдруг да бросишься на меня. Ты, дитятко, немножко чумной.

— Видишь ли... — он наклонился над ней и протянул ей руки. Она вскочила легко и подпрыгнула на носочках.

— Конечно, вижу.

Она отчужденно отошла от него в бурьян, напевая песенку без слов, наклонялась и срывала блеклые, сожженные зноем цветы. Бурьян дымился под ее шагами, темнела вяляющая дорожка смятой травы. Былинки шевелились, выпутывались одна из другой и выпрямлялись с судорожной живучестью.

— Что же ты видишь, позволь полюбопытствовать?

— А так... мутит пьяненький чортик наедине с девочкой. Верно?

И усмехнулась лукаво.

Он был оскорблен этой ее усмешкой и небрежными словами.

— Это — совсем глупо. Не выношу вашего бабьего атавизма...

— Что такое?.. — Феня гневно устремилась к нему. — Ну-ка, что это за бабьи атавизм?

— Кокетничаешь, Феня... женское самообольщение... Смешно.

Она закинула руки за спину и вызывающе выставила грудь.

— Ах, так... Значит, ты держишь курс на ссору?

Мирон сердито прикрикнул на нее:

— Ты перешла на бабий язык. Мне это не нравится.

Он повернулся и шагнул от нее на дорожку.

— Мирон.

И она цепко схватила его за пояс.

— Что это значит, товарищ?

Он холодно и напряженно посмотрел ей в глаза.

— Ничего.

Она смутилась и растерянно прищурилась, точно Мирон хотел ударить ее. Этот его напряженный, тяжелый взгляд и грубый голос всегда действовали на Феню угнетающе. Ей казалось, что в эти минуты он мог безжалостно раздавить ее. С ней он так держал себя впервые. Но на заседаниях или в разговоре с партийцами, когда он пригвождал стальными глазами кого-нибудь в моменты гнева, напрягаясь от борьбы с собою, лицо его мертвело, и люди замолкали от бессилия. То же самое испытывала она и сейчас.

А он неожиданно засмеялся и потрещал ее за волосы.

— Ну, не сердись — я пошутил.

Она подняла лицо, и глаза ее улыбались слезами.

— Мирон, я не допущу, чтобы ты говорил со мной таким тоном.

— Ну, хорошо, не буду. Но ведь ты сама сбилась с своего тона.

Глаза ее опять посвежели.

— Ну, скажи все-таки, почему ты был так взволнован?

— Историю одну вспомнил. Было событие в моей жизни, а ты в этом событии тоже играла не последнюю роль.

— Ну, напомни мне... Я как-то даже не представляю...

— Не хочу пока. Поройся сама в своей биографии. Ведь, по-твоему, седовласые биографии для тебя не имеют никакого значения...

— Ты злопамятен, Мирон...

Она пристально, с тревожным напряжением памяти смотрела на него испуганными зрачками.

Он только немного опален временем, и эти волны времени сделали его холоднее и строже. В нем уже нет той непосредственности, которая бросала его часто во власть порывов и горячей несдержанности в поступках. Эти порывы он уже привык подавлять, «вгонять в нутро»: размеренная, деловая работа на партийном посту день ото дня обуздывала его темперамент. И в фигуре, и в походе появилась твердость, самоуверенность, упрямая настойчивость. Только в минуты раздражения, когда бывали столкновения с товарищами на заседаниях или в личных спорах, он весь подбирался, плотнел, раздувал ноздри, пристально смотрел в упор, в самые зрачки человека и чутко прислушивался — не к его словам, а к самому человеку, точно изучал его, щупал его слабые места, чтобы мгновенно и незаметно раздавить его.

Густые вороха листьев над головой были тверды и упруги, точно вырезаны из железа, — стоит дунуть ветру, и они зазвенят. Внутри этого зеленого вихря листьев застыли солнечные капли. Эти капли стряхивались и на землю, и на руки Мирона. Капли эти обливали и Феню. Такой же каплей трепетала она уже давно где-то очень глубоко внутри. Эта горячая капля не угасала никогда, даже во сне.

— Ты сегодня не пойдешь с Татьяной пить молоко к соседям?

— Вероятно. Я вступаю на работу в одиннадцать. Ты хочешь — с нами?

— Да.

— И это — все?

— Пока все, Ты не могла утратить в памяти этого события, но у тебя есть какое-то слепое пятно. Сегодня мы поговорим об этом.

Он сделал салют рукой и пошел по дорожке к поселку. Она озабоченно постояла немного, смотря ему вслед, потом быстро повернулась и понеслась по бурьяну вниз, к своему домику.

(Продолжение следует).

Байский плен

(Отрывок из поэмы «Таныб»¹⁾).

ЛУТФЕЙ ГУМИРОВ

I

Таныб, Таныб—река большая.
Родины моей родимый гром,
Всех и каждого собою оглушая,
Ты реवेशь и мечешься, и лезешь на-
пролом.

Черное горе загнало меня,
Приказало —
на сплав попасть.

В омут
река затянула меня, —
Мне на этой реке —
пропасть!

По дешевке купил мои годы бай:
За воду,
за хлеб,
за бешмет.

Как гадюка-змея,
ядовитый бай
Погасил в глазах моих
свет.

Имя у бая —
Хабиб Сараным,
Он жирнее буйволов двух.
Потом батрацким
сыт Сараным.
Долей бедняцкой —
распух!

Мы кровавым трудом кормили его
Он — едва волочил живот.
Как смерть, тяжела походка его,
Взгляд его
на смерть бьет.

Белыми львами украшен дом
Со всех четырех углов;
Хабиб Сараныма высокий дом
Слепил глаза бедняков.

У хозяина Хабиба
потужи,
Ты хозяину Хабибу
послужи.

Зуботычину в награду
получи.

Будь доволен —
и молчи...
У хозяина Хабиба толстый зад,
У хозяина Хабиба —
ух, глаза!

Так и режет насквозь тело —
страх и боль;

Ничего хозяин
был собой...

У Хабиба пристань
первую нашел,
У хозяина не цвел, —
болел душой.

Слушал брань с утра
охрипший салчилар²⁾,
Что ни слово, что ни слово —
то удар.

Эй ты, жизнь моя, —
попынь, опынь;

По утрам на речке —
тьма и синь

Вспомнилось
родимое жилье,

Образ матери
в глазах встает...

¹⁾ Таныб — река, идущая мимо моего аула, в котором я батрачил, и «Таныб» — общее название поэмы.

На чужбине черствой корке
 рад не рад;
 У Хабиба толст живот и зад.
 У Хабиба человечьей
 нет души;
 Мы Хабибу
 добывали барыши.

II

Давли

Старый Давли,
 сплавщик Давли,
 Впал у Давли живот.
 Бродит по рекам Татарской земли,
 Нищую песню поет:
 «Барадагнай тургач бер утырдым.
 Аякларым бегряк талганга.
 Утра тургач ерлаб бер еберем
 Юряклерым бегряк янганга... »¹⁾

Песня, как трауром, сердце его
 Одевает опять и опять,
 Песня рыдает,
 и ничего

Песней
 не может Давли рассказать.
 — Старый Давли, почему ты угрюм?
 Что слезами ты бороду вымыл?
 — Мое сердце рыдает о дочке Гюльсюм,
 О прислуге Хабиб Сараныма.

III

Гюльсюм

— Гюльсюм, твои руки жарче огня:
 Работа в руках кипит.
 Гюльсюм, Гюльсюм, полюби меня! —
 Хабиб Сараным говорит.

— Гюльсюм, Гюльсюм, ты цветок
 степной,
 Ты похожа лицом на зарю!
 Стань, Гюльсюм, моей третьей
 женой,
 Много денег тебе подарю.

Колени Гюльсюм подгибает страх.
 — Надругаешься ты надо мной!
 Уйди, господин! Покарает аллах!

Ты стар!
 Не хочу быть твоей женой!
 — Хочешь не хочешь — будешь моя!
 Сжал,
 запрокинул лицо.
 Зубами ужалила, как змея,
 Выскользнула на крыльцо.
 Прибежала к Давли,
 к седому Давли:
 — Отец, защити, отец!

Плачет в бессильной злобе Давли,
 И слезы его,
 как свинец.

IV

Сегодня

Светало...
 Таныб подернулась зыбью,
 Туман отчалывал от берегов.
 Сквозь гнезда засад,
 на победу,
 на гибель
 Ползут осторожные «змейки» бойцов

Изумрудный луг,
 Желтые пески
 Под светом солнечным
 горят

Бойцы крадутся,
 Как утка в тростник,
 Рвутся люди
 Ряд за ряд.

Встретя в дороге
 Засады,
 Или приметя
 Вражеский обход,
 Мы рвались цепью,
 Зигзагами и змейкой,
 Смело кидаясь
 Вперед.
 Годы, зашитые в черных коврах,
 Мы несли на своих плечах,
 Но
 Октябрь
 расплавил огнем
 кандалы

Невежества,
 рабства
 и мглы.

¹⁾ Иду, иду, да и сяду
 От сильной усталости.
 Громко песню я пою
 От боли сердца и горя.

Недаром гревели гражданские грозы,
И всходит Гюльсюм по лестнице лет
Лучшей ударницей колхоза,
Заработавшей право на партбилет!

Счастья слеза
 застилает глаза,
Не горбятся плечи от дум:
Старый Давли —
 седой партизан,
Трактористка в колхозе —
 Гюльсюм.

Где твоя слава,
 Хабиб Сараным?
Деньги,
 дом
 и зерно?
В Забайкальские степи
 Хабиб Сараным,
Раскулаченный, сослан давно.
Раскулачен бай,
 уничтожең аллах,
Кандалы раздробили мы палицей.
И годы,
 зашитые в черных коврах.

Алым бархатом дней расстилаются.
Пятилетки боится седой капитал,
Смерть свою чуёт седой капитал,
Интервентов, вредителей шлет капитал.
Готовит войну капитал.

Пролетарии,
 слышите запах войны?
Барабаны походные бьют.
На защиту первой Советской страны.
Пролетарии мира встают!

Близок
 последний,
 решительный бой.

Близок —
 Октябрь мировой!
И станет земля
 в борьбе огневой
Коммуною мировой.

Под ленинским знаменем мы идем,
За ленинской партией мы идем,
Товарищи, сомкнутым строем идем.
К Октябрю мировому идем!

Перевод с татарского. Автор.
Обработка и оформление В. Жак.

Чегодань

Рассказ

И. ЕВДОКИМОВ

Капитан Кудельников хмуро вышел на ночную вахту. Рейс выдался трудный и беспокойный. Правда, капитан был большой привереда.

После прошлогодней навигации, в самый канун ледостава, ветреной унылой осенью он привел обледенелый пароход в затон и высадился на берег. Тогда Кудельникову представилась земля теплым домом. Капитан продрог от степных волжских ветров, вымок от неустанных октябрьских дождей, наглотался по пристаням пряной разгрузочной пыли.

Он все плыл и плыл мимо суши, жадно и завистливо приглядывался к знакомым поселкам, деревням, городам. Убогий красный свет коптилок моргал ему сквозь изморози и туманы в заплаканных береговых стеклах, а пароход сверкал расточительными огнями, какими скупое и редко сверкает праздничная земля.

Однако Кудельников не делал выбора. Недостижимая суша манила, как манит сонного и усталого человека постель.

Но земля обманула. Кудельников зимовал в Нижнем. Не прошло месяца, как вдруг капитан внезапно собрался в отъезд. В метельную ночь, в заиндевелкем башлыке влез он в затонную избу своего старшего помощника. Тот ничего не сказал, только лукаво усмехнулся.

Капитан прожил сутки и уехал. Но эти сутки не прошли даром. Кудельников озабоченно толочка на мертвом корабле, ревниво и сердито надзирает за ремонтом кожухов, вмешивался с придирчивыми замечаниями по каждому пу-

стяку и подолгу спорил с рабочими о всякой лишней заклепке.

— Когда опять наведаетесь? — спросил с нескрываемой насмешкой помощник.

Кудельников добросердечно засмеялся и с ипривостью ответил:

— Когда придётся!

Но тут же оборвал смех и серьезно и уверенно заключил:

— Думаю, теперь до весны не увидимся. Не за чем. С ремонтом без меня справитесь.

Помощник с механиком в тот день язвительно вышучивали капитана.

— Сблажил малость Кудельников! Проведать захотел судно! А, может, и не попадет на него! Зря отвел душу! Куда еще в управленьи назначат! Зимой одно, весной другое!

— На буксир бы не угадал, — подержал механик. — Прикатил с обездом, как прежде хозяин приезжал. Не пропили ли, глядишь, пароходик затонщики! Взяла скука и... харчей своих не пожалел.

Помощник и механик застряли на зимовку в неприглядном труппном затоне, томилась от безделья, завидовали капитанскому житью в городе и злословили. Себя они никак не могли представить на месте Кудельникова.

А тот едва дождался весеннего тепла. Дом на суше давно выстыл, точно он был дырявый, и сколько его ни топи, в дыры беспощадно несло.

Когда в какой-то мартовский полдень капитан подошел к окну своей комнаты на Суетинском с'езде, огромная спина Волги ослепительно сияла перед глазами

Кудельников почувствовал острую боль в сердце. Она была ноющая и сладкая. Это же подтаивало на Волге! Это же солнце выковывало весенние настьи!

Капитан полюбил узкое окно на Волгу. Удивляя зяблых соседей, он вскрыл его раньше времени. Чудачества Кудельникова на этом не остановились. Затеяливый капитан вымазал стекла мелом и тщательно протер их.

Невиданный на Суетинском съезде глянец капитанского иллюминатора мог поспорить с ясностью родниковой струи. Кудельников простаивал у окна весь свой послеслужебный отдых. Опасный караул у военных складов менее напорен и зорек, чем была эта добровольная душевная вахта.

Волга медленно опадала в берегах, куда отчетливо и резко не обозначался ее широкий шершавый хребет. Кудельников подгонял неповоротливое солнце. Оно работало, как нерадивый матрос в горячей и дружной команде.

Капитан выстоял награду.

Однажды с рассвета Волга пошевелилась, припухла, выгнула ледяной круп и... замерла настороже... Кудельников, как шаловливый мальчишка, крадучись, обошел здание управления речным флотом, шмыгнув зайцем в переулок и кинулся на берег.

Но Волга точно опять ослабела и крепко разоспалась. Капитан скуучливо скитался до темноты. Глаза его выдумывали подвижки льда и обманывались. А все же они безошибочно разглядели неторопливый мужичий обоз, который по зимней дороге переправлялся из Заволжья. Капитан, кажется, только тогда понял все овоенравие ранней весенней капели.

Волга затихла на месяц. Снова над ней оседло и крепко вспорхнула мятель, завалила до темени придорожную было оттаявшую вежу, сугробы круглыми курганами перегородили переправы и зимняки. Даже безоглядно исчез прилетевший грач вместе с занесенным вьюгами конским калом.

Капитан караулил с горечью и злостью ленивое движение весны.

Наконец Волге надоело лежать, она проснулась по-настоящему, как будто перевернулась с боку на бок, тряхнула

омертвевшим телом, недовольно забурлила в закраинах, словно голубые пролежни, и... ринулась неостановимо вперед.

Кудельников восхищенно следил, как вспоротый ледяной конвейер начинался в безоглядной дали, у самого края опрокинутого на землю неба и властительно, торжественно ровно нес оттуда вздыбленные горы льдин, изломанную слежалую темную грязь дорог, стойкие окόшка обмёрзлых за зиму бабьих прорубей и могучие валы вод.

Будто из огромного синего колокола неба вдали выбило чёрен, и в выбоину прорвался волжский лед навстречу пьяному, счастливому, глупому от счастья капитану Кудельникову.

Вскоре он весело прикатил в затон и хозяйски торопливо взбежал по трапу на чистенький, франтовито подкрашенный, помолодевший от ремонта пароход.

Навигация открылась... А не так ли она начиналась двадцатую весну, когда Кудельников двадцатилетним практикантом несмело взошел с недвижимого берега на зыбкий, нарядный и заманчивый поплавок?

Рейс выдался трудный и беспокойный. Пожалуй, капитан преувеличивал. Все они были не легки. Но Кудельников забывал о прошлых затруднениях, едва приводил пароход к конечной пристани. Короткая память капитана служила на пользу. Он каждый рейс жил сначала и... не сравнивал его с предыдущим. Так было и в этот раз.

Капитан раздражался с первой вахты. Недалеко от Нижнего в причудливой паутине извивалось русло Волги. Кудельников осторожно вел свой корабль. Капитан чувствовал себя заброшенным и одиноким, как если бы его заставили управлять судном на незнакомой реке.

Наставала подозрительная ночь с наплывающим от заливных лугов низким туманом. На последнем привале Кудельников тревожно взглянул из рубки вдоль нижнего плеса и не смог различить фарвартера. Где-то мертво стояли маяки и бакены без огней.

Капитан посадил на пароход старосту над береговой охраной и отчалил.

— Гляди, Жезлов, что у тебя делается! — невесело сказал Кудельников. — Черти, ведь срам! Неразбериха на пле-

се! Я на мель сяду! А у меня срочный груз на Каму, на новостройку! Там меня ждут, как паровоз к курьерскому поезду!

Староста охал, перегибался за борт и в эдливо из-под ладошки кидал такие взгляды на неосвященный плес, словно хотел зажечь ими отсюда все водяные вешки на пути.

— Ах, дьяволы! — жалко и горько твердил он. — Ни маяков, ни бакенов! Ну, и куда они делись! Вон, вон! Не-е-т! Это рыбацкий костер! Вот бы кого в бакенщики! Эти не пропустят дела! Вредители! Перепились, видно! Водило у них один есть. К сокращению первого числа представляю. Давно собираюсь. Он всех и кружит. Песни поет, брезна на руках, силач, носит, а пьяница первостатейный!

Жезлов оправдывался, точно готов был за всех своих подчиненных принять вину, лишь бы благополучно проскочил пароход. Кудельникова это смягчило, и он как будто стал еще осторожнее управлять судном, следя за всяким поворотом лодманского колеса.

— Навались вправо! — вполслова бормотал он. — Выправь! Обойди мысок! Не туда! Что ты, Егор Емельяныч, неверно ёрзаешь? Жарь на темнотку! Леви, леви!

Густо и настойчиво темнело. Дуло с присвистом с севера. Жезлов придерживал руками картузишко и гонял по палубе..

Прошли километров десять. Дальше сверкнула редкая, разбросанная строчка белых и красных огней.

— Пронесло! — вздохнул староста с облегчением, вдруг неожиданно стянул картуз и вытер огрубелой ладонью мокрый лоб.

— Могло и не пронести, — неприязненно поморщился, бурча, Кудельников, — на одной твоей испарине далеко не уедешь!

Староста спустили на ближнем пригорке. Пароход дождался возвращения лодки. Откуда-то из-за кустов вылезла рослая фигура в кожанике.

— Вон он, сукин сын! — закричал Кудельников и с негодованием протянул руку с капитанского мостика на бакенщика. — Сонула скверная! Жезлов, запрягай его, бессовестного лодыря, скорее на рейд! Пароходы идут вслед! Попадут на камни или на отмели. Все гру-

женые на постройки, как и наш! Мы должны везти, а он, сволочь, путь показывать!

Староста опять сорвал картуз, хлестнул им о лодку, надёрнул его криво на макушку и пронзительно, истошно, не своим голосом взвыл:

— Ты что же, Данилка, негодяй! Флот губить хошь? Огней не завелось у тебя! Сбрую сгадил! В охрану захо-тел? Я т-тебя отправлю, вредителя!

Кудельников, уходя, с удовлетворением видел, как на пригорке зазеленел огонек фонаря, кто-то с зеленой, задувающей искрой побежал в темноте и нырнул под откос. Потом вспыхнул целый выводок белых и красных фонарей, они поплыли на лодке и стали редко рассаживаться по реке. Фарватер восстанавливался...

А под самым Камским устьем, на утру, Кудельникова поджидала новая беда. Из-за мыса в предрассветной неясности выплыла лодка. Она была загружена всяким домашним скарбом. Капитан смутно углядел сундуки, кадушки, вилы, колеса... То какая-то крестьянская семья переезжала из села в село.

Он быстро дернул свисток. За ветром его не слышали. Кудельников успел замедлить ход. Но лодка не успела проскочить и ударилась о борт. Капитан мгновенно отбросил пароход назад.

В лодке было трое людей. Кудельников в полубеспамятстве видел, как перекувырнулась лодка, вывалился из нее большой сундук, отскочила неуклюжая крышка, а на крышку швырнуло маленькую девочку. Капитан зажмурил глаза...

Он растерялся не дольше, чем понадобилось открыть веки. Сундук резко кидало на волнах и сносило. Кадушки, колеса, полосатая перина, ломаный стул догоняли его. Девочка открыла ошалелые глаза, вцепилась беспомощной ручонкой за судучный край и молчала.

Кудельников сделал такой торопливый бег по палубе, как будто намеревался сброситься с нее к самому сундуку. Это уже было лишнее, капитан только отчаянно и повелительно крикнул:

— Лодку!

Но четверо матросов раньше того прыгнули за борт, а трое из них даже удо-

сужились раздеться. Один поддерживал дико голосившую и барахтавшуюся возле перины бабу, другой осторожно взял ся за сундук и остановил его. Он тащил сундук к пароходу и с усмешкой утешал заплакавшую девочку. Мужик-хозяин после недолгого испуга совсем освоился в воде. Забота о спасении скарба нераздельно овладела им.

— Капитан, капитан! — взывал он с сердцем. — Багры, багры, давай! Чаль жадушку! Подхватывай колеса! Не умещь плавать, так добро спасай! Всё хозяйство утопил! С кого теперь мне получать убытки? Лодку-то мою, шальные сатаны, под пароход подминаете! Опрокидай ее, опрокидай!

Беда минула. Кудельников рьяно командовал матросами, вылавливавшими мужицкое хозяйственное обзаведение. Мокрый мужик, с приставшими плотно к ляжкам штанами, смешно суетился на борту и жадно хватал было утопое свое имущество. Баба с ребенком сушилась у машинного отделения и без умолку спрашивала у всех пароходских:

— Далеко ль повезёте-то? Нам спешка. Нам некогда кататься. У нас в Терebeneве подвода. Нас бы на мысок, ребята, выбросили: три версты отсюда! Там глубина. Пароходу хоть к сеновалам приваливай? Мы суда не ищем. Что дадите за погибель, то и ладно! Высадите нас, родимцы! Мы доправимся на лодочке. Боле не распустим ушей до коленок! Кулика и того испугаемся, не то что трубы да свистка!

Кудельников как следует не отошел от неприятной и неожиданной возни с лодкой, взволнованно и безотчетно курил третью рядовую папиросу, предупредительно бросая окурки в ведро под лоцманским колесом, а впереди предстояли новые хлопоты. Вон уже в белизне утра плыла навстречу узорная в петушках пристань. Там разгрузка и погруз.

— Сколько груза? — беспокойно спросил он с мостика, едва пароход со скрежетом и треском привалил к месту.

— Часа на три, — ответили с пристани.

— Какой груз?

— Бочки.

— С чем?

— С цементом.

— Куда? На новостройку?

— Да.

— Грузчики есть?

— Нет. Разбежались. Третьего дня ушли вверх. В Васильсурск.

— Почему ушли?

— А спроси их, почему! Видно, там слаще таскать мешки. Или васильсурской стерляди захотелось.

— Та-а-к.

— А у вас есть выгрузка?

— Есть. Четыреста мешков муки. И... разная мелочь. Часа на два с половиной работы.

Кудельников мрачно задумался, держась за свою блестящую капитанскую трубу — ухо в машину.

— Только кому же работать? — горячо спросил капитан у начальника пристани. — Моей команде? Так она весь прошлый день до полночи грузила и выгружала. На всех пристанях голозна. Одни зеваки. Мы два субботника в этот рейс сделали. Все помощники таскали.

— Ну-к что? Пускай разомнут кости! Зато всласть закусят с устали. Не изломаны, небось, с наше!

— Команда же и за грузчиков, и вахту несет! Другие по двое суток не вздремнули.

— Я не знаю ничего. Как хотите. Не берешь, не надо. Мне с завода звонили — отправить с первым пароходом. Велено пометить, кто не возьмет бочки. Новостройка завалила телеграммами. Телеграфист безвыходно стучит на телеграфе. На вашу ответственность!

Кудельников работал на субботниках вместе с командой. Руки и плечи еще связанно двигались и ныли. Он указал на работу команды и промолчал о себе.

И команда с легкой перебранкой опять пошла в дело. Подняли ее всю на ноги. Пятнадцать молодых матросов лениво покатали бочки с цементом по трапу, трудно понесли мешки, ящики с гвоздями, смоляные круги канатов.

Кудельников поглядел и остался недоволен медлительностью команды. Он надел старый, залатанный на локтях китель, деревянную подушку на спину и присоединился к работникам.

Тогда старший вахтенный и прикрикнул на остальных:

— Ходи, товарищи, не вразвалку! Скорее разделаемся! Все равно надо.

Раз некому. Павел Петрович и вовсе не должен седлать люльку, а помогает!

Начальник пристани с неловкой усмешкой подтрунивал над Кудельниковым:

— Гляди, ребята, командир какой! При-и-мерный! Чем не ударник? Старатель! В огонь за ним пойдешь!

— А с тобой годится бежать!—оборвал его один матрос.—Посторонись с дороги, гля парходная!

— Топчи его! — засмеялся Кудельников.—Затопчем такого дядю, кроме похвалы, ничего не будет!

Команда оживилась, брала грузы срыву, пела, прибаутничала, изнемогала, заговала, горячо принималась снова, обливалась потом, часто пила и все ходила, ходила взад и вперед, как верблюжий караван. Бочки оглушительно катились в парходное чрево. Там их опрокидывали на попà и экономно расставляли, покуда они не заняли всю палубу, словно бочонки в лото.

Вот уже зачищали остатки. Кудельников, бледный и усталый, мотнул головой на колокол:

— Давай первый!

Несколько матросов наперебой кинулись к звонку.

— Катись, Павел Петрович, — шутиво потянул люльку с Кудельникова старший вахтенный, — не мешай, без тебя главный груз перекидаем. Для водоушевления стараешься, а самого ноги не несут.

Команда весело засмеялась. Потом вместе с капитаном она кинулась в баню при машинном отделении. Фыркнули густые теплые и холодные души.

— Павел Петрович, — кричали матросы, — пускай тебе помощники спину потрут, а ты нам!

Кудельников молча вертелся под душем, приседал, расправлял руки, стоял на одной ноге и другой отталкивал лезущих к нему смешливых охотников потереть спину.

— Отвяжись, болтушки! — вопил он. — Будет зря брызгаться! Заканчивай баню и ложись по койкам. Может, и на Каме все пристани пустые. Придется с дурной головой ломаться заново. Отсыпайся, говорю!

После бани он лишь прикоснулся к постели, как моментально заснул. Двое су-

ток недосыпов, двое суток непосильной работы свалили его, как валит дерево зубастая пила лесоруба.

Капитан пробудился близко к сумеркам. Пробудился он от холода. Некрепко закрытое окно каюты от какого-то толчка упало. Ветер охотно нашел эту щель и забрался в нее.

Кудельников долго спустя открыл глаза и сразу же с неприязнью усталил их на голубые драпри, которые трепал ветер в окне. На Каме была ветреная непогода.

Капитан не разлеживался, отбросил простыню и быстро встал. В нем пробудилась тревога за целостность парохода и благополучный путь.

Кудельников помнил камские ветреные ночи, земляную их черноту, крутые привалы к пристаням, раскромсанные в куски плоты с Вятки, с Чусовой, с Белой.

Тогда разбитый лес невидимо несло в холодном мраке, лес сбивал и утаскивал бакены, переставлял их на мели, на перекаты, путал фарватер, лес сразбегу втыкался в парходную обшивку, пробивал ее, застревал в колесах и ломал их, как весной паводок ломает лед.

— Закручивает, — встретил тревожно капитана старик-лоцман, — откуда и ветер взялся. Сваливает пароход.

Кудельников сразу заметил крен на левый борт и поморщился.

— Перегрузили, — с болью пробурчал капитан, — бочки перевешивают. Не могут уравновесить груза, дурачье! На пустяках напарываемся!

Старик-лоцман напряженно всмотрелся вдаль, поспешно приложил к глазам кургузый бинокль и с недовольством сунул его обратно на гвоздик.

— Не привыкну к этой машине! Должно, очки не по глазам! Все видно и ничего не видно.

За бинокль взялся Кудельников.

— А вот и гости! — одновременно сказали лоцман и капитан. — Битая посуда! Тянутся!

— Да ка-а-к много! — воскликнул младший штурвальный. — Не один плот кончилось!

— Не к ночи будь помянут! — угрюмо взволновался лоцман. — Напрет нам нынче!

Разбитые членья плотов явственно приближались. Кудельников начал замедлять ход. Дал звонок команде. На мостик суетливо примчался дежурный вахтенный.

— Лес! Готовь багры! — приказал капитан.

Черная Кама расходилась. Вода шла высокими складками, точно гигантская гармонья, растянута донельзя. На острых гребешках валов подбрасывало бревна, чурки, хвостатые груды лыка — увязки плотов. Берега нахмурились, присели. Выглядывали исподлобья татарские и русские деревушки, села, рыбацьи избы. Шатались леса. Приникал низко к земле молодой кустарник. Взмывало и швыряло во все стороны лодки у береговых причалов. В небе, в путаной куртьме, как табуны коней на конской ярмарке, жались одно к другому иссиня-черные, ряжеватые, пепельные облака.

Кудельников враждебно озирал стихию. Что-то ему говорили лоцман и штурвальный. Острый и рывучий ветер шершавым холодом студил шею, залезал под байку на груди, скрючивал руки. Капитан командовал, не глядя на товарищей. Несносную слезу выдувал ветер из глаз. Кудельников смахивал ее и размазывал по лицу.

Стихия мешала двигаться, капитан опаздывал, опаздывали бочки, опаздывал план. Кудельников чувствовал непроходимую досаду и раздражение против бессмысленных препятствий, которые сбивали пароход с верного и расчетливого курса. Капитану было жалко разбитых плотов, сломанных рыбацких мостков по берегам, вывороченных с корнем и сваленных в воду сосен и елей на выдвинутых поперек реки мысах и скалах.

— Какие убытки! — сказал вдруг Кудельников и вздохнул. — Сотни тысяч рублей! Миллионы!

Он вспомнил нарядных и веселых пассажира внизу. Ему не понравилась их беззаботность. Ветер прогнал их с палубы по каютам и салонам. Там они пели, играли в шахматы, опоражнивали буфет. Когда Кудельников проходил на вахту, он мельком обнял пустоту палубы, скользнул взглядом по зеркальным окнам и нехорошо сжал губы.

Капитан сосредоточенно задумался и

внезапно стал разбирать тихие голоса своих помощников. Старый лоцман говорил штурвальному:

— Беда нам на суше. Мы там, как рыба без воды. Здесь и сыро, и холодно, а мы при своих. Дома. Озолоти нас на суше, а уйдем на пароходы. Порчь в нас сидит. Бывало отрывались ребята, а потом середь навигации обратно просят. В третьем годе ты на буксире плавал, капитан Егоров управлял нашим судном, не Павел Петрович. Так Егоров и пригрей беспризорного татарчонка. Приучил его на пароходе сапоги чистить. Вместе с Егоровым на «Комиссара» перешел. Спусти татарчонка теперь на землю — помрет. Зиму в затоне вертится, а с весной тут как тут.

Старый лоцман подумал и сердито бросил штурвальному:

— Не лви мух! Колесо слабишь! Ну же, натяни! Заслушался моих разговоров! Я, брат, говорю, а дело не забываю. Я и родился-то от кочегара в каюте. Пять годов у бабушки на суше бегал, а пятьдесят три по воде плаваю. Половину на Каме, половину на Волге. Оба плеса взял на-зубок. Я состарился, а и река не стоит на одном месте. Нынче идем руслом, а тут лет тридцать назад деревенские ребятишки бегали, воды по колёно. Кама на версту перетащила пожитки. Может пройдет тысяча лет, и не то будет. Говорят, русла-то старые выстланы золотом. Мало ли повыкидали туда золота и серебра бочками Стенька Разин, Пугач, разбойнички. Мужики в Жигулях клады рыли. Находили мало. Вся казна на дне. Не нам только достанется.

Вдруг Кудельникову не понравился старый лоцман, как не нравились пассажиры. Он резко вмешался:

— А под Казанью да под Царицыном, да под Самарой все дно в гранатах, в пулях, в винтовках. И утопленников хватит. Обглядываега их рыба. Ты не с том бормочешь. Ты прикинь, сколько из-за бури зря труда пропало, денег наших выброшено на ветер. Мужики лес рубили, вывозили его на берег, гнали по лесным речкам молём, сплывали, увязывали, спускали на Каму. И все — в прах.

Подбирай потом где хочешь. А лес на стройку нужен. За лес за границей машины дают. Миллионы, дядя! Заботу надобно внушать штурвальному, а не твою

пустяки. Пароход бы он научался беречь. Ты ему дурацким золотом работу портишь. Свертывай ближе к бакену, иди вплотную, только-только за фонарь не задень! Тут проход, как по шлюзу!

— Хи-хи! — извинительно рассмеялся лоцман. — Ну, Павел Петрович, и раскалил ты меня! Верно, верно стою! Язык понапрасну выпускаю. Думаю, парень и сам смыслит и понимает первую заботу о судне. Слышь, Митрей, капитана я не борю! Его слушай сперва, а меня после. Всякая буря нам зарез. Всякая буря — дыра государству!

Матросы изломались с баграми. А лес все попадался чаще. Багры соскакивали с осклизлых деревьев и, как острогами, кололи неуязвимую воду. Матросы опаздывали отталкивать лес. Он шаркал о борта, прилипал к ним, его засасывало под днище, он попадал на тычок в содрогавшийся корпус. Пароход двигался ощупью, точно слепой на незнакомой дороге, где никак не выручала его испытанная палка.

Кудельников как согнулся в плечах, так и оставался с начала своей вахты. Он напрягал всё свое зрение, чтобы не подсадить пароход. Обломали несколько плит, останавливались, выбрасывали из колёс, точно занозы, угодившие туда огромные бревна.

— Вот так трансфинплан! — желая угодить капитану, произнес старый лоцман, который подсмеивался над новыми словами и по-стариковски верил в неколебимую силу слов, старых и привычных. Сказал и сам себе подмигнул во мраке.

Пароход затягивался в пути, пароход шел в половинную скорость. Кудельников уничтожал папиросы из жестяной баночки, хранившей до того зубной порошок. Это не помогало. Ветер бесновался над всей Камской Татарией, Чувашией и Черемисией.

В ночной беспризорности и ветреной свистопляске Кудельников привел корабль к Чегодани, узкой и опасной воложке. Красно-зеленые очки семафора были закрыты. Тьма скрыла берега. Замученному капитану светили только разноцветные глаза сторожа Чегодани. В далекой мгле впереди пламенели красные бакены.

Кудельников дал свисток. Ему не ответили. Он настойчиво повторил. Ста-

рый лоцман и штурвальный наклонились в уровень с колесом и заглядывали вдаль.

— Ни дьявола не видать! — проворчал лоцман. — Будто не на земле, а в шахте сидим.

А вон там что-то шевелится, — обрадовался вдруг штурвальный и показал во тьму.

— Ветер шевелится! — подсмеялся лоцман. — Это, парень, у тебя рябь в глазах. Это мятая вода.

Кудельников обрывал свисток. Он тревожно, плакуче и безответно кричал лесам и горам. Кричал долго, до надсады, пока не устала рука у капитана дергать студёную ручку.

Тогда только и донесло откуда-то несвязный человеческий голос. Кудельников обрадованно загудел в рупор:

— Что случилось? Почему закрыт семафор? Кто там?

Ветер разорванно швырнул три слова:

— Авария! В воложке авария!

— Авария! С кем?

— Плоты шли самоплавом. Разбило. На якорьях стоят. Проходить нельзя.

— Давно ли разбило? Может, плоты вынесло из воложки?

— А? Не слышу! Не понимаю!

— Под'езжай к пароходу! Кто говорит? Бакенщик?

Кудельников и бакенщик перекликались несколько раз. Ветер срывал голоса. С бакенщиком никак нельзя было договориться.

Капитан разглядел его. Он спокойно стоял на лодке возле красного бакена, берег свою речную обстановку и не желал никуда двигаться.

Кудельникову наскучило дожидаться, и он переступил запрещенную черту. Он мягко, как идет человек в валяных сапогах, подвел пароход к молчаливому одру.

— Ты что не под'езжаешь, когда тебя вызывают? — взбесился капитан.

Одёр лениво, недовольно и нараспев ответил с лодки:

— Я думал, ты сам под'едешь. Я тебя поджидал.

— Ты же знаешь, я не имею права идти через закрытый семафор? И стоять не могу по-твоему, по-дурацки!

— А я не знаю. А в воложке авария с плотами. Плоты на якорьях. Загородили дорожку, не пройдешь!

— Когда произошла авария?

— Перед самым твоим пароходом.

— Почему же пустили плоты? Зна-ли — будет проходить почтовый, а поч-товому путь принадлежит первому?

— Это я не знаю. Я бакенщик. Я за обстановку в ответе. Это ты у семафор-щиков спрашивай. Мы за чужую вину не можем скучать.

Кудельников изводился от гнева. Сви-сток непрерывно и напрасно взывал. Береговое начальство спало или куда-то ушло. Капитан хрипел в рупор неслыхан-ные и немыслимые ругательства. Горели фонари, свистел пронзительно в тысячи свистулек ветер, стояла плотно ночь, и коренастый лес недалеко глубоко без-молвствовал.

— Больше ты ничего не знаешь? — взорванно спросил Кудельников у бакен-щика.

— Ничего. Членья пронесло, я вижу, плоты разбиты. Я к бакену. А что там дальше, я не знаю.

— Кто же, кто же знает?

— А, может, вон за другим бакеном знают. Поезжай туда. Я там не был. Бакенщик другой беспрерывно должен стоять на месте.

Кудельников уныло решал со старым лоцманом, как бы им пройти узкую во-ложку.

— Пойми, Емельяныч, — с азартом убеждал капитан, — до утра задержка! Восемнадцать часов опоздания и так не покроем. Не нагнать. Да тут часов шесть. Беда! Итти нельзя и стоять группой!

— Рискнем! — серьезно воскликнул лоцман. — В прошлую навигацию в са-мый водопад, один так капитан риск-нул, помнишь? Кораблик до сей поры на лугу стоит. Обмыло. Вода скатилась. Мыши гнезда в пароходе делают. Мо-жет, не угадаем в такую?

Пароход медленно, нащупывая глуби-ну, пополз. С носу равномерно вскрики-вал матрос-меряльщик:

— Шесть!

— Пять с половиной!

— Семь!

— Восемь!

— Табак!

Меру глубины подхватывал на верх-ней палубе штурвальный и перебрасывал лоцману в рубку:

— Шесть!

— Пять с половиной!

— Семь!

— Восемь!

— Табак!

Штурвальный покинул свой ветреный, не защищенный ничем караул и с топо-том бросился к штурвальному колесу.

Пароход подобрался ко второму бакену. Около него чуть видна была лодка.

Капитан загудел в свисток, затрубил в рупор. Но все бессмысленно молчало. На сквозном ветру, прятаясь в колени, с'ежившись, благополучно спал этот хра-нитель узкой Чегоданской воложки. Он наконец пробудился, встрепенулся, про-тер глаза, взмахнул для чего-то веслами и прикинулся глухим.

— Сколько вас тут дуралеев? — за-гремел Кудельников. — Всю реку, как бакенами, обставили?

Капитан в ярости затопал ногами, но не добился ничего и от этого сторожа.

Старый лоцман пожалел капитана и с большой теплотой выговорил:

— Павел Петрович, да отстань ты сердце портить на них: не выучишь не-ученых! Пойдем напрямик! Теперь вы-скользнем. Три версты всей и воложки не дойдено. Отудова сверху, вижу, ни ба́рок, ни буксиров нет. Не запрем ни для к'го фарватера! И сами не напорем-ся. Тут воложка с глубинкой. А мы си-дим высоко, с остатком!

Через полчаса пароход сравнялся с плотами. Тут возня кончилась скорее, хотя тоже всё спало беспробудно и бес-печно, как на домашних постелях. Два рупора — капитана и плотовщиков — встретились.

— Авария! Мы итти не можем. Мы на якорьях. Истрепало нас и занесло сю-ды!

— А пройдет пароход?

— Пройдет.

Черный волнистый холст реки под крутым берегом был свободен.

— Якорья мы поставили вдоль пло-тов. Иди.

— А далеко ли якоря?

— Сажень на пять. Не бойсь! Сброшены, говорю верно! Не получишь пробоины. Мы кое-как, а зачалили поближе к берегу, на песок влезли и потряхиваемся! Пускай машину!

Кудельников недоверчиво и долго продвигал пароход, пока в поту и дрожи облегченно не приказал торжествующим криком:

— П-о-л-н-ы-й!

Теперь он наверстывал все свои потери.

Механик в машинном отделении понимал это и вместе с капитаном готов был гнать пароход вдвое, вчетверо, если бы это было возможно.

Позади всё наверняка опять уснуло. Семафорщики, бакенщики, плотовщики, мало потревоженные аварией, спокойно высыпались до утра. Кудельников оглядывался на закрытый семафор и с болью мигал на его лживый двуглазый свет. Капитан предупреждал все встречные пароходы об аварии в Чегоданской волож-

ке. Ему доставляло огромное удовлетворение, что его товарищи уже не будут опаздывать в маршрутах, не будут иметь никакой возни с заснувшими надолго сторожами.

Кудельников под вечер пристал к новостройке Бумажного комбината. Все медные части парохода блестели. Капитан надел белый китель. Капитан щегольски подвалил к пристани. Он поднял медный начищенный рупор и весело крикнул:

— Грузчики есть?

Пристань была туго набита народом.

— Есть! — отозвалось повсюду.

Команда отдыхала.

Новостройка отрядила своих людей.

Кудельников горделиво смотрел, как убористые бочки с цементом жадно выкатывали с парохода и безостановочно поднимали на высокую гору, а там дожидались грузовики с откинутыми стенками, точно руки нараспашку.

Февральская революция

Ф. КРЕТОВ

Экономические предпосылки февральской революции

(*Военный кризис народного хозяйства царской России*)

Революция 1905—1907 годов потерпела поражение, и потому не было разрешено основное противоречие в социально-экономическом развитии России: противоречие между капиталистическими производительными силами и феодально-крепостническими пережитками. Однако революция 1905—1907 годов в известной степени подорвала эти пережитки и тем самым создала определенную возможность для дальнейшего развития капиталистических производительных сил.

В течение 1908—1914 годов Россия достигла высшего, последнего этапа в развитии капитализма, т. е. империализма. Следовательно, после революции 1905—1907 годов Россия весьма быстро прошла все основные этапы развития капитализма и усвоила вполне его характерные черты.

Но это развитие протекало при наличии и в условиях многочисленных феодально-крепостнических пережитков. Поэтому развитие капитализма в России уступало качественным и количественным показателям других европейских стран.

Еще до мировой войны «в России капиталистический империализм новейшего типа,—говорит Ленин,—вполне показал себя в политике царизма по отношению к Персии, Манчжурии, Монголии». Однако отсюда нельзя делать того вывода, что капиталистический империализм новейшего типа играл главен-

ствующую роль в России. Ленин прямо говорит, что «вообще в России преобладает военный и феодальный империализм».

В мировой войне царская Россия принимала участие для того, чтобы захватить Галицию, Армению, Константинополь, проливы и т. д. Посредством войны царизм хотел отвлечь внимание от нараставшего недовольства внутри страны и подавить развивавшееся революционное движение. «Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых восточноевропейских монархий,—говорит Ленин,—неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разединение и националистическое одурачивание рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата,—таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны». Это содержание, значение и смысл тогдашней мировой войны одинаково соответствовали интересам как овежного и феодального империализма, так и капиталистического империализма новейшего типа в России.

Война показала с полной очевидностью, что царская Россия является самым слабым звеном мировой империалистической цепи. Вследствие своей слабости противоречивая экономическая система в царской России не выдержала трехлетнего военного напряжения и раз-

валилась. Поэтому «естественно, — как говорил Ленин, — что в царской России, где дезорганизация была самая чудовищная и где пролетариат самый революционный, — революционный кризис разрешился раньше всего».

Экономическая разруха в царской России началась с первого года войны, свидетельствуя тем самым о разложении государственного аппарата и слабости капиталистической системы. По данным фабричной инспекции, количество предприятий в 1914 году сократилось на 21,5 проц., в 1915 г. — на 29,3 проц., в 1916 г. — на 30,2 проц. Особенно пострадали от войны отрасли промышленности, работавшие на широкий рынок. Так например в шерстяной промышленности к концу 1916 года количество рабочих сократилось на 47,4 проц., в деревообделочной — на 34,0 проц., в бумажной и полиграфической — на 25,7 проц. Как в этих, так и в других отраслях промышленности наиболее разрушительно война подействовала на мелкие и средние предприятия. Что же касается крупных предприятий, то они значительно легче приспособлялись к войне, загребая колоссальные прибыли. Об этом могут свидетельствовать следующие данные: за первые 9 месяцев войны прибыль Брянского завода увеличилась на 45 проц., завода «Гартман» — на 73 проц., Демидовской мануфактуры — на 82 проц., Костромской мануфактуры — на 83,8 проц., фабрик Рябушинских — на 230 проц.

Решающее значение для всего народного хозяйства имела разруха в металлургической промышленности. Кризис в металлургии обозначился уже в первом году войны, и с тех пор пошло непрерывное сокращение производства чугуна и стали. Так например по сравнению с 1913 г. чугуна было выплавлено меньше в 1914 г. на 8,1 млн. пудов, в 1915 г. — уже на 32,1 млн. пудов, в 1916 г. — на 25,5 млн. пудов, а за первую половину 1917 г. было выплавлено всего 98,9 млн. пудов. В соответствии с этим сокращалось производство полупродукта и продукта. В условиях непрерывного сокращения производства металла главная его масса направлялась на удовлетворение военных нужд, а на внутренний рынок с каждым годом от-

пускалось все меньше и меньше. По данным Военно-Промышленного комитета, для удовлетворения потребностей страны в 1915 г. из общей массы железа в 241,3 млн. пудов было отпущено только 60,8 млн. пудов. В то же время производство строительного железа сократилось с 41 млн. пудов до 15,7 млн. пудов. Нечего и говорить, что разруха в металлургической промышленности имела катастрофические последствия во всех отраслях народного хозяйства страны.

Но и фронт в скором времени почувствовал острый «металлический голод», хотя почти вся продукция металлургической промышленности получила исключительно военное направление. Вот как характеризовал состояние металлургической промышленности начальник штаба верховного главнокомандующего ген. Алексеев в своем докладе царю 15 (28) июня 1916 года: «Все без исключения работающие на оборону заводы испытывают нужду в металле, которого нехватает даже на текущую потребность. Кроме общих причин недостатка металла на мировом рынке, исключительной трудности доставки его в Архангельск и дальше по России, наступивший кризис объясняется неналаженностью добычи металла в России. У нас неисчерпаемые богатства руды, угля и флюсов. Но вместо широкого развития добычи металлов, столь нам необходимых, в Донецком районе из 62 домен потушено 17 и, как оказывается, из-за того, что не могут подвезти угля, руды и флюсов, находящихся в том же районе, и получить несколько тысяч рабочих рук. Министр торговли и промышленности заявил, что при теперешнем своем развитии промышленность, работающая на оборону, получит всего 50 проц. потребного ей материала. При таком угрожающем, почти трагическом положении вопроса о металле конечно нельзя рассчитывать на увеличение подачи снарядов и патронов».

В известной связи и параллельно с разрухой в металлургической промышленности развивалась разруха в топливобывающей промышленности. Своего топлива царской России никогда раньше нехватало, и она должна была в мирное время ежегодно ввозить около

60—70 млн. пудов каменного угля. Во время войны этот дефицит не только не был покрыт внутренним производством, но из года в год стал увеличиваться. Палада добыча и каменного угля, и нефти. К 1917 году добыча каменного угля сократилось на 20,6 проц., а нефти — на 25,0 проц. Ко всему этому необходимо добавить действие совершенно неумелой политики царского правительства в распределении топлива. Разделив всех потребителей топлива на привилегированных (работавших на оборону) и непривилегированных (работавших на внутренний рынок), оно вызвало в стране острый «топливный голод».

Транспорт царской России никогда не отличался высокими показателями своей работы. В мирное время он плохо справлялся с перевозкой разных массовых грузов, создавая большие заторы и многочисленные залежи товаров. Естественно поэтому, что в период войны транспорт показал полную свою неспособность разрешить новые гигантские задачи. С первого года войны он повел работу по линии наименьшего сопротивления, т. е. путем максимального напряжения сил за счет сокращения перевозок мирного назначения. В результате получилось, что уже в 1915 году хозяйственные перевозки мирного назначения по всей сети железных дорог сократились на 49 проц. по сравнению с 1913 г. С тех пор пришлось почти систематически прибегать к приостановкам пассажирского движения и к организации всякого рода «товарных недель».

Возраставшая военная нагрузка транспорта в огромной степени увеличилась в результате эвакуационного движения, которое началось летом и осенью 1915 г. в связи со ступлением русских армий из Галиции и Польши. По некоторым сведениям, перевозка беженцев только в течение двух летних месяцев 1915 г. заняла около 25 проц. всего вагонного парка. Эвакуационное движение окончательно запутало все перевозки и забило вагонами все дороги тыла.

Параллельно увеличивалось количество больных паровозов и вагонов. К 1917 г. больные паровозы составляли 29,4 проц., а больные вагоны — 7,1 проц. Из года в год сокращался суточный пробег вагонов. Уже зимою

1914—1915 года пробег вагонов на дорогах в полосе фронта сократился до 100 и даже менее верст в сутки.

При таких условиях не могло быть и речи о сколько-нибудь сносном развитии хозяйственного грузооборота внутри страны. Поэтому ген. Алексеев в своем докладе Николаю II с тревогой говорил: «В переживаемое время нет ни одной области государственной и общественной жизни, где бы не ощущались серьезные потрясения из-за неудовлетворенной потребности в транспорте. Для заводов, работающих на оборону, транспорт предоставляется с исключительным предпочтением и в несомненный ущерб всему остальному. Тем не менее даже особо покровительствуемые казенные заводы не получают всего необходимого им топлива, металлов, предметов оборудования и проч., что давно ими заказано и изготовлено, но не может быть доставлено к заводам и лежит месяцами в ожидании вывоза: «то нет вагонов», то «дают вагоны, но нет направления», то «нехватает пропускной способности данного участка пути». На теперешнюю производительность заводов артиллерийского ведомства и Путиловского завода запасов топлива и металлов может хватить лишь на несколько дней. Генерал Маниковский тщетно добивается предотвратить остановку Луганского патронного завода, которому необходимо немедленно подать минимальное хотя бы количество нефти, купленной, готовой и ожидающей очереди отправки из Баку. Обуховский завод морского ведомства также крайне нуждается в подвозе топлива и металлов. Частные же заводы поставлены в отношении получения топлива и материалов в несравненно худшие, прямо критические условия».

Более 30 проц. всей железнодорожной сети перешло в непосредственное ведение военно-полевого управления. Почти с самого начала войны было объявлено, что железные дороги закрыты для частных грузов и что они не несут никакой ответственности за своевременную доставку товаров. Прекращение работы транспорта на мирный грузооборот вызвало кризис в снабжении фабрик и заводов необходимым сырьем, а городов — продуктами продовольствия. На этой почве были порваны нормальные

рыночные связи в стране и началась бешеная спекуляция.

Война вызвала величайшую разруху в сельском хозяйстве. Она оторвала от производительного труда огромную массу взрослого мужского населения. В течение трех лет войны было мобилизовано около 18 млн. человек, из которых подавляющее большинство было взято из деревни. Насколько разрушителен был этот удар войны по сельскому хозяйству, можно судить хотя бы по тому, что в начале мобилизации всех крестьян в рабочем возрасте насчитывалось около 27 млн. Таким образом война вырвала из сельского хозяйства не меньше половины всех работников.

Но этим разрушительное влияние войны на сельское хозяйство далеко не ограничилось. Военные мобилизации конского состава и реквизиции волов в корне подорвали и без того сравнительно слабые производительные силы крестьянского хозяйства. В течение трех лет войны было взято из сельского хозяйства более 2 млн. голов лошадей в рабочем возрасте и огромное количество волов. Для военно-продовольственных целей за три года войны было убито около 18 млн. крупного рогатого скота, или 17 проц. предвоенного наличного состава, а все количество скота за время войны уменьшилось почти на 40 проц.

В связи с войной сильно сократилось внутреннее производство сельскохозяйственного инвентаря и почти полностью прекратился импорт его из-за границы. И без того слабое внутреннее сельскохозяйственное машиностроение настолько упало под влиянием войны, что к 1917 году давало всего лишь 15 проц. довоенной выработки. А импорт сельскохозяйственных машин сократился еще больше: в 1916 году было ввезено только 4 проц. довоенных размеров. В результате этого потребность сельского хозяйства в машинах могла быть удовлетворена только на 8—9 проц.

Свое наглядное производственное выражение все эти разрушительные факторы нашли в сокращении посевных площадей зерновых и технических культур.

По всей царской России к 1916 году посевные площади сократились на 8,4 проц. (неточные данные), при чем по

севи ржи сократились на 10,6 проц., посевы яровой пшеницы — на 17,3 проц., ячменя — на 7,5 проц., посевы льна — на 16,2 проц., конопли — 15,6 проц., картофеля — 16,9 проц. Особенно большое сокращение посевных площадей наблюдалось в следующих районах: в Средневолжском — 10,2 проц., Нижневолжском — 11,5 проц., Новороссийском — 13,0 проц., Северокавказском — 23,8 проц.

Прямым следствием разрушительного влияния войны на сельское хозяйство были продовольственные затруднения, которые к 1917 году выросли в голод.

Таким образом война в корне подорвала производственную базу народного хозяйства царской России и вызвала невиданный экономический кризис в стране. На этой почве в гигантских размерах обострились все классовые противоречия, и ветхая телега романовской монархии, залитая кровью и грязью, была сразу опрокинута.

Монархия перед крушением

Царское самодержавие в России представляло собою диктатуру крепостников-помещиков. В разные времена это классовое содержание царского самодержавия облекалось в разные формы, соответствующие различным этапам его развития. «Например, — говорит Ленин, — русское самодержавие XVII века — с боярской думой и боярской аристократией — не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма», и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян, разоряя их, открывая дорогу капитализму, вводя начало местных представительных учреждений буржуазии. К XX веку и эта последняя форма полуфеодального, полупатриархального самодержавия изжила себя». Однако эта эволюция царского самодержавия сама по себе несколько не устраняла классового господства — и притом открытого господства — крепостников-помещиков при иной оболочке.

Революция 1905—1907 годов вынудила царское самодержавие при-

крыть себя и, следовательно, представляемую им диктатуру крепостников-помещиков лжеконституционными формами. Царское самодержавие вело в тот период борьбу не на живот, а на смерть, и потому ему пришлось обратиться к иным средствам защиты. Совершенно обессилевшая бюрократия и расстроенная военными поражениями армия оказались тогда недостаточной гарантией. И вот царское самодержавие в борьбе с народной революцией обратилось, с одной стороны, к организации черносотенных элементов и устройству погромов, а с другой — оно вынуждено было сделать шаг по пути превращения в буржуазную монархию. Государственным переворотом 3 июня 1907 года и учреждением III Думы был «открыто закреплён и признан, — как говорит Ленин, — союз царизма с черносотенными помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии. Став по необходимости окончательно на путь капиталистического развития России и стремясь отстоять именно такой путь, который сохранял бы за крепостниками — землевладельцами их власть и их доходы, самодержавие лавирует между этим классом и представителями капитала. Их мелкие раздоры используются для поддержания абсолютизма, который вместе с этими классами ведет бешеную контрреволюционную борьбу с обнаружившими свою силу в недавней массовой борьбе социал-демократическим пролетариатом и демократическим крестьянством». Следовательно конкретно-историческое своеобразие новых форм, в которые облеклось царское самодержавие в результате первой революции, заключается в том, что оно создало представительное учреждение для определенных слоев буржуазии, на почве этого представительного учреждения заключило союз с крепостниками-помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии в целях сохранения и укрепления власти первых.

Такая сделка оказалась возможной потому, что «самодержавие, — как указывает Ленин, — издавна вскармливало буржуазию, буржуазия издавна пробила себе рублем и доступ к «верхам», и влияние на законодательство и управление, и места на ряду с благородным дворянством». А кроме того, — и это

имело решающее значение, — сама буржуазия боялась революции больше, чем реакции; она определенно хотела сохранить монархию и крепостнические учреждения для защиты от рабочих. Если буржуазия вообще ненавидела царское самодержавие, то исключительно за неумение управлять, за грубые промахи в политике, что влекло обострение недовольства народных масс, что вызывало угрозу революционных потрясений.

Таким образом после первой революции не только была сохранена диктатура крепостников-помещиков, но удержался и абсолютизм. Пользуясь мелкими раздорами между крепостниками-помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии, царское самодержавие старалось всячески поддерживать абсолютизм, укрепить и, в конечном счете, высвободить его совершенно даже из легких псевдоконституционных пут. Вся политика царского самодержавия до последних дней его существования была проникнута именно этим стремлением. В этих целях оно вынуждено было отказаться от веры в наивную, чисто патриархальную преданность крестьянской массы монархии и поставить свою ставку на крепкого мужика. В поисках союза с богатыми крестьянами царское самодержавие отдает им деревню на поток и разграбление. Оно сделало судорожные усилия, чтобы поскорее сломать все общинное землевладение и насадить исключительно частную собственность. Это была попытка осуществить прусский путь развития капитализма — путь мучительный для миллионов крестьянства, рассчитанный на постепенную капиталистическую перестройку крепостнических латифундий. Самым ярким представителем и вдохновителем такой политики царского самодержавия был Столыпин. Ленин говорит: «Столыпин — министр такой эпохи, когда во всей либеральной буржуазии, вплоть до кадетской, господствовало контрреволюционное настроение, когда крепостники могли опираться и опирались на такое настроение, могли обращаться и обращались с «предложениями» (руки и сердца) к вождям этой буржуазии, могли видеть даже в наиболее «левых» из таких вождей «оппозицию его

величества», могли слышаться и слышались на поворот идейных вождей либерализма в их сторону, в сторону реакции, в сторону борьбы с демократией и оплевывания демократии. Столыпин — министр такой эпохи, когда крепостники-помещики изо всех сил, самым ускоренным темпом повели по отношению к крестьянскому аграрному быту буржуазную политику, распростившись со всеми романтическими иллюзиями и надеждами на «патриархальность» мужичка, ища себе союзников из новых, буржуазных элементов России вообще и деревенской России в частности».

При Столыпине диктатура крепостников-помещиков была поставлена в лучшие для нее условия, ибо либеральная буржуазия служила царскому самодержавию не за страх, а за совесть, служила верою и правдою. Пока народная революция была еще силой, пока диктатура крепостников-помещиков испытывала страх перед революционным натиском рабочих и крестьян, до тех пор царское самодержавие привлекало всегда готовую к услугам «его величества» либеральную буржуазию, вплоть до самых «левых» ее вождей, к участию в разных совещаниях, к разным переговорам и сговорам. Но по мере того, как этот страх проходил; по мере того, как спадала волна рабоче-крестьянской революции; по мере того, как укреплялась диктатура крепостников-помещиков в новых условиях,—по мере этого царское самодержавие сбрасывало маски, постепенно отбрасывая прочь всех вождей либеральной буржуазии, действуя пинком солдатского сапога сначала в спину более «левых», а потом—более умеренных. В эпоху Столыпина царское самодержавие взяло от контрреволюционных настроений либеральной буржуазии решительно все, что можно было взять для укрепления диктатуры крепостников-помещиков, для полной стабилизации абсолютизма.

Таким образом, сделав шаг по пути превращения в буржуазную монархию, царское самодержавие укрепило всевластие и всевластие крепостников-помещиков. Ленин говорил: «Именно «их власть и их доходы...» обеспечивают шаг по пути такого превращения царизма

в буржуазную монархию. Перерождение хозяйства крепостников в буржуазное отнюдь не устраняет непосредственно политической власти этих черносотенцев: это ясно и с точки зрения азбуки марксизма, это видно хотя бы из опыта Пруссии после 60-летнего «перерождения» (с 1848 года)... Шаг по пути превращения в нечто новое несколько не устраняет старого, скажем, «бюрократического» строя с его громадной самостоятельностью и независимостью, с его Толмачевски-Рейнботовским (и проч. и проч.) «своеобразием», с его финансовой бесконтрольностью. «Почерпая силы» от поддержки верхов буржуазии, бюрократия рекрутируется не из них, а из старого, совсем старого, не только дореволюционного (до 1905 г.), но и дореформенного (до 1861 г.) помещного и служилого дворянства. «Получая мотивы для своей деятельности» в значительной степени от верхов буржуазии, бюрократия дает чисто крепостническое, исключительно крепостническое направление и облик буржуазной деятельности. Ибо, если есть разница между буржуазностью прусского юнкера и американского фермера (хотя оба они несомненно буржуа), то не менее очевидна и не менее велика разница между буржуазностью прусского юнкера и «буржуазностью» Маркова и Пуришкевича. По сравнению с этими последними прусский юнкер прямо-таки «европеец»!

Основной всевластия и всевластия крепостников-помещиков были их латифундии, сложившиеся в результате всеобщего ограбления крестьян в 1861 году. Эта «чистка земель» дала русским лэндлордам, по данным на 1875 год, из 97,3 млн. десятин «частновладельческих» земель 73,5 проц., или 76,6 млн. десятин. Однако крепостники-помещики не смогли создать для себя прочной экономической базы ни внутри своих латифундий, ни в окружающей экономической среде: они не нашли крепкого капиталистического фермера и сами не превратились в капиталистических землевладельцев-предпринимателей. Крепостники-помещики «хозяйствовали путем кабальной земельной эксплуатации (обработки) массы малоземельного и маломощного крестьянства или постепенно

ликвидировали свои поместья на основе повышенной капитализации этих кабальных рент. И только незначительное меньшинство крепостников-помещиков сумело перестроить свои латифундии на капиталистических началах, сумело превратиться в капиталистических землевладельцев-предпринимателей. Таким образом столыпинская попытка разрешить «сверху» объективно необходимые задачи буржуазной революции, провести чистку средневековых, запутанных аграрных отношений в деревне, поставить царскую Россию на прусский путь развития капитализма потерпела полный крах. Поэтому Ленин говорил: «В жизни, а не в либеральной утопии мы видим господство пуришкевичевщины, умеряемой воркотней Гучковых и Милоковых. «Умеренно-прогрессивные» октябристы и кадеты увековечивают, а не подрывают это господство. Противоречие между этим господством и несомненно идущим вперед буржуазным развитием России становится все острее (а не слабее, как думают теоретики «неизбежного компромисса»). Движущей силой разрешения этого противоречия могут быть только массы, т.-е. пролетариат, ведущий за собою крестьянство».

Но в дальнейшем царское самодержавие не хочет терпеть даже этой безобидной воркотни либеральной буржуазии. Чем дальше от первой революции, тем смелее становится царское самодержавие в борьбе за реставрацию старого абсолютизма. В октябре 1913 года министр внутренних дел Н. Маклаков решительно берет курс на роспуск IV Государственной Думы. В связи с этим он написал Николаю II письмо, в котором изложил свой план. Царь не только одобрил этот план, но пошел еще дальше. В ответном письме Маклакову он говорит: «С теми мыслями, которые вы желаете высказать в Думе, я вполне согласен. Это именно то, что им давно следовало услышать от имени моего правительства. Лично думаю, что такая речь министра внутренних дел своей неожиданностью разрядит атмосферу и заставит г. Родзянко и его присных закусить языки. Если же паче чаяния, как вы пишете, поднимется буря и боевое настроение перекинется за стены Таврического дворца, тогда нужно будет при-

вести предлагаемые вами меры в исполнение: роспуск Думы и объявление Питера и Москвы на положении чрезвычайной охраны. Переговорите с председателем в совете министров об изготовлении и высылке мне указов относительно обеих мер.

Также считаю необходимым и благонамеренным немедленно обсудить в совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи учреждения Государственной Думы, в силу которой, если Дума не согласится с изменениями Государственного Совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это—при отсутствии у нас конституции—есть полная бессмыслица! Представление на выбор и утверждение государя мнений и большинства, и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности и притом в русском духе». Эта директива Николая II несколько обескуражила даже Маклакова, ибо он увидел, что речь идет о более серьезном деле, чем простой роспуск Государственной Думы. Для такого шага правительству еще не было подготовлено, и поэтому Маклаков не решился поставить «высочайшее повеление» на рассмотрение совета министров. Осуществление этой «давнишней мысли» царя тогда по условиям времени было только отложено, но не отвергнуто, не отставлено совсем. Решено было несколько лучше подготовиться и при более подходящих условиях решительным натиском превратить Государственную Думу в «законосовещательное» учреждение. Проникнутое стремлением к восстановлению «прежнего спокойного течения законодательной деятельности и притом в русском духе», царское самодержавие начинает империалистическую войну.

Теперь либеральная буржуазия снова бросилась в объятия к царизму и, отложив в сторону мелкие взаимные счеты, начала усиленно призывать народ к «единению с царем» в интересах обеспечения гражданского мира, в интересах полной победы над внешним врагом. И это понятно, ибо война целиком соответствовала империалистическим интересам капиталистического класса, а кроме того, она парализовала серьезную

опасность со стороны нарастающего революционного движения рабочих и открыла огромные возможности для наживы внутри страны. На торжественном заседании Государственной Думы 26 июля 1914 года Милюков говорил, что только в результате войны должно наступить «окончательное разрешение нашей вековой национальной задачи: выхода к свободному морю, без которого не может быть закончено строение великого государственного организма, без которого организм этот будет постоянно потрясаться судорогами нарушенного обмена и не выйдет из чужой зависимости... Господа, в этой войне все наше прошлое и все наше будущее, и этим, я думаю, все сказано». А кадетская газета «Речь» тремя днями раньше писала: «Своим подлым нападением они (т.-е. немцы) заставили Россию встрепенуться, они об'единили ее от края до края и обратили ее в несокрушимую скалу. В три дня образовалась титаническая спайка с единой мыслью, с единым чувством. Счастлив тот, кто живет в эти великие исторические дни». Другие либерально-буржуазные газеты захлебывались от восторга по поводу царского манифеста и патетически взывали к народу: «В грозный год испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом!»

Однако царское самодержавие мало обращало свое внимание на пресмыкательство либеральной буржуазии и готовило ей в спину новый солдатский пинок. Перед открытием торжественного заседания Государственной Думы 26 июля 1914 г. депутаты были поражены неожиданным известием о том, что царское правительство намерено отложить следующую сессию до ноября 1915 года. «Мы никак не хотим верить», — писала на следующий день кадетская «Речь», — чтобы речь могла идти серьезно о подобном плане. Такая мера стояла бы в слишком резком противоречии с намерением поддержать и укрепить «единение царя с народом». Кое-как первый конфликт либеральной буржуазии с царизмом во время войны удалось при помощи Кривошеина урегулировать, и подготовленный пинок был несколько смягчен, — созыв Думы пра-

вительство назначило не в ноябре, а в феврале 1915 года.

Пока война велась с некоторым успехом, до тех пор либеральная буржуазия из кожи лезла вон и всячески поддерживала «единение царя с народом», поддерживаясь от каких бы то ни было открытых оппозиционных выступлений. Но вот с весны 1915 года началась полоса поражений царских армий, и с тех пор либеральная буржуазия острожно усваивает оппозиционный курс. Большое огорчение и недовольство либеральной буржуазии было вызвано тем, что царское правительство отказало фабрикантам и заводчикам в выдаче военных заказов. Затем сильное влияние на поведение либеральной буржуазии оказало усиление хозяйственной разрухи. Наконец прибавилась угроза сепаратного мира. Все это послужило причиной роста оппозиционности либеральной буржуазии. Но отсюда еще не следует, что она изменила в верности царскому самодержавию. Нет, до последнего момента это была «оппозиция» лакеев, верноподданнически пресмыкающихся перед своим хозяином.

Вопрос о военных заказах вскоре был разрешен, и либеральная буржуазия в этом отношении добилась необходимого удовлетворения. Была проведена мобилизация промышленности, и «высочайшего одобрения удостоилось» положение об образовании особого комитета по надзору за распределением и выполнении военных заказов, созданного по инициативе Родзянко при военном министерстве под председательством военного министра. Царское правительство вынуждено было пойти навстречу домогательствам буржуазии под ударами военных поражений, которые свидетельствовали об огромных недостатках в организации снабжения. Затем были образованы военно-промышленные комитеты и значительно расширены функции еще ранее организованных земского и городского союзов. Таким образом буржуазии была предоставлена возможность принять участие в организации обороны, которого она добивалась в целях максимального полного использования всех выгод военной конъюнктуры, а также для того, чтобы предотвратить угрозу поражения, краха

своих империалистических вождлений и революционного взрыва внутри страны.

Но царское правительство с самого начала не особенно благоволило ко всем этим буржуазным организациям. Дело в том, что буржуазия вознамерилась рассматривать свои комитеты и союзы как органы осторожной борьбы за постепенное овладение властью. Кадет Н. Тесленко говорил тогда: «Тот, кто умеет работать, будет хозяином страны». При этом однако он оговаривался, что «общественная мысль далека от устранения работы правительственных органов, напротив, всеобщее желание пойти с ними рука об руку, но думается, что общественные силы в этой совместной работе сумеют показать такие результаты, что перед всей страной станет очевидной разница между бюрократией и людьми из общества». Таким образом буржуазия мечтала о постепенном вращении во власть через свои комитеты и союзы. Этого конечно царское самодержавие не могло потерпеть и начало преследовать буржуазные организации.

Между тем положение дел на фронте с каждым днем ухудшалось. Летом 1915 года войска очистили Галицию и начали отступать из Польши и Прибалтийского края. Расстройство транспорта и хозяйственная разруха достигали угрожающих размеров. Поползли слухи об измене. Настроение буржуазии стало резко падать. Теперь буржуазная оппозиция начала переходить, как говорил Милюков, от «патриотического подвема» к «патриотической тревоге». Правительство несколько отступило, будучи вынуждено к тому огромными неудачами на фронте. Военный министр Сухомлинов и министр внутренних дел — любимец царя — Н. Маклаков были отставлены. Полковник Мясоедов, избалованный в шпионаже, был расстрелян. На место Сухомлинова назначили генерала Поливанова, хотя он и был в большой немилости у царя. Еще большей уступкой «общественному мнению» явилось назначение Самарина обер-прокурором синода. Эта фигура была особенно неприятна царице, которая после его на-

значения писала Николаю: «Теперь опять начнутся сплетни насчет нашего друга (Распутин), и все пойдет плохо». Наконец царское правительство сделало еще одну уступку, решившись с большим надрывом созвать 19 июля Государственную Думу, чтобы выслушать «голос земли русской». До этой сессии тактика буржуазной оппозиции, несмотря на большую словесную шумиху, была более чем умеренна. И это естественно, ибо либеральная буржуазия даже не думала предпринимать какие-либо решительные шаги для борьбы с правительством. Милюков например прямо предупреждал своих партийных коллег: «Не поддерживать сейчас правительство, это значило бы шутить с огнем».

Теперь положение изменилось, и буржуазная оппозиция принуждена была, хотя и робко, но прибегнуть к критике правительства. Смысл всех выступлений представителей либеральной буржуазии на этой сессии Государственной Думы сводился к требованию реформ в целях победоносного завершения войны и прежде всего к обновлению власти, к созданию кабинета обороны из людей, «облеченных доверием страны». Буржуазия наивно верила, что царь проникнется «глубоким убеждением в необходимости» такого правительства, и даже подготовила список новых министров, который был опубликован для пробы в газете Рябушинского «Утро России». Небольшая заметка в номере от 13 августа сообщала: «Сегодня в думских кулуарах циркулировал следующий список лиц, проектируемых думской оппозицией в состав кабинета обороны: премьер-министр — М. В. Родзянко, министр внутренних дел — А. И. Гучков, министр иностранных дел — П. Н. Милюков, министр финансов — А. И. Шингарев, путей сообщения — Н. В. Некрасов, торговли и промышленности — А. И. Коновалов, главноуправляющий земледелия и землеустройства — А. В. Кривошеин, военный министр — А. А. Поливанов, морской министр — Н. В. Савич, государственный контролер — И. Н. Ефремов, обер-прокурор синода — В. Н. Львов, министр юстиции — В. А. Маклаков, министр народного просвещения — граф П. Н. Игнатьев».

Конечно все это прожектёрство оказалось впустую. Царское самодержавие не хотело даже и думать о допущении буржуазии к власти.

Систематические поражения на фронте, углублявшаяся хозяйственная разруха, угроза проигрыша войны, усиление стеснений в работе буржуазных организаций на оборону, обострение недовольства народных масс, опасность революционного взрыва внутри страны — все это поднимало оппозиционность думских представителей либеральной буржуазии. Новым поворотом в тактике буржуазной оппозиции явилось образование прогрессивного блока, который был оформлен в августе 1915 года. Знаменателен был тот факт, что на одной платформе объединились теперь не только оппозиционные представители буржуазии, но и помещиков, не только депутаты Государственной Думы, но и члены Государственного Совета. Этот факт выражал собою образование глубокой трещины внутри господствующих классов, значительное сужение социальной базы абсолютизма.

В центре внимания всех господствующих классов стоял вопрос о войне. Это был узел, в котором увязывались все основные проблемы внешней и внутренней политики. Чем дальше продолжалась война, тем яснее вырисовывалась опасность революционного взрыва внутри страны. В 1916 году стало очевидным для всех господствующих классов, что главная опасность угрожает уже не извне, а внутри. Как предотвратить эту главную опасность? Прогрессивный блок видел спасение только в доведении войны до победоносного конца. В этом убеждении его усиленно поддерживали представители англо-французского капитала, которые были кровно заинтересованы в сохранении царской России на стороне Антанты.

Заправили царского самодержавия, т. е., с одной стороны, представители крупнейших русских аграриев, а с другой — представители синдиката банков и совета съездов металлургической промышленности, видели спасение в сепаратном мире. Непосредственным проводником этой политики в правительственных кругах был Распутин. Этот факти-

ческий правитель царской России в последние годы ее существования был теснейшим образом связан с такими воротилами банковского и промышленного мира, как Манус, Рубинштейн, Путилов и др., а также с руководителями «правых» групп крепостников-помещиков, возглавлявших черносотенное движение. Через Распутина они и осуществляли свой курс на сепаратный мир. Кстати сказать, «сибирский мужик» издавна отличался пацифистским образом мыслей. Еще в октябре 1913 г., беседуя с представителем одной газеты о балканской войне, Распутин говорил: «Ведь вот, родной, ты-то, к примеру сказать, пойми!.. Была война там, на Балканах этих. Ну, и стали тут писатели в газетах, значит, кричать: быть войне, быть войне!.. И нам, значит, воевать надо... И призывали к войне, и разжигали огонь. Да... А вот я спросил бы их, спросил бы писателей: — Господа! Ну, для чего вы это делаете? Ну, нешто это хорошо?.. Надо укрощать страсти, будь то раздор какой, аль целая война, а не разжигать злобу и вражду. И вот, конечно, тому и тем, кто совершил так, что мы, русские, войны избегли, кто доспел в этом, надо памятник поставить, истинный памятник, говорю... И политику мирную, против войны, надо счесть высокой и мудрой».

При помощи сепаратного мира эти заправили царского самодержавия рассчитывали умиротворить страну, покончить с оппозицией прогрессивного блока и восстановить абсолютизм в первоначальной чистоте. Особенно энергично сепаратисты начали подбираться к власти со второй половины 1915 года. Поворотным моментом в этом направлении было увольнение от должности верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, который пользовался особенными симпатиями прогрессивного блока, и разгон в сентябре Государственной Думы. Этими мероприятиями был нанесен жестокий удар претензиям империалистического объединения буржуазии и капиталистических помещиков на приближение к государственному аппарату и открыт широкий доступ к власти пацифистских элементов. С тех пор и началась знаменитая министерская «чехарда», посред-

ством которой Распутин и царица осуществляли подбор надежных людей.

Осенью 1915 года царская камарилья ставит на очередь вопрос о подготовке выборов в V Государственную Думу, ибо в ноябре 1917 года истек срок полномочий IV Думы. Инициатива заблаговременной подготовки выборов принадлежала царице, Руководящие принципы, которые предполагалось положить в основу выборов, исходили также от царицы. На вопрос о том, представителей каких именно партий можно допустить в V Государственную Думу, сохранившаяся записка министерства внутренних дел отвечала: «Надлежит признать, что допустимы правые октябристы и желательны более консервативные элементы. Левые октябристы настолько переплелись с прогрессистами и кадетами, что найти иную, кроме наименования, грань, отделяющую их друг от друга, почти невозможно...» Кроме того, большие надежды возлагались на православное духовенство, которое рекомендовалось противопоставлять левым октябристам и кадетам. В записке, разработанной в первой половине 1916 г. Штюмером, графом Бобринским и Гурьяндром, намечалась следующая тактика выборной кампании: «Успех выборов может быть достигнут при соблюдении двух главных условий: полной тайны и единства действий всех органов правительства, начиная с самых высших и кончая мелкими провинциальными чиновниками. Принятое правительством решение подготавливаться теперь же к кампании должно оставаться неизвестным для оппозиционных партий, которым желательно прививать обратную мысль о том, что правительство очень склонно продлить полномочия членов IV Государственной Думы». Так Распутин, Николай II и Александра Федоровна собирались обставить прогрессивный блок.

Однако в конце 1916 года вопрос о подготовке выборной кампании отходит на задний план. Теперь уже не до того: внутреннее положение настолько ухудшилось, что потребовались более радикальные средства. Черный стан трепетал перед нараставшей революцией. Крепостники-помещики и финансовые магнаты мобилизовались и выработали план

борьбы против «внутреннего врага». Влиятельнейший кружок сенатора Римского-Корсакова представил Николаю II записку, в которой предлагалось для «подавления мятежа» провести следующие мероприятия: назначить на все высшие государственные и командные должности в армии таких людей, которые не только всегда были известны своей преданностью «единой царской самодержавной власти», но и способны стать «решительными и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом и анархией». В сем отношении они должны быть единомышленны и твердо уверены в том, что никакая иная примирительная политика невозможна; они должны, кроме того, клятвенно засвидетельствовать перед лицом монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от монарха получить всю полноту власти».

Немедленно распустить Государственную Думу без указания срока ее созыва; но «с определенным напоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей основных законов и положений о выборах в Государственный Совет и Думу». В Петрограде и Москве, а также в больших городах тотчас же ввести военное положение, «со всеми его последствиями, до полевых судов включительно». Немедленно закрыть повсюду «все органы левой и революционной печати».

Милитаризовать все заводы, фабрики и мастерские, работающие на оборону, а всех рабочих, пользующихся отсрочкой, перечислить в разряд призванных и подчинить их всем законам военного времени.

Оставить Государственный Совет, впредь до общего пересмотра основных законов, и обязать его представлять все законопроекты «на высочайшее благоусмотрение с мнением большинства и меньшинства». Реорганизовать состав Государственного Совета таким образом, чтобы среди назначенных лиц «не было ни одного из участников так называемого прогрессивного блока».

Царь, с некоторым промедлением, сделал попытку осуществить эту программу государственного переворота. 8 февраля 1917 года он поручил своему любимцу Н. Маклакову написать манифест

о роспуске Государственной Думы, которая должна была собраться 14 февраля. В своем ответном письме 9 февраля Маклаков говорил: «Власть больше чем когда-либо должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешне-го».

22 февраля 1917 г. по новому стилю Маклаков отвечал царю согласием выполнить его поручение, а 26 февраля австрийский министр иностранных дел граф Чернин получил предложение о заключении сепаратного мира. Эта хронологическая связь указывает на определенное стремление царского самодержавия подкрепить государственный переворот сепаратным миром. Но грянувшая революция взорвала все эти планы.

Резкий поворот в политике царского самодержавия, ознаменовавшийся увольнением с поста верховного главнокомандующего Николая «большого», вызвал новый прилив оппозиционности в рядах либерально-империалистической буржуазии. Теперь на очередь был поставлен вопрос об овладении государственным аппаратом путем устранения из правительственных сфер «темных сил» и создания «министерства общественного доверия». В этом стремлении к власти либерально-империалистическую буржуазию особенно подстрекал страх перед нараставшим революционным движением. Вот что рассказывает Родзянко о своей беседе с Штюмером: «Я передал ему резолюции председателей губернских земских управ, в которых повторялось то, о чем уже неоднократно говорили правительства, — что оно не использовало патриотического подъема страны, пребывало в течение всей войны в борьбе с народным представительством, что оно при таких условиях не в силах успешно закончить войну и довело до такого положения, когда главная опасность угрожает не извне, а внутри». Совсем трагически звучит письмо Гучкова начальнику штаба верховного главнокомандующего ген. Алексееву в августе 1916 г.: «Если вы подумаете, что вся эта власть

возглавляется г. Штюмером, у которого (и в армии, и в народе) прочная репутация, если не готового уже предателя, то готового предать, что в руках этого человека ход дипломатических сношений в настоящем и исход мирных переговоров в будущем, — а, следовательно, и вся наша будущность, — то вы поймете, Михаил Васильевич, какая смертельная тревога за судьбу нашей родины охватила и общественную мысль, и народные настроения.

Мы в тылу бессильны или почти бессильны бороться с этим злом. Наши способы борьбы обоюдоостры и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализовать. Я уже не говорю, что нас ждет после войны — надвигается потоп, а жалкая, дрянная, слякотная власть готовится встретить этот катаклизм теми мерами, которыми ограждают себя от хорошего проливного дождя: надевают галони и раскрывают зонтик.

Перед лицом угрозы сепаратного мира и явной опасности революции либерально-империалистическая буржуазия становится на путь подготовки дворцового переворота. «Распутиниада» привела царское самодержавие к предельной изоляции. «Темные силы» взбудоражили теперь даже многих членов царской фамилии. Родзянко в своих воспоминаниях это подтверждает. Великий князь Николай Михайлович говорил ему: «Они, бог знает, что делают своей неумелой политикой. Они хотят все русское общество довести до иступления». Однажды Родзянко пригласила к себе великая княгиня Мария Павловна — мать великого князя Кирилла Владимировича — и повела с ним разговор «о создавшемся внутреннем положении, о бездарности правительства, о Протопопове и об императрице. При упоминании ее имени она стала более волноваться, находила вредным ее влияние и вмешательство во все дела, говорила, что она губит страну, что благодаря ей создается угроза царю и всей царской фамилии, что такое положение долгие терпеть невозможно, что надо изменить».

устранить, уничтожить...» В начале января к Родзянко неожиданно приехал великий князь Михаил Александрович. В беседе с ним Родзянко говорил о вредном влиянии Александры Федоровны. «Ее и царя окружают темные, негодные и бездарные лица. Александру Федоровну яростно ненавидят. всюду и во всех кругах требуют ее удаления. Пока она у власти, — мы будем идти к гибели.

— Представьте, — сказал Михаил Александрович, — то же самое говорил моему брату Бьюкенен. Вся семья знает, насколько вредна Александра Федоровна. Брата и ее окружают только изменники. Все порядочные люди ушли».

Упоминание здесь Бьюкенена очень характерно. Оно показывает, что представитель английского капитала в свою очередь был весьма заинтересован в дворцовом перевороте. Но дело, как известно, не ограничивалось такими «представлениями». Бьюкенен, вместе с французским послом, играл выдающуюся роль в подготовке дворцового переворота. Союзники давно заметили, что при русском дворе не все благополучно и всячески поощряли либерально-империалистическую буржуазию к более решительным действиям. В этой связи достойна внимания речь Ллойд-Джорджа, которую он произнес в начале августа 1915 года: «На востоке небо еще темно и пасмурно, звезды застилаются тучами. Я с беспокойством смотрю на этот предвещающий бурю горизонт, но не страшусь его. Сегодня я видел проблески новой надежды, озаряющей небо. Неприятель в своем победоносном шествии не ведает, что творит. Пусть он остережется, потому что он снимает оковы с русского народа. Своей чудовищной артиллерией германцы разбивают вдребезги ржавые оковы, в которые закован русский народ. Он расправляет свои могучие члены, сбрасывает с себя душившие его развалины старого здания и готовится к борьбе, преисполненной новой силой».

Начался отход от данной верхушки царского самодержавия и черносотенных помещиков, которые почувствовали, что дворянство находится «на краю пропасти». Показательным фактом в этом

отношении является участие Пуришкевича в убийстве Распутина.

Дворцовый переворот непосредственно подготовлялся несколькими кружками. Наиболее решительно был намерен действовать офицерский кружок, возглавлявшийся ген. Крымовым. Предполагалось напасть на царский поезд во время очередной поездки Николая II в ставку и предложить ему подписать отречение от престола. Если бы царь отказался, то собирались «физически его устранить». Новым царем намечали провозгласить наследника Алексея, а регентом — Михаила Александровича. Характерно, что все кружки имели в виду водворить на престол Алексея с регентством Михаила.

Чем руководствовалась либерально-империалистическая буржуазия, решившись пойти на дворцовый переворот? Она руководствовалась тем соображением, что иначе невозможно предотвратить революцию и обеспечить доведение войны «до победоносного конца». Надо было добиться создания ответственного министерства. Как это сделать? Милюков отвечал: «Против идеи достигнуть этой цели революционным путем парламентское большинство боролось до самого конца. Но, видя, что насильственный путь будет все равно избран и помимо Государственной Думы, оно стало готовиться к тому, чтобы, ввести в спокойное русло переворот, который оно предпочитало получить не снизу, а сверху».

Первоначально дворцовый переворот намечали на первые числа января, когда царское самодержавие собиралось разогнать Государственную Думу. Это стало известно правительству. Предвидя вероятно намечавшееся выступление, оно ограничилось только отсрочкой созыва Думы. В связи с этим пришлось отсрочить и дворцовый переворот примерно до середины февраля. Но подготовка продолжалась.

Готовилось и царское самодержавие. Революция уже стучалась в двери. Но правительство не намерено было идти на какие-либо уступки. Для подавления революции усиленно вооружали полицию. Из военного ведомства были затребованы пулеметы. Чердаки приспособля-

лись для обстрела восставшего народа. Правительство рассчитывало нагайкой и расстрелами обуздать наступавшую революцию. За несколько дней до февральского переворота Александра Федоровна энергично наставляла Николая: «Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Дай им почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут». Это странно, но такова русская натура».

Грянул гром общенародного восстания. Но либерально-империалистическая буржуазия не хочет его победы. Все свои силы она мобилизует для того, чтобы направить бурные потоки революции в узкое русло дворцового переворота. Быстро воздвигаются и тут же рушатся одна за другой плотины из разных монархических комбинаций. Милюков негодует и с досадой отмечает: «Николай не хотел рисковать сыном, предпочитая рисковать братом и Россией в ожидании неизвестного будущего... Отказываясь от решения, хотя и трудного, но до известной степени подготовленного, он вновь открывал весь вопрос о монархии в такую минуту, когда весь этот вопрос только и мог быть решен отрицательно. Такова была последняя услуга Николая II родине». Таким образом одну плотину помешал воздвигнуть сам царь, отказавшись перед лицом гигантского напора народной революции бросить в запруду своего сына. Для Милюкова этот «подвох» Николая II имел первостепенное значение, ибо теперь уже нельзя было создать «сильной власти», нуждающейся «в опоре привычного для масс символа власти, а временное правительство одно без монарха явится утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных волнений». И как жалела потом либерально-империалистическая буржуазия, что комбинация с «привычным для народных масс символом власти» не состоялась. Как старалась она отстоять против революционного народа и сохранить в неприкосновенности монархический принцип. Не удалось. Монархия погибла навсегда. Но в этом совсем неповинна буржуазия и капиталистические помещики. Они сделали все, что могли для спасения монархии и династии.

Движущие силы, характер и перспективы февральской революции

Империалистическая война началась в момент наивысшего подъема рабочего движения, когда оно приближалось по своим размерам к движению 1905 г. Перед самой войной в Питере, например дело дошло до всеобщей забастовки, принявшей массовый революционный характер, и даже до баррикад. Революционная борьба рабочих развертывалась под руководством партии большевиков, которая по-ленински сочетала приемы подпольной и легальной работы.

Империалистическая война несомненно внесла огромную дезорганизацию в рабочее движение. Однако многолетняя работа нашей партии среди рабочих не пропала даром. Несмотря на общий шовинистический угар в стране, несмотря на предательство меньшевиков,—передовые русские рабочие достойным образом ответили на об'явление войны. В Питере и Москве были отмечены отдельные попытки к устройству революционных демонстраций против войны. Но тогда эти попытки царскому самодержавию удалось быстро ликвидировать.

В годы войны рабочее движение не прекратилось, хотя оно и оказалось в чрезвычайно тяжелых условиях. Забастовки возникали стихийно, продолжались недолго и носили преимущественно экономический характер. Определенное нарастание интенсивности рабочего движения началось уже со второй половины 1915 г. В дальнейшем забастовки с каждым годом принимали все более массовый характер. Известное представление о размерах забастовочного движения в годы войны могут дать следующие данные фабричной инспекции: в 1914 г. на одну забастовку приходилось в среднем 378 бастовавших рабочих, в 1915 г. — 518 рабочих, в 1916 г.—711 рабочих. Чем дальше, тем больше забастовок политического характера. Особенно резко эта тенденция проявлялась в движении металлистов.

В начале 1917 г. обозначился гигантский подъем революционной борьбы рабочего класса на почве острого, продовольственного кризиса и неви-

данной хозяйственной разрухи. Вследствие развала транспорта почти прекратился подвоз продовольствия в Петроград и Москву. В связи с кризисом топлива и сырья началось значительное сокращение и закрытие многих промышленных и торговых предприятий. Один только январь 1917 г. дал 244 тыс. бастовавших рабочих. Из этого количества только по политическим причинам бастовало 162 тыс. чел., или 66,4 проц. В Питере забастовочное движение началось крупными стачками в день 9 января. Сравнительно быстро движение перекидывается за пределы столицы. Это видно хотя бы из того, что на долю периферии в январе приходилось около 63 проц. бастовавших рабочих. На отдельных заводах рабочие после митингов устраивали уличные демонстрации с красными флагами под лозунгом «долой войну». Повсеместно активное участие в революционных выступлениях против голода принимали женщины. С каждым днем нарастало возмущение против главного виновника войны — против царизма.

Либерально-империалистическая буржуазия решила воспользоваться поднимающимся рабочим революционным движением, чтобы вынудить у царского самодержавия «ответственное министерство». В ход были пущены гвоздевцы — руководители рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета. На заседании бюро рабочей группы 16 января было решено повести на фабриках и заводах работу с тем, чтобы вывести рабочих на демонстрацию к Таврическому дворцу 14 февраля, в день открытия сессии Государственной думы, и потребовать там «учреждения временного правительства, опирающегося на организующийся в борьбе народ, способного вывести страну из тупика и губительной разрухи, укрепить в ней политическую свободу и привести к миру на условиях, приемлемых как для русского пролетариата, так и для пролетариата других стран». Питерские большевики развернули решительную борьбу против этой попытки втянуть рабочий класс в буржуазную авантюру и противопоставили лозунгу гвоздевцев — «поддержать Государственную думу» — лозунг борьбы против буржуазной думы,

против царского самодержавия, против империалистической войны. Они призывали рабочих выступить 10 февраля — в день годовщины суда над большевистской фракцией Государственной думы. Большевики всколыхнули рабочие массы и в конце концов добились своего. Правда, 10 февраля демонстрация не удалась, потому что это был неудачный день — пятница на масленице, зато 14 февраля рабочие бастовали и многие вышли на улицу с лозунгами: «Долой правительство», «Долой войну», «Да здравствует республика!»

Империалистическая война всколыхнула и крестьянство, обнажив острые противоречия аграрных отношений в деревне. Известно, что столыпинская попытка разрешить эти противоречия «сверху» не только потерпела крах, но привела их к еще большему обострению. Бросив общину на поток и разграбление «крепким мужикам», Столыпин безусловно в огромной степени стимулировал процесс дифференциации внутри крестьянства, но он не ликвидировал «вековой тяжбы» между всем крестьянством и помещиками. Земельный голод накануне войны достиг невиданных размеров. Пользуясь этим голодом, крепостники-помещики каablyчно эксплуатировали маломощных крестьян и с черствостью Шейлока реализовывали свои кабальные ренты. Например в 1909 г. они продавали через Крестьянский банк участки до 5 десятин по 310 руб., а участки свыше 500 десятин — по 71 руб. за десятину. Совершенно очевидно, что эта система была рассчитана специально на ограбление массового покупателя земли. После этого не приходится удивляться тому, что к 1915 г. вся крестьянская задолженность по Крестьянскому банку достигла суммы около 2 миллиардов рублей.

В течение пятидесяти лет крестьяне купили у помещиков 30,4 млн. десятин. Но кто этими землями воспользовался? Оказывается, только 4,6 млн. десятин были куплены «обществами», т.-е. более или менее маломощными крестьянами, а остальные 25,8 млн. десятин попали в руки преимущественно «крепких мужиков». Однако и эти последние не могли быть в особом восторге, ибо они отвлекали колоссальные капиталы

от производительного употребления. Вот почему гвоздем революционной борьбы всего крестьянства попрежнему оставался аграрный вопрос.

Империалистическая война обрушилась величайшим бедствием на крестьянство. Но далеко не по всем слоям она ударила одинаково. Больше всего пострадали от войны, естественно, бедняки и середняки. Что касается сельской буржуазии, то она была в выигрыше, особенно в первый период войны.

Вначале крестьяне приняли войну в качестве «божьей кары» и рассчитывали, что за все невзгоды военного времени они будут вознаграждены землей, которую отвоюют у немцев и австрийцев. Так, например из Екатеринославской губ. в департамент полиции доносили: «В народе ходят слухи, распространяемые нижними чинами, прибывающими в отпуск, что по окончании войны правительство должно отдать бесплатно все завоеванные земли участникам текущей войны. Народ этому охотно верит». Но чем дальше, тем больше война проясняла политическое сознание крестьянства. С каждым новым призывом запасных и реквизицией скота усиливалась разруха сельского хозяйства. Особенно большой удар крестьянам был нанесен призывом в 1915 г. ратников ополчения второго разряда. С тех пор начался сильный рост недовольства и раздражения в деревне. Вопрос о мире начинает все более и более занимать умы крестьян. «Вот берут, берут, берут солдат,—говорят они,—а толку нет: ни мира, ни победы». Наконец в деревню поползли слухи «о случаях будто бы государственной измены в высшем командном составе, подкупах, о взяточничестве, уклонении офицеров от руководства вверенными частями. Последнее время,—говорится в том же донесении,—пущен слух о том, что взято сравнительно ничтожное количество пленных и что правительство распорядилось перевозить по железным дорогам одних и тех же пленных взад и вперед, чтобы убедить народ в наших военных успехах». Скоро крестьяне увидели, что вся тяжесть войны ложится только на их плечи, а помещики и в известной степени кулаки уклоняются от военных повинностей. Растет сознание противоположности интересов

крестьян и господствующих классов. 1916 г. начинаются разговоры о «нужности вооружаться и уничтожать господ». В одном донесении говорится: «В последнее время крестьяне стали особенно часто толковать о праве своем не только на так называемые немецкие земли, но и на земли помещиков». Таким образом, деревня снова поставила вопрос о земле и заговорила о «господах».

Война основательно подорвала престиж монарха в глазах крестьян. Условно распространяются антидинастические настроения. «Настроение деревни стало резко оппозиционным не только к отношению к правительству, но даже к другим недеревенским классам населения—чиновникам, духовенству и т. д. В конце 1916 — начале 1917 гг. деревне отмечается «революционное брожение, в роде того, которое имело место в 1905—1907 годах. Повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются ячки разных организаций... Таким образом,—говорит в заключение вернувшийся с Поволжья уполномоченный в продовольствию,—крестьянство несомненно окажется весьма действительным участником нового и неизбежного движения».

Настроения тыла оказывали серьезное революционизирующее влияние на армию и наоборот. Следовательно, между армией и тылом существовало определенное взаимодействие, которое установилось с самого начала войны. В эту войну было поставлено под ружье около 18 млн. чел. Такой многочисленной армии царское самодержавие никогда не знало. В отличие от старой каровой армии с вымуштрованными солдатами и дворянским командным составом армия в годы войны резко изменила свой состав. Чем дальше затягивалась война, тем больше армию заполняли запасные и ратники, а командный состав обновлялся буржуазно-разночленным и мелкобуржуазным элементом. Огромное значение имело то обстоятельство, что в армию было призвано много рабочих, которые играли в ней важную революционную роль.

Настроение армии резко ухудшилось под влиянием военных поражений весной и летом 1915 года. Агентурные донесения после этого сообщали: «В армии складывается все больше убеждение в том, что немца победить невозможно, что в командных верхах господствует измена, что солдат предадут и даром посылают на убой, что в атаку не стоит итти», уже тогда началось дезертирство, с которым трудно было бороться «в виду известного благожелательного отношения к дезертирам сельских властей».

Разложение армии усиливалось на почве растущей хозяйственной разрухи и расстройств транспорта. Фронт систематически и в огромных размерах недополучал пушки, снаряды, ружья и патроны, а солдаты ощущали острый продовольственный голод. В конце 1914 — начале 1915 г. А. Куропаткин записал в своем дневнике: «Приехал А. И. Гучков с передовых позиций. Очень мрачно настроен. Много рассказывал. С продовольствием не справляются в армии. Люди голодают. Сапог у многих нет. Ноги завернуты полотнищами... Особенно тревожно состояние артиллерийских запасов. Читал мне приказ командира корпуса не расходовать более 3—5 снарядов в день на орудие... Ружья не во всех частях приспособлены к стрельбе новым прицелом. Укомплектования несвоевременны. Одна стрелковая бригада не получила укомплектования 3 месяца... Были случаи возмутительные: целые роты вместо контратаки подходили к германской траншее и поднимали ружья—сдавались. Утомились лишениями и войной. В армии много говорят о том, что надо скорее изменить порядки».

Усиливался антагонизм между солдатами и командным составом, разваливалась палочная дисциплина. Дело дошло до того, что офицеры не решались вести свои команды в бой «в виду опасности быть убитыми своими же людьми». Вместе с тем все более развивалась политическая сознательность солдат. Революционная пропаганда достигла больших успехов. Уже весной 1916 г. агентурные донесения отмечали, что армия определенно ждет революции и к ней готовится. Среди солдат крон-

штадтской крепостной артиллерии распространился слух, что 1 мая «возможны среди рабочих манифестации на почве прекращения войны. К беспорядкам этим якобы неминуемо примкнут и военные части, находящиеся на передовых позициях». В конце 1916—начале 1917 г. сравнительно часто отмечались случаи, когда солдаты отказывались итти на усмирение забастовщиков, а в ответ на принуждения грозили «вернуть ружья и палить в фараонов».

Так назревало в широких рабочих-крестьянских массах свержение царского самодержавия. После 14 февраля в Петрограде революционное движение с каждым днем непрерывно поднималось. Новый резкий подъем обозначился 23 февраля—в международный женский день. Тогда,—как описывала «Правда»,—«была объявлена стачка на большинстве фабрик и заводов. Женщины были настроены очень воинственно. Не только работницы, но массы женщин, стоящих в хвостах за хлебом, за керосином. Они устраивали митинги, они преобладали на улицах, двигались к городской думе с требованием хлеба, они останавливали трамваи. «Товарищи, выходите!»—раздавались энергичные возгласы. Они являлись на фабрики и заводы и снимали с работы. Вообще женский день прошел ярко, и революционная температура начала с этого дня подниматься».

На следующий день забастовочное движение охватило новые фабрики и заводы. Невский был залит тысячами народу. Шедших с Выборгской стороны встретила на Литейном мосту стена казаков, при чем полковник замахнулся шашкой. Один рабочий был ранен, тогда у полковника вырвали из рук шашку и бросили ее за борт моста в Неву. Казаки же говорили: «Нажмите сильнее, и мы вас пропустим».

В субботу, 25 февраля, к движению примыкают остальные заводы, типографии, трамвай, и забастовка принимает характер всеобщей. Десятки тысяч граждан и гражданок стекаются к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Делаются попытки устраивать митинги, демонстрации, происходит ряд столкновений с полицией. Толпа постепенно растет. Среди нее много

солидных, взрослых рабочих, которые идут сомкнутыми рядами с красными знаменами по Невскому проспекту к Знаменской площади. Она достигает десятков тысяч. Многочасовой митинг прерывается столкновениями с конной полицией. У памятника Александру выступает ряд ораторов. Начинается стрельба со стороны полиции, один из ораторов падает раненым. Есть и убитые. И в этот момент совершается нечто, вызвавшее большой энтузиазм толпы. Раздается залп со стороны казаков по конной полиции, и она во весь опор скачет на Гончарную улицу и останавливается вдали, а пристав падает мертвым. Голова его рассечена шашкой; громкие крики «ура» оглашают площадь, казакам машут платками, шапками. Толпа ликует.

В воскресенье, 26 февраля, движение продолжалось с возросшей силой. Против народа были двинуты войска. Город превратился в боевой лагерь. Черные силы обстреливали демонстрантов с чердаков и колоколен. Революционное возбуждение среди пролетариата и демократических кругов достигает высшего под'ема.

В понедельник, 27 февраля, к революционному народу примкнули восставшие полки: Волинский, Павловский и Литовский. Вместе с рабочими они двинулись к тюрьмам. Были освобождены заключенные. Начался разгром полицейских участков и охранного отделения. Восставший народ приступил к арестам всех подозреваемых в поддержке старого режима. Красные ленточки и банты появились в петлицах и на головных уборах большинства граждан. На домах развевались красные флаги...

Под руководством рабочего класса соединенными усилиями восставших солдат и революционного народа царское самодержавие было свергнуто. Образовался Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, а рядом с ним—Временный комитет Государственной думы. В ночь на 1 марта социал-соглашательские руководители Совета передали власть в руки либерально-империалистической буржуазии и капиталистических помещиков. «Настоящая революция буржуазная,—говорили они,—и, стало быть, не может обойтись без участия буржуазии у вла-

сти. Задача революции и ее ближайшая цель определяются классовой природой февральско-мартовского переворота».

Так закончился первый этап русской революции. Чем объяснить тот факт, что монархия развалилась в несколько дней? Этот факт объясняется сочетанием целого ряда условий всемирно-исторической важности. В качестве главных из них Ленин указывал, во-первых, на революцию 1905—1907 гг. и на контрреволюцию 1907—1914 гг., «без которых невозможно было бы такое точное «самоопределение» всех классов русского народа и народов, населяющих Россию, определение отношения этих классов друг к другу и к царской монархии, которое проявило себя в восемь дней февральско-мартовской революции», во-вторых, на империалистическую войну, которая «с объективной необходимостью должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить классовую борьбу пролетариата против буржуазии, должна превратиться в гражданскую войну между враждебными классами». Февральская революция как раз и выражала собою начало этого превращения.

Каковы движущие силы февральской революции? Из всего предыдущего изложения с полной очевидностью следует, что подлинными и движущими силами февральской революции были пролетариат и крестьяне. Ленин говорил: «Революционные рабочие и солдаты разрушили до основания гнусную царскую монархию, не восторгаясь и не смущаясь тем, что в известные, короткие, исключительные по конъюнктуре исторические моменты на помощь им приходит борьба Бьюкенена, Гучкова, Милюкова и К°, желавших только смены одного монарха другим». Следовательно по своим движущим силам февральская революция была рабоче-крестьянской и солдатской революцией.

Какие объективно-исторические задачи стояли перед февральской революцией? Она должна была уничтожить монархию и очистить весь строй общественно-экономических отношений от феодально-крепостнических пережитков, особенно в области аграрного быта деревни. Кроме того, в данных конк р е т н о-исто-

рических условиях она должна была решать вопрос о мире, ибо это был основной вопрос революционно-освободительной борьбы рабочих, крестьян и солдат. Следовательно по своим непосредственным объективно-историческим задачам это была буржуазная революция.

Итак, какой же характер имела февральская революция? По своему характеру февральская революция была буржуазно-демократической революцией. Но это была в высшей степени своеобразная буржуазно-демократическая революция. В чем это своеобразие заключалось?

Ленин говорил: «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве... Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции и как в строго научном, так и в практически-политическом значении этого понятия». Что в этом смысле представляет собою февральская революция? Что она выражает собою? Февральская революция выражает тот факт, что «старая царская власть, представлявшая только кучку крепостных помещиков, командующую всей государственной машиной (армией, полицией, чиновничеством), разбита и устранена, но не добита. Монархия не уничтожена формально. Шайка Романовых продолжает монархические интриги. Гигантское землевладение крепостников-помещиков не ликвидировано. Образовалось Временное правительство. «Это правительство—не случайное собрание лиц. Это представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса капиталистических помещиков и буржуазии, который давно правит нашей страной экономически и который как за время революции 1905—1907 гг., так и за время контрреволюции 1907—1914 гг., как наконец—притом с особенной быстротой—за время войны 1914—1917 гг. чрезвычайно быстро организовывался политически, забирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, и с'езды разных видов, и думу, и военно-промышленные комитеты и т. д. Этот новый класс «почти совсем» был уже у власти к

1917 г., поэтому и достаточно было первых ударов царизму, чтобы он развалился, очистив место буржуазии... Государственная власть в России перешла в руки нового класса, именно: буржуазии и обуржуазившихся помещиков. По этому поводу,—говорит Ленин,—буржуазно-демократическая революция в России закончена».

Но рядом с Временным правительством нового класса буржуазии и капиталистических помещиков февральская революция поставила «еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство: Советы Рабочих и Солдатских Депутатов». По своему классовому характеру это другое правительство представляло собой революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Таким образом, «в высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие». Таким образом, февральская революция вполне подтвердила учение Ленина и большевистские лозунги о социальном-классовом содержании буржуазно-демократической революции в России.

В чем заключается сущность этого учения Ленина? На основе опыта революции 1905—1907 гг. и учитывая особенности социально-экономического развития России, Ленин говорил, что «социальным содержанием ближайшей революции в России может быть только революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Это он говорил в октябре 1915 г., целиком оставаясь на позициях 1905—1907 гг. Но никогда Ленин и большевики не рассматривали и не могли рассматривать революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства как самоцель, как предел. Разъясняя значение Временного революционного правительства, которое должно было явиться юридическим выражением этой диктатуры, Ленин еще в период первой русской революции говорил: демократический переворот усилит господство буржуазии. «Это неизбежно при данном, т.е. капиталистическом, общественно-экономическом строе. А результатом усиления господства буржуазии

над сколько-нибудь свободным политически пролетариатом неизбежно должна быть отчаянная борьба между ними за власть, должны быть отчаянные попытки буржуазии «отнять у пролетариата завоевания революционного периода». Борясь за демократию впереди всех и во главе всех, пролетариат ни на минуту не должен забывать поэтому о таящихся в недрах буржуазной демократии новых противоречиях и о новой борьбе...»

«...Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии...»

«...Мы всеми силами поможем всему крестьянству сделать революцию демократическую, чтобы тем легче было нам, партии пролетариата, перейти как можно скорее к новой и высшей задаче—революции социалистической. Мы не обещаем никакой гармонии, никакой уравнительности, никакой «социализации» из победы теперешнего крестьянского восстания,—напротив, мы «обещаем» новую борьбу, новое неравенство, новую революцию, к которой мы и стремимся...»

«...От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути...»

«...У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое—самодержавие, крепостничество, монархия, привилегия. В борьбе с этим прошлым, в борьбе с контрреволюцией возможно

«единство воли» пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов. Ее будущее—борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно. Тут перед нами не дорога от самодержавия к республике, а дорога от мелкобуржуазной демократической республики к социализму». Так представляли себе Ленин и большевики ход буржуазно-демократической революции в России еще в 1905 г.

Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства осуществилась в период февральской революции. Но она осуществилась чрезвычайно оригинально, своеобразно «Жизнь, — говорил Ленин, — ввела ее из царства формул в царство действительности, облекала ее плотью и кровью, конкретизировала и тем самым видоизменила». В действительности получилось так, что «существуют рядом, вместе, в одно и то же время и господство буржуазии (правительство Львова и Гучкова), и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, добровольно отдающая власть буржуазии, добровольно превращающаяся в придаток ее».

Это своеобразие тогда игнорировали правые большевики во главе с т. Каменевым, изображая дело так, будто они являются ортодоксальными проводниками старого стратегического плана нашей партии, а Ленин и его сторонники скатываются на троцкистские позиции, отказываются от плана 1905 года, перепрыгивают через незавершенную еще крестьянскую революцию. Тов. Каменев утверждал в тот период, что буржуазно-демократическая революция еще не закончена, что аграрный вопрос еще не разрешен, что революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства еще не осуществлена. Из этих взглядов вытекал тот практически-политический вывод, что партия должна продолжать борьбу под своим прежним лозунгом, что партия должна вести пролетариат на борьбу вместе со всем крестьянством до полной победы революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, что партия должна перейти к мелкой буржуазии

против революционной классовой борьбы пролетариата.

Каменевщина ничего общего не имела: ленинским пониманием стратегического плана 1905 года, она представляла собою лишь безобразную карикатуру на этот план, за которую мог хвататься Гроцкий, чтобы «фундировать» ею свою клеветническую «теорию» о весеннем «перевороте» Ленина и большевиков. Каменев действительно пытался «отколоть» партию на путь «буржуазно-демократического самоограничения пролетариата» и парализовать борьбу партии за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. «Ошибка т. Каменева,—говорил Ленин,—в том, что он и в 1917 году смотрит только на прошлое революционно-демократической диктатуры и пр., и пр. А для нее на деле уже началось будущее, ибо интересы и политика наемного рабочего и хозяйчика на деле уже разошлись, притом по такому важнейшему вопросу, как «оборончество», как отношение к империалистической войне». Тов. Каменев не хотел тогда считаться с новыми явлениями в аграрном быту деревни. А «новым» в аграрных отношениях России после февральского переворота,—говорит г. Сталин,—с точки зрения дальнейшего развития революции Ленин считал не общность пролетариата и крестьянства в целом, а раскол беднейшего крестьянства с зажиточным крестьянством, из коих первое, т.-е. беднейшее крестьянство, тянуло к пролетариату, а второе, т.-е. зажиточное крестьянство, шло за Временным правительством...

«Ошибка т. Каменева... состоит в неумении подметить и подчеркнуть разницу между двумя частями мелкой буржуазии, в данном случае—крестьянства, в неумении выделить беднейшую часть крестьянства из всей массы крестьянства в целом и построить на этом политику партии в обстановке перехода от первого этапа революции в 1917 году ко второму ее этапу, в неумении вывести из этого новый лозунг, второй стратегический лозунг партии о диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства».

В февральско-мартовские дни самодержавие было свергнуто пролетариатом и под его руководством в сем крестьянством. Следовательно первый стратегический лозунг из плана 1905 г. был осуществлен на деле. После февральско-мартовских дней большевики повели борьбу уже под новым лозунгом, под вторым стратегическим лозунгом, под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Двоевластие выражало собою переходный момент в дальнейшем развитии революции. «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Таким образом февральско-мартовские дни целиком подтвердили ленинскую установку классовой политики нашей партии, выработанную еще в период первой революции. «Только пролетариат и крестьянство могут свергнуть монархию—таково было основное по тогдашнему времени определение нашей классовой политики. И это определение было верно. Февраль и март 1917 года,—говорит Ленин,—лишний раз подтвердили это. Только пролетариат, руководящий беднейшим крестьянством (полупролетариями, как говорит наша программа), может кончить войну демократическим миром, залечить ее раны, начать ставшие безусловно необходимыми и неотложными шаги к социализму,—таково определение нашей классовой политики теперь».

Таким образом, авторы коллективной «Истории ВКП(б)» под общей редакцией тов. Ярославского не имели никаких оснований утверждать, что «объективная связь революции против царизма с революцией против империализма была осознана партией еще в годы войны», что эта связь «нашла свое выражение в новой постановке Лениным вопроса о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую»; что «в связи с данной войной она нашла свое выражение в подготовке смены стратегических планов». Это есть грубейшее извращение, карикатурное

изображение действительной политики нашей партии, которое льет воду на мельницу троцкистских фальсификаторов истории большевизма. Таким образом, печально прославившийся «историк» Волоосевич действует как типичный троцкистский контрабандист, когда утверждает например, что в период войны нашей партией «вопрос о русской революции ставится не в плоскости перерастания ее внутри страны, а в плоскости ее перехода в мировую гражданскую войну»; что вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую был поставлен только в 1917 году; что в период февральской революции «партия не могла дать правильной оценки чрезвычайно сложного момента и... продолжала старую стратегическую линию на довершение буржуазно-демократической революции»; что лозунг революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства первоначально «не всегда связывался с идеей власти советов и выставлялся в отвлеченной форме».

Троцкистские клеветники и фальсификаторы берут каменевщину с ее карикатурным изображением ленинского стратегического плана 1905 года и при помощи каменевщины «оперируют» над историей большевизма, чтобы вместо действительной политической линии Ленина и нашей партии протащить политическую линию контрреволюционного троцкизма. Такой чисто контрабандистский прием объясняется тем, что они не могут открыто и прямо выступить против ленинизма, против действительного большевизма. Партия под руководством ленинского ЦК, возглавляемого тов. Сталиным, разоблачила этот прием и беспощадно ударила по гнилому либерализму.

Февральская революция была первым этапом русской революции. На этом этапе был осуществлен первый лозунг нашей партии из стратегического плана 1905 года. Вслед затем наша партия развернула борьбу под новым лозунгом,

вторым стратегическим лозунгом из этого плана, под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Борься против перехода к следующему этапу, т. Каменев обвинял Ленина в том, что он уходит на троцкистские позиции. Выходит, таким образом, что т. Каменев не понимал сущности ленинского стратегического плана 1905 года и вместе с тем не понимал сущности троцкистской «теории» перманентной революции. В ответ на это обвинение Ленин прямо отвечал: «Если бы я сказал: «без царя, а правительство рабоче е», — эта опасность мне бы грозила. Но я сказал не это, я сказал иное. Я сказал, что другого правительства в России (не считая буржуазного) не может быть помимо Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Я сказал, что власть может перейти в России теперь от Гучкова и Львова только к этим Советам, а в них как раз преобладает мелкая буржуазия, выражаясь научным, марксистским термином, употребляя не житейскую, не обывательскую, не профессиональную, а классовую характеристику... Я не только не «рассчитываю» на «немедленное перерождение» нашей революции в социалистическую, а прямо предостерегаю против этого, прямо заявляю в тезисе № 8: «Не введение социализма как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны СРД за общественным производством и распределением продуктов». Не ясно ли, что человек, рассчитывающий на немедленное перерождение нашей революции в социалистическую, не мог бы восстать против непосредственной задачи введения социализма?» Так ставили Ленин и наша партия вопрос о дальнейшем развертывании борьбы в новых условиях, о переходе к следующему этапу революции под лозунгом диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Под этим лозунгом партия привела рабочий класс и беднейшее крестьянство к победе в Октябре.

Люди и факты

1. М. Лукьянов. Столица ткачей.—2. П. Лукнидкий. Э. „синим памирским камнем“.

1. СТОЛИЦА ТКАЧЕЙ

М. Лукьянов

Ранний утренний час. В предрасветный сон мохнатых, заснеженных сосен врывается медная трель. Два колокольчика звенят одновременно в двух корпусах санатория — мужском и женском. Каждый корпус затейлив, обвит наружными винтовыми лестницами, избегающими к вышкам. Каждый корпус чем-то подобен индийской пагоде. Оба корпуса вместе и еще многочисленные службы, каменные сараи, сарайчики, кухня были семейной дачей родовитого ивановского фабриканта Гарелина. Один корпус принадлежал отцу, другой — сыну. Имена «корпусов» эти узорчатые двухэтажные деревянные дома получили много позднее, когда в одном из них стали лечиться больные туберкулезом ивановские текстильщицы, а в другом — текстильницы.

Утро, звонок на под'ем. Медицинская сестра разносит термометры по палатам. Санаторий в центре густейшего соснового парка, любимого места прогулки ивановцев. Вокруг санатория—изгородь, «парк в парке», внутренний сад, куда вход посторонним строго воспрещен. Но к их услугам все остальное пространство, богатство торжественных сосен, усыпавших хвоей аллеи, белизна случайных гостей — стройных невест — берез. До революции не было внутренней изгороди, была одна внешняя: весь парк целиком, громадина-парк, был под запретом, дышать ароматным и чистым воздухом мог только хозяин с семьей. Тогда парк назывался Гарелинским. Традиции речи сильны. Как мы, атеисты, случайно и часто говорим «ей-бо-

гу», так ивановцы до сей поры зовут парк Гарелинским. Официально же парк — Степановский. Василий Яковлевич Степанов был революционером, большевиком. С первых дней революции он работал в президиуме ивановского горсовета, а в двадцатом уехал с отрядом ткачей-коммунаров на деникинский фронт. Был комиссаром дивизии и с фронта не вернулся, — сыпной тиф.

Ранний утренний час... Еще неразличимо-смутны дорожные ландшафты для пассажиров московского поезда, чей грохот и гром доносится до пробужденного санатория: свистя и шипя, поезд летит по мосту через Уводь, близ парка, а парк расположен над Уводью, этой потомственной радужной речкой ивановских ткачей. Радужной — от нефти. от красок, кислот—текла Уводь десятилетиями. Теперь она стала чистой. Теперь может расти безвредная трава на лысевших, отравленных прибрежных полях: в городе для стока фабричных вод построен коллектор. Но пассажир, едущий в Иваново впервые, — а таких в московском поезде ежедневно большинство, — ничего об этом не знает. Как вообще не знает об Иваново-Промышленной области и о городе Иваново-Вознесенске, ее центре, почти ничего.

И вот, обогнув парк и окраину города, Хуторово, поезд подходит к станции Иваново, Северных железных дорог. Большинство из прибывших с поездом пассажиров увидят ивановский вокзал впервые (каждый день в Иваново приезжает много новых людей, город непрерывно растет), и вокзал непременно

разочарует неподготовленных. А «подготовленных» и подавно: человек, допустим, нашпигован цифрами и фактами о том, что Иваново-Промышленная — одна из крупнейших индустриальных областей Союза; что фабрики ее перерабатывают почти половину всего хлопка, поступающего на предприятия СССР, и свыше трех четвертей льна; что Иваново-Вознесенск — «советский Манчестер», «столица ситцевого края», «город контрастов»... А вокзалишко — вот он контраст! — встречает низенький, крохотный деревянный, и четкий рельеф сохранившейся надписи, не скрывая, говорит: «Построен в 1894 году».

Но в зябком рассветном тумане проступают, слева от выхода к площади, контуры высокого, плечистого массива — многоэтажной базы Текстильного треста, светлостенного склада-гиганта. А позади, в спешке вагонного сбора вещей, продвижения к площадке, остался, промелькнув незамеченным, и новый вокзал. Он строится, не доезжая до старого; железо-бетонный, он уже почти готов, в нем будет три этажа, сеть проходо-в-туннелей, восьмидесятиметровый зал. Две с половиной тысячи человек поместится в нем.

Так, еще при выходе из вагона, рождаются на ивановской земле контрасты и противоречия для тех, кто впервые становится на славную эту землю ткачей-борцов. И от них не уйти ни на одной из ивановских улиц, ни в одном из городских углов, ибо нет в Иванове жизни гладкой, нормализованной, безбурной, — есть повседневная и победная война с прошлым, с живучими его следами, есть жизнь засученных рукавов и невиданных переделок, бунт строительства, упорная радостная рабочая жизнь.

Двухцветные, кремово-голубые, матовым лоском мороза блестят подоспевшие к вокзальному поезду такси. Извозчики застегивают санки полостями, мохнатыми, как здешняя приволжская старина. Первые автобусы прикатили к поезду, и тает зябнущая очередь чемаданов, портпледов, корзин. Но позволяйте хотя бы в мечте заставить пассажира не торопиться: пусть вместо города пройдет он дальше по путям, за вокзал, на северо-восток. Его издали встретит

настороженно-приподнятая бетонная голова, угловой выступ-башня стекляннo-верхой фабрики без труб. Это прядильная «Красная Талка», построенная в 1928 году; в ней—120.000 веретен; в ней—залитые дневным и электрическим светом рабочие залы, и если по местным, традиционным нормам на увлажнение воздуха и вентиляцию требовалось триста тысяч рублей, то на «Красной Талке» взяты американские нормы, и не триста, а девятьсот тысяч истрачено для того, чтобы легко дышалось рабочим-прядильщикам весь день.

Фабрику закладывали в 1927 году, в первый день мая, на глинистых берегах Талки, второй ивановской знаменитой речушки. Тысячи гостей с оркестрами и знаменами пришли сюда из города, день был солнечный, но холодный, и ветер тихонько шептался с вершинами жиденьких сосен, уцелевших кой-где на глинистых берегах. На митинге говорилось много речей, речи журчали воспоминаниями, — не вспоминали ли и ветер те исторические дни, когда густой Витовский бор покрывал берега?.. Это было на двадцать два года раньше, в 1905 году. Маем пятого года прогремел город Иваново-Вознесенск на всю Российскую империю. В далекий, невидный еще с тех времен семнадцатый год заглянули тогда ивановские ткачи. Шестидесять пять дней длилась «майская стачка» 40.000 рабочих. Во время стачки здесь, на берегах Талки, в лесу и на поляне собирались бастующие; двадцативосьмилетний Евлампий Дунаев говорил здесь горячие речи ткача, и многотысячные собрания недаром были прозваны «университетом политико-экономических наук». Здесь между 13 и 14 мая 1905 года был избран первый в России — а значит и в мире — ивановский совет рабочих депутатов. Гравер с фабрики Зубкова Авенир Евстигнеевич Ноздрин был первым председателем первого совета.

Рабочий, революционер и поэт, один из тех, кто со Шкулевым и Нечаевым зачинали рабочую поэзию, он жив и сейчас, Авенир Ноздрин. Он был на закладке «Красной Талки». Через полтора года, осенью 1928 года, он был на открытии фабрики. Он живет в Иванове и сейчас, а фабрика давно уж работает

полным ходом; этой фабрикой и очень многим другим восхищаются советские ли, иностранные ли гости. Авефир Ноздрин давно получает персональную пенсию, но ведет кипучую работу в литературной молодежи. Ему лучше многих известны увенчанный позорным манифестом год, полицеймейстер Кожеловский на Талке, нагайки, приклады и шашки; истекающий кровью Федор Афанасьев («Отец») и «Трифоныч» — «Арсений» — Фрунзе, порывавшийся броситься один с револьвером на казаков... годы новых смертей и новых под'емов... Ивановские ткачи сполна уплатили истории за право самим для себя строить такие фабрики, как эта «Красная Талка»!

Но это — история. Где ее знать новичку! Не будем задерживать отправление автобуса; кондуктор нажал звонок, грузная машина покачнулася, свертывая за угол, и вот Шереметевская улица легла первой, далеко уходящей, прямой улицей в город и улицей очень странной. Шереметев был графом, чьей крепостной вотчиной являлось село Иваново, ставшее городом лишь в 1871 году. Теперь улица Фридриха Энгельса. Но не с графских ли, чего доброго, времен нелепый её вид, вздыбленное, горбатое, в столбиках шоссе посреди и незамощенные пространства внизу, по бокам, справа и слева?.. То взбираясь на дикие кручи, то нехотя сползая вниз, вьются по сторонам подобия тротуаров. Два этажа встретишь довольно редко, чаще один. Но сходят на-нет обочины шоссе, нет и самого шоссе, дорога с'езживается, превращаясь в хорошую мостовую, и автобус, тормозя, с'езжает к широкому мосту с чугунными перилами.

Внизу все та же Уводь, петлистая, гуляющая по городу речонка, имя которой недаром производят от глагола «уводить». А за мостом, на другом высоком берегу паром и дымом окутаны длинные фабричные корпуса — Сосневская прядильно-ткацкая и ситцепечатная мануфактура. В свое время рабочие-сосневы первыми в области подписали «социалистическую клятву», заключив договор соревнования с Тверью. Но приезжому и этого не знать. Теперь автобус везет его тише, в гору, и есть время смотреть в левые окна и презри-

тельно щуриться на уездные, неказистые дома; повертываться к правым окнам и растерянно удивляться: «Та ли это улица?!» Она самая. Что влево, что вправо — Соковская, и Соковским был мост, который сейчас переехали. В 1781 году Соков открыл в Иваново первую ситценабивную фабрику; древние то были времена, и древние сваи до сих пор уцелели в воде у моста. Горбатый уродливый мостишко исчез осенью 1930 года, его сменил асфальтированный новый. А имя осталось Соковский; прежнее имя носит и улица, но улица меняется уже не по годам: по месяцам, по дням!

Да, левая сторона Соковской мало еще привлекательна, хотя и на ней бежит например новый хлебозавод с машинами конструкции прославленного Марсакова. И на левой строится например Ивановский химико-бактериологический институт. Но справа ветхая улица отдала новым, спешащим дням целые кварталы провинциально-убогих домишек. На месте домишек возникли углы и фасады многоэтажных строений. Общжития студентов ивановских вузов... Промышленная академия... Дома профессоров... Тут будет целый городок науки и техники, он займет несколько кварталов под ряд. А на углу Михайловской, напротив редакции областного «Рабочего края», еще недавно... «был пустырь». В очерках лютым шаблоном стала эта фраза, но что делать, если в Иванове каждый год исчезают десятки таких шаблонов, и на углу Михайловской в самом деле был пустырь. На пустыре стояла каменная сторожка. Ее сломали, прихватив заодно и соседствовавший с пустырем каменный дом в два этажа, еще прочный. Дома не жалко: на две улицы раскинулся теперь колоссальный, вот именно «колоссальный» дом-дворец. И не дом, и не дворец — иваново-вознесенский политехнический институт имени Фрунзе. Снежно-белое сияние колонн фасада... громадины-окна аудиторий и лабораторий... сколько противореальных пластинок потратили на тебя, институт, фотокорреспонденты центральных и местных изданий!

Но пора разделяться с приезжим. Мы ссадим его на остановке у Михай-

ловской, пусть дойдет до гостиницы пешком, — недалеко. Это — на следующем углу от института. Еще два только года назад стояли здесь домики, каменные и деревянные. Когда начали строить гостиницу, много гордились ивановцы: «Будет первое шестизэтажное здание в Иванове». Еще бы!.. Но в тот же сезон, к концу стройки, — а строили механизированным способом, без лесов, — гостиничная гордость потускнела: в тот же сезон в другой части города, в Посаде, возник дом для рабочих-ударников на 250 квартир, высотой в 7, а частью и в 9 этажей. Тем не менее гостиница есть, на смену дореволюционного типа гнуснейшим «номерам» она принесла необходимый комфорт, чистоту, удобства-обслуживания и даже пассажирский лифт: в Иванове лифт появился впервые.

От гостиницы близко центральная площадь Революции, и автобусы к центру проходят по Красному мосту. Влево от моста — сквер, там летом цветы и трава, играют дети. Решеткой обнесена могила, за могилой — высокая мачта. Мачту обвивают черный цвет траура и красный цвет революции.

Каждый год, 23 августа, ивановцы вспоминают «событие». Оно произошло в 1915 году, тогда еще не было в России нового стиля и поэтому улица, прилегающая к мосту, зовется улицей 10 августа: в названии улицы не тронут старый стиль. И само событие было в стиле тех времен, — такие случались тогда нередко.

Дороговизна жизни стала непосильной. Объявив трехдневную забастовку, рабочие требовали хлеба. Приехавший из Владимира с войсками губернатор предложил выбрать делегатов, письменное ручался в их безопасности. Делегаты были избраны, несколько подешевела мука, снова пошла фабрика, а все организаторы стачки были предательски брошены в тюрьму. К вечеру 10 августа рабочие пошли к тюрьме добиваться освобождения товарищей. Перед тюрьмой стояли солдаты, а с площади в тыл рабочим, остановившимся на мосту, заехали казаки. Рабочий Зиновьев обратился к солдатам с речью. Но — сигнальный свисток, залп... и Зиновьев упал мертвым. Протестуя, кричала вы-

шедшая вперед женщина, но упала и она, и еще 28 человек. Их стегали плетьюми, топтали копытами, и тридцать изуродованных трупов остались на Приказном мосту. Теперь мост зовется Красным, и могила с решеткой, и траурная мачта повествуют в немом красноречии о случившемся всего лишь 16 лет назад.

Город растет, и первая пятилетка, уже сейчас преобразующая его облик, — только начало грандиозной перепланировки, проект которой рассчитан на 30 лет. Скоро станет просторней на площади; двенадцать улиц выйдут к ней своими концами, площадь станет подлинным центром столицы ткачей. Уже выпрямляется идущая к площади Соковская улица, сносятся мешающие движению дома, засыпаются рвы... Рвами, оврагами, ямами город был богат. Идите с площади Революции вправо, по Социалистической — центральной улице городского района. Вот темносерое здание Госбанка, многооконный параллелепипед, массив. Здание обширно, монументально... но еще недавно тут был глубокий овраг. Над бывшим оврагом возвысились этажи. А через дорогу, почти напротив Госбанка, этажи поднялись еще выше — на месте старинной часовни. Здесь, рядом с телефонной станцией, вырос новый центральный почтамт. Высокое здание, к тому же на горе, сверху, с крыши, открывается вид на ближние и дальние районы, на фабрики с трубами и без них, на широкий, размашистый город, — он по территории своей только в два раза с небольшим меньше Берлина.

Социалистическую продолжает Советская; это уже за новым мостом через Уводь, Туляковским, у ткацкой и ситцевой фабрики имени Молотова. За мостом начинается Сталинский район; когда-то он существовал отдельно от села Иванова и носил имя — посад Вознесенский. Вознесенской звалась другая ивановская площадь, вот в этом самом посаде; сейчас это площадь Дворца труда, там в праздники собираются десятки тысяч ткачей-демонстрантов, радиуропоры ежедневно гремят речами, пением и музыкой до поздней ночи, и уверенно поднята над площадью рука бронзового Ленина. До недавних времен тут синела куполами Вознесенская церковь. А те-

перь здесь вторая механизированная фабрика-кухня, но не в здании церкви, а на месте его: взорванные аммономом, развевались кирпичные стены в розовый дым.

Так развеялось в дым рабское, по-долго рабское прошлое ивановских ткачей:

Здесь, в Иваново-Вознесенске, десятки тысяч людей своим изнурительным трудом на грохочущих фабриках миллионерами делали хозяев. Фабрики и дома фабрикантов — только и было больших зданий в городе, он расстилался огромной деревней. Век сменялся веком, менялись формы и способы угнетения, но угнетаемые оставались. Из двойного рабства — помещика и фабриканта — рабочие села Иванова и посада Вознесенского переходили в другое, тоже двойное рабство: фабриканта и государственных властей. Село и посад выростали в объединенный город. С веками накапливался и расцветал капитал — торговый, затем промышленный. Накапливались и зрели революционные силы.

И вот:

двадцать шесть лет с тех пор — с дней первого совета — промчались над городом и миром.

Весной семнадцатого года снова выбирали ивановцы своих депутатов в советы, и осенью переходила к советам вся власть. Бывший «безуездный город Владимирской губернии» в дни предоктябрьской стачки становится фактически главным руководителем громадного района.

Восемнадцатый год создает Иваново-Вознесенскую губернию.

Двадцать девятый — Иваново-Промышленную область.

Но между губернией и областью неповторимым рубежом легли годы, в которые от молчавших фабрик и голодных семей эшелоны ивановских рабочих шли под Уфу, под Кронштадт, Перекоп, в Сибирь, на Кубань, Украину... Гарелинский парк — Степановский парк. В. Я. Степанов — большевик, зампред горсовета. Деникинский фронт, сыпной тиф. Кроме Степановского парка, теперь есть Степановская улица. Но в числе прочих ивановских улиц есть например и Батуриная. Сейчас на ней областной исполком, музей, рабочая столовая, клуб

и театр фабрики им. Молотова. Имя улице дал П. С. Батуриный, смолоду издававший царскую тюрьму и ссылку. После Октября — военком Иваново-Вознесенска, в девятнадцатом — доброволец в апреле, а в сентябре Батурина, комиссара 25-й дивизии, зарубили у Лбищенска казаки: в бою он не отошел от пулемета. Ивановцы, сколько их было таких!..

Их ценили на всех фронтах, бойцов-рабочих, за отвагу, сплоченность, дисциплину. В июне 1919 г. Фрунзе в телеграмме с Востфронта отмечал роль, сыгравшую при взятии Уфы 220-м Иваново-Вознесенским полком: «Лично находясь в передовой цепи полка, — писал Фрунзе, — я смог убедиться в беззаветном мужестве иваново-вознесенцев».

В том же году в Голубом зале Дома союзов Ленин провожал отряд ивановских коммунаров, отправлявшихся на фронт. В те дни ивановцы, оставшиеся дома, сами впрягались в плуги и пахивали под огороды улицы, площади, пустыри. На немногих фабриках, оставшихся в действии, в ходу, вырабатывалось в тридцать раз меньше тканей, чем до войны.

Ленин хвалил ивановских текстильщиков за их почин, когда, принявшись восстанавливать производство, они пустили несколько фабрик из числа замороженных. Ленин говорил так: «Если ивановцы дадут 100—150 миллионов аршин мануфактуры, то принесут громадную услугу стране». Но то был почин только. В год, когда ивановская промышленность начала разворачиваться уже по-настоящему, Ленин умер. За пять лет строительства без Ленина — к году рождения области — ивановцы вновь пустили 54 фабрики. И за один 1928 год не 100—150 миллионов аршин, а 900 миллионов метров дали ивановцы стране.

Иваново-Вознесенск сейчас — это первое место после Москвы в СССР по количеству продукции. Иваново-Вознесенск сейчас — это лента почти в миллион километров длины, лента, которой 25 раз можно было бы опоясать земной шар: такова годовая продукция ивановских текстильных фабрик. Иваново-Вознесенск сейчас — это целеустре-

мленная, сжатая, горящая действием воля рабочего класса.

Тут место короткому рассказу о серебряной крышке альбома и двадцати трех миллионах костюмов. На серебряной доске—крышке альбома — фигура рабочего за рулевым колесом и вычеканенные слова:

«Волей рабочего класса Союза Советских Социалистических Республик в день праздника международной рабочей солидарности, на одиннадцатом году диктатуры пролетариата, 1 мая 1928 г., в городе Иваново-Вознесенске начаты постройкой фабрики Меланжевого комбината».

Теперь уже никто на свете не увидит эту доску: воля рабочего класса выполнена. Немыслимым грузом корпусов вырос над зарытым при закладке альбомом Меланжевый комбинат, гигант текстильной пятилетки, самое крупное текстильное предприятие в Европе. Седьмого ноября 1929 года ивановцы праздновали двойное торжество: двенадцатую годовщину революции и пуск Меланжевого комбината. Он построен, чтобы восполнить недостаток в одежных хлопчатобумажных тканях, остро ощущавшихся в стране. Каждый зал комбината по технологическому оборудованию, по расположению производственного процесса—последнее слово мировой техники. Вместе с тем комбинат — первое крупное текстильное предприятие, которое на две трети оборудовано машинами нашего советского производства. И не только предприятие, но предприятие-школа: комбинат сам для себя, из работающих на нем, готовит специалистов-текстильщиков. Сейчас он — фабрика-техникум, впоследствии будет фабрикой-вузком.

Почти пятьдесят миллионов затрачено на эти десять корпусов, чьи ровные и зубчатые крыши виднеются издалека. И это — лишь первая очередь, половина. Ежедневный выпуск товара—2.150 кусков. Восемь тысяч человек стоят за станками и машинами комбината. Полная же производственная мощность его по двум очередям вместе такова, что из вырабатываемой здесь ткани мы будем

шить 23.000.000 — двадцать три миллиона! — костюмов в год.

Меланжевый—на юго-востоке. «Красная Талка» — на северо-востоке. А в западной части города широкими лентами окон блещет их старшая сестра, прядильно-ткацкая фабрика имени Дзержинского, работающая с 1927 года. При фабрике — детские ясли; при фабрике — столовая, где на столиках хризантемы в цвету; свет и чистый воздух властвуют на «Дзержинке», в ее громадных рабочих залах — образцовая гигиена труда.

Оно заполнено жизнью машин и людей уже пятый год, это нарядно-белое здание без труб. Оно без труб потому, что «Дзержинку», как и «Красную Талку» и Меланжевый комбинат, паром и электроэнергией снабжает новая ивановская паровоэлектроцентраль. Пятый год — в списке побед ивановской стройки эта фабрика занимает одно из первых по хронологии мест. Прядильно-ткацкая имени Дзержинского; фабрика-кухня № 1 (она была первой построенной в СССР фабрикой-кухней); центральные бани; открытый в 1928 г. туберкулезный диспансер, лучший по своему оборудованию во всем Союзе, — эти вот здания спешили ивановцы с любовной гордостью в первую очередь показывать многочисленным и частым гостям, советским и иностранным. Качественно «список побед» был и тогда разительней для Иваново-Вознесенска, давнего промышленного центра и крайне молодого города. Количественно список был не очень велик. А теперь!..

Зима. Но не остывает зимой строительный порыв, улицы Иваново-Вознесенска и зимой изрыты всякими прокладками, перегорожены временными заборами строек, окаймлены красной каймой кирпичца.

На высоких железных ходулях твердо шагают мачты высокого напряжения, идут вдоль бетонированной дороги, проходят поселок, поле и скрываются за горизонтом. Сюда, в «ивановскую Голландию», мачты принесли ток с ИВгрэс. ИВгрэс — это электрическое сердце Ивановской области, звено ленинского плана, мощная электростанция на 120.000 киловатт, построенная на Миловских торфяных болотах. А «ива-

новская Голландия» (или еще «ивановская Швейцария») — так зовется первый рабочий поселок, сотнями причудливо-разноцветных термолитовых домов раскинувшийся на западе. Бетонированные тротуары и дороги, кабельная электропроводка, своя амбулатория, два диспансера, магазины, кино, в поселке есть все, это — маленький городок, связанный автобусным сообщением с центром. За поселком поле, но оно отступает все дальше: к сотням термолитовых домов прибавляются десятки стандартных, двухэтажных, чьи стены, полы, потолки прибывают занумерованными щитами по железной дороге. А на другом краю поселка, с городской стороны, высятся только-что отстроенный дом-гигант, дом на 400 квартир. В середине поселка снежным безмолвием укрыто широчайшее пространство, здесь летом — сквер-цветник, здесь играют дети поселковых квартир, сюда выходят гулять и отдыхать взрослые. Многие из живущих здесь рабочих и работниц учатся на рабфаке; здание рабфака виднеется отсюда — высокий белый дом на Дмитровской, где железные ворота и решетки палисада, где золоченая отделка стен внутри: дом раньше принадлежал фабриканту Зубкову.

Первый рабочий поселок — на западе. В северной части города, у вокзала — второй рабочий поселок, именуемый иначе, «Бельник». Однотипные массивы домов, первый этаж каменный, второй бревенчатый и еще мезонин-светелочка в каждом, добротной прочностью и какой-то «увесистостью» своей дома напоминают канадские блокгаузы. В очень давние времена, когда никто еще не жил на этом берегу Уводи, травяной ковер покрывал все пространство района. На траве ивановцы расстилали ткани, отбеливали их на солнце. Отсюда название — «Бельник».

Перекидной мост — тоже недавнее сооружение! — ведет нас над рельсами станции в завокзальный район, в поселок Фряньково с многотысячным населением. Западнее Фрянькова еще в недавней памяти автора голело пустое поле, теперь там выросли новые поселки: Железнодорожный, Минеево, Пустошбор. И уже нет поля, штурмовая колон-

на домов дошла до самого леса, окаймлявшего бывшее поле.

Так с севера, с востока и с юга, где смолистой свежестью домов веют Воробьевская, Боголюбовская, Глинищевская слободы; и с запада, где сливается город с ближними селами, и села становятся городом, — отовсюду растет Иваново вширь, растет не отдельными домами, а улицами, кварталами, целыми поселками.

Многоквартирных, больших домов — десятки. Небольших, деревянных, которые рабочие строят сами либо через жилищную кооперацию, — сотни и тысячи. Но и в этих небольших домиках настолько изменился рабочий быт, что было бы просто диким сравнение с прежним. Свежий ветер социалистической культуры подул по широким и узким улицам, в большие и маленькие квартиры. Лес радиомачт вырос над крышами домов, — за блестками детекторных кристалликов, за красноватым мерцанием ламповых приемников слушают ивановцы московские радиостанции и свою, областную. Властно входят в рабоче жилище зубная щетка и чистое белье. Давно перестало быть редкостью встретить в семье ткача дочь или сына, учащихся в вузе. Книга, газета, журнал — не залетные гости, а полноправные спутники, верные товарищи рабочих дней.

До революции газет в городе не было, исключая погромного «Ивановского листка». Сейчас в Иваново-Вознесенске выходит пять газет (областные: «Рабочий край», комсомольская, колхозная, пионерская и городская, вечерняя — «Рабочее Иваново»). Кроме газет, выходит много журналов, литературных альманахов и других изданий. Летом третьего решающего года пятилетки Иваново-Вознесенск стал городом сплошной грамотности.

Новые хозяева хозяйствуют по-новому. Они не только воздвигают корпуса новых фабрик, которым уже при рождении дается образцовая техника оборудования, образцовая организация труда и производства. Они переделывают старые фабрики, безалаберно построенные, с оборудованием, которое безалаберно использовалось фабрикантами: те вели свое производственное хозяйство

как хищники и рвачи. Непрерывный поток нововведений, рационализаторских улучшений, блестящих и смелых производственных опытов, перемен, переоборудований... Успехи рабочей мысли, пытливой мысли рабочего изобретателя, прокладывающей новые и новые пути к дальнейшему улучшению производства, к его усовершенствованию, удешевлению, к облегчению условий труда. Мелкие рационализаторские предложения, не блестящие цифрами тысячной экономии, получают лишь скромную известность в пределах своей фабрики, отдела, цеха. Но по сути своей, по своей огромной политической значимости чем они меньше больших изобретений и открытий, описываемых подробно в специальной литературе, советской и зарубежной?.. В Иваново много и тех, и других. Борьбой с технологической рутинной, боями за новые способы, за крохотные и колоссальные новшества, за качество, за темпы — этим живут ивановские фабричные корпуса.

В корпусах — не только хлопок и ткани. В Иваново — не только текстиль. В росте промышленности Ивановской области в последние годы обозначились новые тенденции. В 1931 году ЦК партии, обсуждая доклад ивановского об-

кома, предложил в частности «развивать областную промышленность в соответствии с этими новыми тенденциями». Это — машино-судо-авио-автостроение, резиновое и химическое производство. Для Иваново-Вознесенска как города это — уже идущая постройка мощного завода торфомашин, завода машин для первичной обработки льна, завода текстильного станкостроения и ряда прочих. Это — расширение производства на нетекстильных предприятиях, что уже имеются здесь: металлозаводы, силикатный комбинат, химзавод им. Батурина и др. В том же постановлении, касаясь специально Иваново-Вознесенска, ЦК поручил Совнаркому разработать ряд мероприятий по превращению города в «действительный хозяйственный и культурный центр области».

Так новые, еще более грандиозные перспективы развития открылись для всей области и для центрального ее города — столицы ткачей. Еще быстрее, еще успешнее пойдет стройка «Красного Манчестера». Еще поразительней и ярче расцветет его завтрашний день, уже осязаемый сегодня.

Декабрь 1931 г. — январь 1932 г.
Москва

2. ЗА „СИНИМ ПАМИРСКИМ КАМНЕМ“

Очерк

П. Лукницкий

«Заключение. Мы видим из сказанного, что азиатские месторождения лазурита имеют мировое значение...»

Акад. А. Е. ФЕРСМАН

1

«Я, до безумия и до мученичества влюбленный в камни и в дикой Сибири совсем испортивший свой вкус, не в состоянии судить о прекрасном. Поэтому осмеливаюсь переслать целую партию синих камней моих для представления их высшему приговору». Так пишет знаменитый исследователь Сибири Эрик Лаксман о ляджуаре, открытом им в 1784 г.

Марко Поло в XIII веке, описывая Бадахшан и рубиновые копи, говорил: «В этой стране, знаете, есть еще и другие горы, где есть камень, из которого добывают лазурь; лазурь — прекрасная синяя, лучшая в свете, а камни, из которых она добывается, водятся в копиях, как и другие камни».

Академик А. Е. Ферсман в 1920 г. говорит о ляджуаре афганского Бадахшана, что до начала XIX века он «обычно приходил из Бухары, Туркестана, Афганистана, Персии, Тибета и под этими разнообразными и неясными обозначениями скрывался какой-то неведомый источник среднеазиатского камня. Только экспедиции начала XIX

века пролили свет на эти месторождения: Burness, Fraser, по расспросным сведениям, и Wood, по личным впечатлениям, дали их описание и указали на точное их положение около Фиргаму, на юг от Джарма в Бадахшане. Повидимому, это единственное месторождение, из которого Восток черпал свои лазоревые богатства, и все указания на Персию, Бухару, Памир и Индию вероятно должны быть отнесены к нему. До настоящего времени Вуд остается единственным путешественником, посетившим эти копи».

В Европе—ни одного¹⁾. В Азии — два: афганское и прибайкальское. В Америке (в Чилийских Андах) — гретье. Три месторождения в мире. Но в Андах и в Прибайкалье ляджуар светлый и зеленоватый. Это плохой ляджуар. Он прекрасен и ценен, когда он синий, геммосиний, цвета индиго. Такого ляджуара месторождение в мире — одно, и только один европеец — Вуд — его посетил. Это было в 1838 году.

2

...Значит на Памире нет ляджуара? Но мы на Памире, мы уже четвертый месяц блуждаем по тущобам Памира. С рассветом седлаем и выючим лошадей, весь день прожигаемые жестоким солнцем, просвистываемые насквозь ледяными ветрами, едем по мертвым долинам, по каменным, черным ущельям. Вечерняя темнота выбирает нам место для лагеря, мы развешиваем, расседываем лошадей и ваимся спать, замерзая от снежных буранов. Спим по очереди: один из нас, преодолевая усталость, бродит с винтовкой, вглядываясь в тьму. В ней могут быть волки и барсы. Так каждый день.

...Но житель Памира. Маиска сказал нам, что на Памире, он слышал, есть ляджуар. Маиска — коммунист и охотник, самый смелый человек на Памире. Слава о нем пересекла высочайшие в мире хребты, дошла до Англии и до Москвы.

Маиска, а по-русски — Майский, наш

¹⁾ Указания на ляджуар, находимый в лаве Monte Somma, близ Везувия, недостаточно проверены.

друг и приятель, встретился с нами в киргизской юрте на берегу Ак-Байтала — бешеной реки. Он был в киргизском чапане и в малахае. Разговаривал он тихо, но, может быть, веселей, чем всегда, потому что с двумя товарищами он ехал туда, где скрывалась банда басмачей, ехал, чтоб взять в плен ее главарей. Он застенчиво улыбался, он не знал, что троим нападать на целую банду — очень смелое, почти безумное дело.

Маиска сказал, что на Памире, где-то в районе Хорога, у реки Шах-Дары, есть ляджуар. Маиска обещал через месяц вернуться в Хорог, показать нам образчик, принесенный ему стариком шугнанцем, и сделать все, чтобы мы разыскали месторождение. Мы поверили смелому человеку в том, что он вернется живым, и в том, что на Памире есть ляджуар. Мы сказали себе: «Поедем в Хорог».

После восточнопамирских каменных, мертвых пустынь, после четырехкилометровых высот перед нами глубокое ущелье. В устье Гунта, свивающего с Пянджем перекрученные узловатые воды, — шугнанский город Хорог, столица Памира. Как на ладони, на маленькой площади держит он большой постамент, на котором левым плечом к Афганистану — бронзовый Ленин.

Женщина выходит из фруктового сада, и мне — оборванному всаднику — протягивает спелое яблоко.

А на воротах крепости: «Добро пожаловать» — красный плакат. Здесь известно: в Хорог везжают только победители долгих и трудных пространств.

Начальник памиротряда, тов. Стариков, власти которого вверено спокойствие этой высокой страны, пожимает мне руку и, вынув из кармана большой двубородый ключ, молча передает его мне.

— От крепости? — улыбаюсь я.

— От моей квартиры, — серьезно отвечает мне Стариков. — Я живу один. Располагайтесь. Я вернусь домой после службы...

В Хороге нам рассказали:

Есть ляджуар. Но горы, в которых находится он, заповедны. С далеких времен неприступная скала охраняет его. Во времена владычества кизыл-ба-

шей — «красных голов» — приходили из Индии кафиры, «сиахпуши», что в переводе на русский язык означает «черная одежда». Приходили, чтобы добыть ляджуар. Но скала с ляджуаром отвесна. Веревки и лестниц не было. Да и разве хватило бы их? Тогда сиахпуши потребовали, чтобы шугнанцы привели с Шах-Дары «духтары норасид» — невинную девочку — и «бача-и-ноборид» — необрезанного мальчика, а еще от замин Бегимэ — с земли женщины Бегимэ — пшеничной муки. Есть кишлак Рэджис по Шах-Даре — вот там земля Бегимэ. Шугнанцы — мирный народ — исполнили требование. Сиахпуши заставили их принести еще «ездум-и-гольхор» — дров из шиповника и, молясь своему богу, на жертвенном костре сожгли детей. А потом резали скот и прикладывали мясо к скале. На такой высоте это место, что холод там вечно: кровь скота замерзала, и мясо примораживалось к скале. Но нехватило скота, и тогда сиахпуши — проклятые им! — стали резать людей, наших людей, шугнанцев. И хватило людей, мясо примерзло, и по этой лестнице сиахпуши достигли наконец ляджуара. Но потом собрались наши дехкане, перерезали всех сиахпушей, и больше никто не пытался добывать ляджуар. Это — священное место, и никто не знает его, а кто узнает — погибнет. Не надо его искать, не надо туда ходить. Только безумец может искать свою гибель.

...Маиска вернулся в Хорог. И мы перебрались от Старикова в его маленький дом.

3

Манска, Майский, наш друг, показал нам образец ляджуара. Камень был синим, словно вобрал в себя все небо Памира. Я положил его на ладонь, как холодное синее пламя, и смотрел на него.

...В Индии, Персии жгли этот камень и растирали в тонкий порошок. Смешивали порошок со смолой, воском и маслом, прибивали, и тогда оседала краска тончайшей синей пылью. Лучшие художники покупали этот драгоценный ультрамарин. Ибн Хаукал, Шехабеддин, Абулфедя, Тейфаши, Эдризид, Ибн-Батута — все старые писатели Востока говорят нам об этом. Но камень побежда-

ет человека и живет второй жизнью, и «Мадонна Литта» с грустью жалуется профессору Эрмитажа, что синие цвета ее темнеют и блекнут, потому что в них выкристаллизовывается ляджуар...

Скифы носили бусы из ляджуара. О хорошем ляджуаре Скифии говорят Теофраст и Плиний. Древний мир резал из ляджуара рельефы и выпуклые фигуры. Ляджуар был излюбленным и дорогим камнем Китая. Китай украшал им чаши, шкатулки, делал из него перстни, амулеты и статуэтки. В исторические времена из ляджуара изготовлялись шары на головные уборы мандаринов, как эмблема их власти. Синий цвет его ценился так высоко, что китайское искусство окрашивало в этот же цвет любимый китайцами камень агальматолит, чтобы он был похожим на ляджуар Монгольские караваны, проходившие великую пустыню Гоби и Ургу, доставляли ляджуар в Кяхту. И, обменивая фунт ляджуара на фунт серебра, монголы рассказывали, что волны прибывают к берегу озера Далай-Нора куски этого камня. Европа почти вовсе не знала употребления ляджуара до начала XIX века и очень высоко ценила его. Предметы из ляджуара насчитывались единицами. Что можно припомнить? Чашу Франциска I, стол, который видели гости на свадьбе Марии Медичи в 1600 году, четырнадцать предметов Людовика XIV и самый крупный кусок ляджуара — поднос в 9 дм. у Лебрена в 1791 году. В XVIII веке ляджуар вытеснил золото, и обладание им считалось почетным, а в XIX веке им занялись «императорские» гранильные фабрики Екатеринбурга и Петергофа. Тонкими пластинками ляджуара, составленными из маленьких отдельных кусочков, обрисовывали они ящички и шкатулки, столовые часы и колонки для шкафа. Но этой роскоши мало показалось «царствующим особам»: Петергофская гранильная фабрика облицовала ляджуаром колонны Исаакиевского собора в семь аршин вышины и четырнадцать вершков в диаметре. Эта работа была произведена дважды: Монферан забрал колонны, сделанные из прибайкальского ляджуара, и поставил их у себя в доме на Мойке, а для Исаакия был выписан ляджуар из «страны Бухарской», тот афганский

ляджуар, на перепродаже которого наживались эмирские богатеи-купцы. 78½ пудов камня ушло на эти колонны.

Центральная Индия, Тибет, Южный Китай, Афганистан, Персия — вот круг, который замыкает все указания на источники вывоза ляджуара. Расплывчатый в древности, с течением времени все суживавшийся круг этот теперь превратился в точку, и эта точка — копи Бадахшанского месторождения в Афганистане. Вход в копи заделан цементом, на него наложена печать падишаха, и всякий приблизившийся к копиям карается смертной казнью.

4

— Ваш начальник всерьез решил отправиться на поиски ляджуара? — В серых глазах моего собеседника почти неуловима ирония. Его щеки втянуты, словно прилипли к его челюстям. Он желт, тропическая малярия, видимо, замотала его. Я отвечаю ему:

— Совершенно всерьез.

— Я не думал, что он такой легкомысленный человек, — уже открыто улыбается собеседник.

А все-таки не брехня ли наш ляджуар? Стоит ли всерьез приниматься за его поиски? Юдин решил. Он упрям и настойчив.

«Конечно мы найдем ляджуар. Мы не можем его не найти».

5

Девятое августа 1930 года. Белый, простой, как казарма, дом исполкома. Большой стол в маленькой комнате. Тесно. В конце стола — председатель, шугнанец. В комнате — люди Шугнана: пастухи, охотники, совработники. Старики и комсомольская молодежь. Халаты, майки и пиджаки. Чалмы, тюрбетейки и кепки. Пехи, сандалии, ичиги и русские сапоги. Шугнанцы ломают русскую речь, русские ломают шугнанскую, Майский — Маиска — переводит, и голоса плывут в табачном дыму, как гул Гунта, катящего валуны за стеною облисполкома. На столе — великолепный образчик афганского ляджуара, зависть наша и зависть Шугнана. Заседание партбюро открывается. Я пишу протокол.

Слушали:

1) Сообщение Майского, что ляджуар есть в районе реки Шах-Дара. Точное местонахождение ляджуара известно нескольким горцам — старым шахдаринским муллам, но они держат его в секрете.

2) Сообщение кишлачного предсельсовета Сафара, что хотя он и не видал здешнего ляджуара, но знает: ляджуар есть не только светлый, но и очень хороший, темносиний.

3) Сообщение председателя нижнешахаринского сельсовета Зикрака о том, что есть гора ляджуара, очень высокая и отвесная, влезть на нее нельзя, но, если подорвать ее динамитом по диагонали, трудности восхождения можно преодолеть. Зикрак утверждает, что видел эту гору в молодости, когда был пастухом.

Сообщения обсуждаются, шугнанцы горят энтузиазмом. Шугнан, дикий, ждущий культуры, бедный, бездорожный, скалистый, отрезанный от всего света сотнями непроходимых, таинственных снежных хребтов; Шугнан, по тропам и оврагам которого, на невероятной высоте, люди ходят, как мухи, по стенам, срываются вниз и гибнут; этот Шугнан стал советским.

И заседание партбюро бурлит, и я слышу обрывки речей:

«...Наши горы богаты. Мы не знали о них... Довольно. Теперь надо знать, у нас своя пятилетка, надо чинить мосты, строить мосты, чтобы дехканин не проваливался на каждом шагу, надо проводить дороги, чтобы можно было легко проехать верхом, каждый день у нас гибнут лошади...»

Врывается гордый старческий голос: «...Надо строить дома, у нас есть уже школы, надо еще школы делать, много надо, товары надо вести, землю взрывать, пшеницу сеять, скот разводить, тут разводить, шелк продавать, все надо...»

Другой, полудетский голос перебивает его:

«...К концу пятилетки ни один дехканин не будет есть патука, от патука кривятся ноги, только пшеницу есть будем...»

И опять старческий, дребезжащий:

«...А сначала дороги, мосты и дороги...»

Третьему охрипшему помогают взмахи руки, слышу, как хлопает широкая рука в халате:

«...Откуда деньги взять, советская власть помогает нам. Хорошо? Нет, плохо. Мы у московских дехкан берем зерно, и деньги, и грону. Мы берем у них от их богатств. Спасибо им. Ну, а мы сами что? Мы должны сами добывать деньги, у нас есть деньги, сегодня они валяются в горах. Надо собрать их, у нас есть большие богатства, позорно о них забывать».

Я слышу обрывки речей. Они переплетаются, горят, из них вырастает формула, ясная и простая:

— Спасибо русским товарищам из Ленинграда. Поможем им найти ляджуар, у них хорошие головы, скажут, какой он — богатый или плохой; если богатый — сделаем копи, за ляджуар Шугнану большие деньги дадут.

И все же на вопросы, поставленные в упор, мы не добились прямого ответа. «Нет сами не видали... Слышал, знаю, что есть у нас ляджуар, а сам места, где он лежит, не видал» — это говорили гордые, вдоль и поперек излазившие родную страну. Один Зикрак, видимо, знал больше других.

И в графе «постановили» я записал:

«Оказать всемерное содействие экспедиции т. Юдина. Просить предсельсовета Нижней Шах-Дары проводить экспедицию до месторождения и найти среди населения Шах-Дары проводника, который бы точно знал о местонахождении ляджуара. Просить предсельсовета Верхней Шах-Дары т. Хувак-бека присоединиться к экспедиции в кишлаке Тавдым и также сопровождать ее до конца. Дать экспедиции подрывника для динамитных работ».

Нам подарили образец афганского ляджуара. Мы обещали отдарить их ляджуаром шугнанским. Нам жали руки, и нас проводили до дома.

6

Из дневника:

«...Выезжаем за ляджуаром. Юдин, Хабатов, Маслов, я и Зикрак. Я взял винтовку и маузер, Юдин и Хабаков — маузеры. По всем имеющимся у нас

данным, Шах-Дара — район абсолютно спокойный. От подрывника мы отказались: пусть продолжает он взрывать строить дорогу из столицы Шугнана. Мы как-нибудь обойдемся и без динамита. Я с Е. П. Масловым и единственной нашей вьючной лошастью выезжаю вперед; выбравшись из Хорога и процокав дорогой и тропами, врезанными в синюю темь персиковых садов, переправившись на левый берег Гунта по высокому, неверному прилипсывающему мосту, мы подехали к Шах-Даре немного выше устья. Здесь — застывший шабаш покалеченных, сорвавшихся сверху гранитных скал. Переправились по мосту на правый берег Шах-Дары Река мучительно давится скалами и камнями, корчится быстро в судорогах и хрипит глухо и шумно, так что я не слышу своего крика. Тропа местами совсем суживается, норovia не пропустить вьючную лошадь. На горах — зеленые лоскутки посевов. Их мало, потому что склоны изломаны и круты. Подъезжаем к большому кишлаку Рэдджис. Перед ним волнистые посевы высокой ржи, пастбищная луговая площадка, неохватные деревья — грецкий орех, тополя. Привставая на стремянах, срываем урюк, яблоки, персики. Персики еще не созрели...

Кишлак Рэдджис... тот самый, где «замин Бэгимэ».

Бросаю дневник. Дальше — граниты, огромные валуны гранита и на несколько сот метров над зеленой отарой долина нагромождения грандиозных морен. Они спускаются вниз, подпруживают Шах-Дару, и река, мучаясь, клопоча пеной, грохоча, рвет себе русло, пропиливает гранит и на поворотах отдыхает спокойствием широких излучин. Здесь белый песок нежит ее берега. Здесь ивы стоят по колено в спокойной воде. Здесь долина выгибается тенистыми амфитеатрами. В их ярусах лениво полулежат кишлаки. Паригет, Тандым, Тир, Тусиян, Куны, Мендышор, Чакар, Парзудж, Занинц — вот странные их названия. В кишлаках, каменных лузах оград колосятся пшеница, рожь и ячмень, качаются пугала на гибких шестах. Дети и женщины бродят между ними с камнями в руках и кричат, звенят голосами с утра до ночи, кричат и

швыряют камни в птиц, а птицы при- выкли, не боятся, не хотят улетать. И так утомляет шугнанок эта война с пти- цами, что они без сил возвращаются в свой плоскокрышный чод и замертво расцластываются на далице.

7

Шах-Дара — это самая пышная об- ласть Памира, самая богатая волость Шугнана. В Нижней Шах-Даре 198 чо- дов, 1.738 людей, 153 лошади, зерна сеют два пуда на душу, в этом году за- сеяно 500 амбанов, а амбан—это пять пудов. В Верхней Шах-Даре кишлаков— 11, чодов—263, людей—приблизитель- но 2.300. Приблизительно потому, что точности здесь не знают. Эти цифры сообщили мне степенный, променявший свой глим на затрепанный френч Зик- рак, и всегда возбужденный, сверкаю- щий белками черных глаз, похожий на грека Хувак-бек, присоединившийся к нам на второй день пути. Они долго спо- рили и долго высчитывали, прежде чем сказать эти цифры мне, и много смея- лись, и долго дразнили друг друга, ко- гда подсчеты спотыкались о неуверен- ность и когда выяснилось, что есть в горах такие затерянные кишлаки, о которых никто из них не знает. И боль- ше всех дразнил Хувак-бека наш все- знающий Маслов Е. П., одиннадцать лет под ряд пробродивший с экспедици- ей по Тянь-Шаню, Кашгару, Китаю, Монголии и Памиру, человек на все руки, наш учитель в премудрости выюч- ки и обращения с лошадьми, педантич- ный авантюрист и закостенелый руга- гель.

Мы уже третий день поднимались по Шах-Даре. Скалы суживались над на- ми. Становилось все холоднее. Выше неприступной когда-то старинной кре- пости Рош-Кала, прилепившейся на от- весной скале, царящей над всей доли- ной, природа суровее стала. Мы подни- мались по узкой тропе. Наши лошади спотыкались и падали, и мы уже забы- вали ругаться, замирая, когда лошадь срывалась, и облегченно вздыхая, ко- гда она умудрялась задержаться за куст или камень. Молча мы поднимали ее и осматривали ее окровавленные мор- ду и ноги.

Здесь, на этой тропе, напирая на Рош-Калу, в которой засели афганцы, бился когда-то, в 1894 году, казачий от- ряд царского капитана Скерского. Об- стреленный афганцами, он отступал к Вяз-Даре, куда сейчас направлялись мы, строил там блиндажи, рыл в кам- нях ложементы, сооружал бойницы из мешков с продовольствием и томитель- но ждал помощи с поста Памирского. «Чего вы хотите? — писали афганцы в своих длинных посланиях. — Провести границу? Или пришли вы забрать край? Ваше желание нам неизвестно». «Наши войска отчаянные и, часто не слушая своего начальства, сами вступа- ют в бой, — как бы они не причинили вреда»... «Что вы делаете, а еще пред- ставители великой державы?»... и за- канчивали письма словами: «Мы не да- дим воли в афганских владениях и за- городим дорогу», и подписывались все зараз: «Мир Азам, Баба-Ша-хан, Аб- дла-хан, Абду-Джан-Бар». А шуг- нанцы, мирные жители, метались между русскими афганцами, не зная, кто луч- ше, не зная, зачем враги дерутся на их долинах, и руют чоды, и умыкают их жен. И не узнали об этом потом, ко- гда острый меч русско-афганской гра- ницы пополам рассек живое тело род- ственных стран народа гальча, когда сын на отца, брат на брата глядели друг на друга в упор через заповедную реку Пяндж, ставшую вдруг лезвием меча.

А тропа действительно была трудной, пишущий о ней офицер, участник по- хода, предлагает представить себе — я цитирую в точности — «узкое ущелье с несущейся по ней горной рекой, берегами которой служат отвесные ка- менные громады. Кипящие воды реки с шумом ударяются о мрачный гранит, разбиваются в мелкие брызги и пенясь, со стоном отскакивают назад и снова с той же силой стремятся вперед, сворачи- вая на пути своим огромные камни. Вот по одному из таких берегов тянется, как бы высеченная рукой человека, уз- кая, еле проходимая тропа, сплошь за- валенная осколками камней, сорвавших- ся с окружающих высот. Тропа эта то опускается к самой реке, то вдруг кру- то поднимается вверх и совершенно про- падает». И дальше с наставительным замечанием по поводу «борьбы челове-

ка с природой» пишет офицер о балконах, настроенных «вот в таких-то местах», о том, что, взломав часть скалы, к ней прикладывают деревянные балки из местного малорослого тальника, кладут хворост, снова накладывают балки и все это засыпают землей. В некоторых местах встречались карнизы, устроенные самой природой. «Саженой на пятнадцать над рекой выдвинулся пласт и висит над пропастью, служа продолжением пробитой тропы; по такому-то куску гранита, как по балкону, проходят и лошади, и люди. Ни перил, ни даже возвышения нет по краю его, голый камень и только... В одном месте балкон, когда по нем проходила лошадь, навьюченная патронными ящиками, со страшным треском псдломился, и несчастное животное, увлекая при падении свою тяжелую ношу, разбиваясь о камни, упало в реку. Мелькнули раза два голова и ноги его над поверхностью пенящейся реки, и все скрылось в ее быстрых, холодных водах».

Но у нас нет патронных ящиков, у нас есть Егор Петрович, который сумеет провести лошадь и не в таких местах. Мы привыкли к этим переходам. Мы знаем места потруднее. Мы приближаемся к Вяз-Даре и проходим ее. Все мы здоровы и веселы, мы смеемся, увидев первый в наших памирских странствиях лес и кучи изломанных деревьев на берегу реки за шатким мостом у кишлака Трай. Подъезжаем к последнему кишлаку в нашем подеме по Шах-Даре, к яркой луговине Барвоза. Высота его 2.980 метров по anerоиду Хабакова. Здесь, на углу, стадо баранов и группа женщин. Увидав нас, женщины бросаются врассыпную, но останавливаются, когда Зикрак окликает их. К Зикраку подбегают два мальчика и, нагнувшись с седла, он целует их, совсем как это в обычае у русских: «Мои племянники».

Мы переехали вброд рукав Шах-Дары и развьючилились на опушке роши у запруженного ручья. Сухие ветви, костер, баран, зарезанный нам на плов, молоко, разговоры с любопытствующими жителями Барвоза о носильщиках... Завтра мы двинемся в сторону, в такие горы, по которым вряд ли пройдут наши лошади...

Приходит тот охотник, который звелся быть нашим проводником к ляджуару. Зовут его Карашир, что значит: «черное молоко», в зубах его черная трубка из афганского нефрита с надписью арабскими буквами: «такой-то продал трубку такому-то». Вечером холод ветер и дождь. У нас давно уже нет палатки, мы ложимся рядком под деревьями, накрывшись одним брезентом. Дождь стучит по брезенту, очень холодно, мерзнем, но спим.

8

А утром, разделив вьюк на двух лошадей (мы все же решили ехать верхом), мы выступили из Барвоза вверх по крутому склону, ссекли этот склон по чуть заметной тропе, и вид на Шах-Дару стал аэропланным: ее излучины, рукава, ее лес и луга с пасущимися коровами все уменьшались и наконец исчезли за поворотом тропы. Уже ни деревьев, ни кустов, только редкие альпийские травы да белые на высоких стеблях цветы жаш, длиннолистые кустики «ров», и сиреневые, похожие на незабудки цветки. Несколько столбиков из камней, сложенных пастухами, развалины каменной хибарки, осыпи, груды замшелых камней и отвесы над рекою Бадум-Дара, отвесы такие, что Бадум-Дара кажется вычерченной внизу тонким серебряным карандашом. Моя лошадь часто раздумывает: куда поставить копыто, под которым вдруг пусто в полкилометра, Юдин назвал путь наш «сердцешипательным», а хабаковский anerоид показывает 3.420 метров. Выше над нами — снег, слева, напротив, над Бадом-Дарою — вертикальный отвес в километр вышины над рекой, впереди, внизу — единственный за весь день кишлак, к которому мы уже спускаемся, спешиваясь, ведя осторожных лошадей в поводу. В кишлаке Бадом всего три семьи, пять-шесть мужчин. Впервые за все времена в их кишлак везают европейцы, и потому жители перепуганы. Пересекаем кишлак, пересекаем посевы гороха, долго спускаемся к боковому притоку и, взяв его вброд, долго ищем по берегу Бадом-Дары места для ночевки, потому что опять ветер, рваные черные тучи и дождь.

9

Каменная лачуга на пяди ровной земли. Брошенная летовка—последнее человеческое жилище. Теперь никто в мире не знает, где мы. Десятиверстная карта пустует. На ней нет ничего: ни этой летовки, ни кишлака, который мы миновали сегодня, ни даже Бадом-Дары. Здесь не был ни один европеец, и на карте значится: «Пути нанесены по распросным сведениям». Найдем ли мы ляджуар? Не миф ли все это? Одна из легенд, подобных легендам о дивах, о пир-палавонах, о золотых всадниках, спустившихся по солнечному лучу, о ядилькульских драконах, о светящейся ночью и днем ранч-кульской пещере?.. Половина жителей этой страны еще верит в них... Я вспоминаю образ Мански. А что, если он из Афганистана? Он мог пройти через сотню рук, мало ли что о нем могли напелсти!

Мы в летовке. В ней старый помет и соломенная труха. Ханà, в переводе — смерть. Так называется клещ, укус которого смертелен. Сидя на камне в летовке, Юдин спрашивает:

— А здесь ханы нет?

Зикрак, показывая на соломенную труху, заваливающую земляной пол, говорит утешающим тоном:

— Есть... Много...

Мы по щиколотку в трухе, в которой роются, переползая с места на место, сотни наших смертей. Тот из нас, кого хоть одна коснется, никогда не уйдет отсюда. В его глазах Памир закружится медленным, последним туманом. А остальные вынесут его из лачуги и навалят на него груды острых камней...

Впрочем нам уже все равно. Памир умеет учить безразличию. Мы утомлены. Мы хотим есть.

Ужин готов. Маслов посылает за водой Хувак-бека. Тот не двигается и, смеясь, говорит:

— Я больной.

За ужином Маслов не дает Хувак-беку есть: ты, мол, больной. Потом дал. Хувак-бек ест доотвала. Маслов накладывает еще. Тот больше не может. Маслов деловито ругается:

— Ешь, а то не пустят тебя туда...

— Куда?

— В рай не пустят.

— Его и так не пустят! — вмешивается Хабаков.

— Почему?

— Туда с партбилетом не пускают! Из всех нас одного тебя, Егор Петрович, пустят.

— И меня не пустят.

— Почему?

— Туда старых служащих тоже не пускают....

Дождь прошел, и снова собирается дождь. Лошади понуро стоят у летовки.

Маслов толкает под бок Зикрака, кивнув в сторону Хувак-бека:

— Спроси его, дождик будет сегодня?

Зикрак переводит ответ Хувак-бека:

— На других не будет, на тебя будет.

Хувак-бек что-то возбужденно говорит, отчаянно жестикулируя. Маслов слушает, слушает, клонит голову набок, потом безнадежно махнув рукой:

— Ни черта не понимаю в ихнем языке.

— А ты выучи, — язвит Хабаков.

— И учить не стану. Не надо мне ихнего языка.

— Почему?

— А зачем он мне. Кто на ем разговаривает?

— Шугнанцы на Памире.

— А мне не надо, потому больше я сюда не поеду... если живым выберусь.

Уже четвертый год твердит это Маслов и четвертый год под ряд ездит с экспедициями на Памир.

Босиком, в белом «глиме»—халате,—подпоясанном красною тряпкой, одетом на голое тело, голубоглазый шугнанец приводит овцу из Бадом-кишлака. Ее заказал Зикрак. Высыпая серебро на ладонь шугнанца. Он доволен, смеется, что-то говорит — не пойму.

В единственную дыру, заменяющую в летовке дверь, вижу возню шугнанцев, нож, вспарывающий горло овцы, струйку крови, а за ней — ползающие по долине и по горам облака. Они рвутся, открывая иззубренный скалистый гребень хребта, с висячими ледниками и снегами, тот гребень, где месторождение ляджуара и куда мы завтра пойдем

Налево от летовки—разрушенная башенка из массивных осколков камней, Зикрак говорит, что шугнанцы построили эту караульную башню, когда была война с снахпушами. Он выпрямляется и, как полководец, как Искандер-зюль-Карнейн, гордо обводит скалы рукой:

— Вот тут наши стояли, а вот там, внизу—видишь, скала похожа на морду яка? — они. Мы кричали им: «Уходите в вашу страну». А они отвечали нам: «Мы пришли сюда взять ляджуар. Нас так много, что если все мы плюнем зараз, — ваша страна потонет». Тогда наши, шугнанцы, сворачивали большие камни и, знаешь, рафик, делали так: под большой камень подложат маленький и к маленькому аркан привяжут. Если дернуть аркан, маленький выскочит, большой вниз летит. Один летит—значит сто сразу летит. Хорошо убивали мы снахпушей. А они правду сказали: много их было. Очень много. Плохо нам приходилось... Скажи, ты знаешь, почему ляджуар синий, если столько крови от него было? Вот ляль... Ты ляль-и-бадахшон видел? Тоже много крови было из-за него. Он обливался кровью и — говорят старики — потому он красный. А ляджуар синим остался. Почему?

Я не знаю, почему рубин красный, а ляджуар — синий. Зикрак говорил сегодня. Он дразнит меня своими легендами. И чтоб хоть чем-нибудь отплатить ему, легенды начинаю рассказывать я.

— Зикрак, — говорю я, — вот, у вас собирают колосья и складывают их на площадку. А потом волы ходят по кругу и вытаптывают зерно. Нигде теперь не молотят так, только у вас, в Шугнанах. А была такая страна, там тоже зерно молотили волами. Четыре тысячи лет назад. Пять тысяч, ты подумай: это очень давно — пять тысяч лет. Ходили погонщики за волами и пели одностонную песню: «Молотите себе, молотите себе, волы, молотите себе, молотите себе солому на корм, ячмень для господ ваших, вы не должны отдыхать, ведь сегодня прохладно...» Так пели погонщики. Они были рабами. Вы тоже были рабами недавно. Это была

большая страна. Ее жители верили в солнце и солнце считали богом. Вы тоже верили в солнце еще недавно. И в огонь верили... В эту страну везли ляджуар. Может быть, отсюда везли. от вас. И он считался там лучше драгоценностью в мире, дороже золота и дороже алмаза. Там ляджуаром владели только цари. Одного царя звали Тутмес III, и статуя — изображение его — была покрыта золотом и ляджуаром. Другой — Тутанхамон — украсил ляджуаром свое царское кресло. А верховные судьи носили на груди маленькие подобия богини, которую звали Маат. Это была богиня Истины, и подобия ее изготовлялись из ляджуара. А бедняки не могли достать ляджуара и глиняных своих божков — ушебти—загробных ответчиков — покрывали стеклом, синим стеклом, чтоб они были похожи на сделанные из ляджуара. Из этой страны цари посылали за ляджуаром купцов. Корабль одного из таких купцов потерпел крушение. Купец был выброшен морем на остров. Там были винные ягоды и виноград, по-вашему виноград—ангур. Там была рыба и пернатая дичь, там было все, и не было ничего, что не существовало бы там. И купца встретил змей, громадный змей в тридцать локтей длиной. Он был хозяином этого острова. У змея было человеческое лицо и длинная борода. Он сверкал позолотой и, когда передвигался, производил шум, грозный, подобный грому, деревья гнулись и дрожала земля. Но знаешь, какие у него были брови? Его брови были из ляджуара, и само небо завидовало этим бровям, потому что у неба звезды были бледнее, чем те золотистые точки, которыми поблескивал этот ляджуар. Брови у змея были подобны звездному небу и лучше звездного неба... Что тебе еще рассказать, Зикрак? Змей подарил купцу-мореходу много слоновых клыков, благовоний и кусков ляджуара и отпустил морехода домой... Я много знаю об этом змее. Рассказать тебе все?

Зикрак слушал меня сосредоточенно и с высоким вниманием. Тут он оглядел потемневшее и давно уже звездное небо и спокойно сказал:

— Ты хорошо рассказал, рафик. Расскажи еще. О змее — не надо. О море

скажи. Я не знаю, что такое море. Один русский говорил мне о нем. Так много воды, что она занимает места больше, чем все горы Памира, Кашгара, Кашмира и страны Афгани. Правда ли это? И что такое корабли? Как их строят?

Я понял, что напрасно вспомнил египетский «Рассказ о потерпевшем кораблекрушение». Я понял, что председателю нижнешахаринского сельсовета Зикраку интересней было бы услышать от меня рассказ о совторгфлоте и, скажем, о заводе Марти. Вот такие легенды он бы слушал всю ночь. Но...

...Поздно, темно, холодно. Босоногий шугнанец уходит, перекинув через плечо шкуру овцы и задрал на спину глим, в котором овечьи ноги и голова.

— Завтра, — говорю я Зикраку, — завтра я расскажу тебе все, что знаю о море.

10

Просыпаюсь. В летовке темно. Как гигантский примус, шумит река. В дверном проломе — две горных громады: черная и белая, снежная. Над ними — ясное небо. Перед проломом — туша овцы, подвешенная к потолку. Белая гора в вершине конуса тронута где-то за горами родившимся солнцем: снег, оживая, меняет оттенки: бледно-палевый, лимонно-желтый, наливается светом, сверкает. Всюду ниже — темно.

Приехал Карашир, пришли два шугнанца-носильщика. Карашир — старый охотник, коренастый, короткобородый, в ветхом, черном халате. Всю жизнь он ползал по скалам, со своим фитильным мултуком бил архаров, кинков и барсов. Шестнадцать лет назад был он в тех местах, куда сейчас собирается нас вести. Зикрак сдался: дальше он не был. А Карашир нам рассказывает: ляджуар найден его отцом, охотником Назар-Маматом, жителем кишлака Барвоз. Отец его умер давно, а перед смертью рассказал о ляджуаре ему, Караширу. И в год войны, очень давно, в четырнадцатом по нашему счету году, собрались пойти за ляджуаром три человека: Азиз-хан, аксакал Шугнана, Назар-бек из кишлака Бадом и Ходжа-Назар из Барвоза. С ними пошел Карашир — Черное Молоко. Трудно было

итти. Все заболели тутеком, а тутек — болезнь высоты: головокружение, бешенство сердца, удушье, а в сильной степени — кровь из горла и смерть. Все заболели тутеком, но ляджуара достигли, дошли до подножья отвесной скалы, где много обломков его. На скалу не взбирались — туда смертный не может взобраться. С тех пор к ляджуару не пытался ходить никто. Дойдем ли мы? Карашир с сомнением поглядывает на нас и качает умной своей головой. Он относится к нам с уважением, потому что труден путь, по которому мы решились итти.

Через час мы выходим: Юдин, Хабаков, я, Карашир, два шугнанца-носильщика: старик Давлят-Мамат и молодой рыжеволосый барвозец Пазор Зикрак и Хувак-бек идут с нами. Малов остается в летовке с нашими вещами и лошадьми. Он будет нас ждать сегодня и завтра. Мы обещаем вернуться сегодня, но на всякий случай носильщики несут наши тулупы, одеяла, немного сахара, чаю, лепешек и мяса. Пустые рюкзаки для ляджуара, молотки, фотоаппарат, маузеры, анэроид, хронометр, тетрадь дневника, а сверх комплекта — дорожные шахматы для Хабакова и Юдина и две восьмушки махорки для меня.

Карашир упросил нас взять с собою винтовку: как можно ее оставить, а вдруг попадетсЯ кник? «Ладно, неси ее сам, вот тебе два патрона, дам еще. Если убьешь кника...» Караширу можно доверить винтовку.

11

Это был день неплохой гимнастики. Сегодняшний путь был тяжелей, чем головоломный подъем альпиниста, сроднившегося с отвесами. Мы скользили, спотыкались, даже падали, но шли упорно. Мы покинули Бадом-Дару и поднимались по ущелью ее притока. Карашир сказал, что приток называется Ляджуар-Дара, но не сам ли он подарил ему это название? Никакой тропы не было. Была чертовщина остроугольных гранитных глыб. Мы шли по грандиозным, вздымающимся до самых небес осыпям. Каждый камень осыпи равнялся хорошему двухэтажному дому: грани самых мелких камней были не

меньше квадратного метра, камни были бесформенны и колючи. Словно кто-то бросил город на город, и оба рассыпались вдребезги и не осталось от них ничего, кроме непомерной груды обломков. А мы пробирались от края до края по этой катастрофе камней, размышляя о том, что мы — единственные живые в распавшемся, страшном, безжизненном мире. Если б мы были стальными, мы не казались бы друг другу крепче и защищенной. Легкий поворот одного из камней, легчайшее прикосновенье,—и от нас — ничего, пустота, а горы даже не заметят нашего небытия, как усилий наших, задыханий, перебродивших в напряжении мышц не замечают сейчас.

Шли... Впрочем не для Шугнана изобретено это слово. Здесь для беспорядочного сцепленья несхожих движений, для разнокалиберных скачков и прыжков вверх, вниз, в стороны, для балансирований, цепляний руками, для непрерывной головоломки упорного поступательного движения нужно выдумать новое слово. За весь переход мы отдыхали четыре раза, по пять, по десять минут отдыхали, когда руки и ноги, одеревянев, отказались сгибаться. Тогда, припадая губами к ручью, мы пили чистой ледяную воду. Иногда нас хватал колючий шиповник, и мы продирались сквозь него. Мы спешили. Под ногами рассыпались блестики светлой и черной слюды, и путь наш был искристым. Я смотрел себе под ноги и на ноги идущего впереди. Оглядеться можно было только остановившись, иначе осечка в тончайшем расчете движений, потеря равновесия и паденье. Раз Юдин нагнулся и с торжествующим молчаньем передал мне крошечный камешек. Ляджуар? Да, голубой ляджуар. Значит сомнений нет. Мы еще быстрее, словно усталости в мире не существует, пошли вперед.

Остановились мы у большого камня. Он налег на другие, образовав подобие низкой пещеры. Около камня струился бриллиантовой жилкой источник, охраняемый маленьким отрядом шиповника в цвету. Этот оазис среди мертвых громадных камней соблазнил нас, мы решили здесь ночевать. Стрелка аэро-

ида остановилась на цифре 3.870. Это в четыре раза выше ленинградского моста Равенства, поставленного на дыбы Носильщики наши давно отстали. Мы ждем их полчаса, час, — их нет. Беспokoимся. Карашир уходит навстречу им
Возвращается:

— Они легли спать. Устали. Разбудил. Сейчас придут.

Ждем еще час. Хувак-бек не выдерживает: у носильщиков чай и продукты, а мы голодны до зевоты. Хувак-бей уходит за ними. Возвращается.

— Они опять легли спать!

Когда они наконец пришли, мы напились задымленного чаю и разостлали в пещере одеяла, Юдин и Хабаков в шахматном запое лежали ничком, я писал дневник, а шугнанцы, воткнув под острым углом в песок полую палочку, сделав над врытым концом ее ямку в песке, насыпав в ямку самодельный зеленый табак, по очереди становились на колени, пригибались и тянули с другого конца палочки дым. Один Карашир не уgomонился: полез на скалы с винтовкой — охотиться на кииков, «чтоб было хорошее мясо». Впрочем уже при луне он вернулся ни с чем. Хабаков поймал на себе «хану» и убил ее молотком.

А потом наступила ночь, однотонно звенела вода, трещали камни, срывающиеся с высоты. Мы промерзли в тулупах и одеялах, а шугнанцы спали на плоском присыпаном травой камне, тесно прижавшись друг к другу, в тонких халатах на голое тело. Они объяснили нам, что холода не боятся. Над нами висели льды. Завтра — решительный день.

12

Еще при луне Карашир разбудил меня, попросил у меня винтовку и, обещав встретиться с нами в пути, ушел вперед, чтоб подстеречь кииков, спускающихся перед рассветом к воде. Я лежал, не закрывая глаз, старался не двинуться, не шевельнуться, чтоб ничем не нарушить сновидения, не являвшегося мне еще никогда. В нем были искромсанные пространства вертикальных сечений, это был иной мир, другая планета, — без атмосферы, ее обнаженные резкие грани избородил хо-

лодный, межпланетный эфир. Извивающиеся тела гигантских драконов сползлись со всех сторон. Шишки и острия их неподвижных хребтов закрывали все небо; их толстая, жесткая, темнойпнистая чешуя мерцала светлозелеными отблесками; драконы дремали, свесив шершавые, неповоротливые, тяжело выгнутые языки. Я слышал мерный шум — это был выдох дракона, медленно дышат драконы, между вздохом и выдохом проходят наши человеческие столетия. Я понял, что я — на иной планете, быть может, я на Сатурне. Мне не было страшно, я знал, что вся моя жизнь для этих масштабов — мгновенье, она кончится на тысячелетия раньше, чем проснутся драконы. Какой холодный, зеленый, великолепный, мертвый и жуткий мир! Мне не хотелось просыпаться, не когда в вышине этот мир резнула розовая полоска вечных снегов, когда дрогнула лунная прозелень, я понял, что я не сплю. Мы встали и вышли, оставив под камнем наши тулупы и одеяла. Мы вышли тихо и торопливо, не потревожив покоя драконов. И я понял еще, что проник в тайну возникновения легенд в этой странной стране — Памир.

Хабаков и я чуть-чуть запоздали, мы хотели догнать остальных, но это было невозможно: мы задыхались. Ляджуар-Дара, извиваясь, прошивала узкое ущелье. ущелье грозило обвалами, мы прыгали с камня на камень по мокрым камням Ляджуар-Дары, расчетливо работали руками и ногами. Слева всячий ледник раскрыл свои трещины, мы вышли на поле громадных камней. Юдин с шугнанцами шел впереди нас метров на тридцать, каждые пять минут он останавливался, чтоб передохнуть, и, если бы нам удалось преодолеть усталость и перешагнуть хотя бы через один кратковременный отдых, мы бы его догнали. Но дыханье перехватывало, сердце кружилось волчком, и, когда, бросившись снова вперед, мы добирались до места, где только-что стоял Юдин, он уже был впереди нас на той же дистанции. Мы останавливались, чтоб наглотать в наши легкие воздух, и видели — то же делают Юдин с шугнанцами метрах в тридцати впереди.

Впереди мы увидели верховье Ляджуар-Дары: она вытекала из ледника. Мы свернули с морены направо и полезли вверх, в упор по крутому скату, навстречу водопадам и каскадам маленького ручья. У нас азарт: догнать остальных. Хабаков — истый ходок и спортсмен, мы на Памире привыкли к его самолюбивой гордости, с какой он рассказывал нам о прошлых своих спортивных победах, подаренных ему выносливостью и тренировкой. Тут однако Хабаков начинает сдавать, он останавливается через каждые десять шагов и садится на камень, он дышит, как рыба на суше. Я начинаю за него опасаться, хотя задыхаюсь и сам. Остальные лезут тем же темпом и с такими же частыми передышками, но на прежней дистанции впереди. Крутой склон переламывается еще более крутой осыпью из громадных глыб камня. Здесь Хабаков окончательно отстает, а я иду легче — сердце наладилось. Отвесная скала — вверх надо мной метров на полтора и столько же метров отвеса вниз. По середине ее — узкий, как подоконник, длинный, заваленный щебнем карниз. Здесь я догоняю Юдина и шугнанцев. Хабакова уже не видно внизу. Дальше поворот, осыпь. Местами на животе, извиваясь, всползаем все выше, наш путь бесконечен, камни сыплются из-под рук, из-под ног, камни рождают лавины внизу, грохот и треск удесятряется эхом. Всякие ледники по окружным скалам уже давно ниже нас. Я разгорячен, от меня идет пар, и все-таки мне холодно, на одном из уступов я натягиваю свитер. Хорошо, что сегодня ясный, чудесный день и нет ветра, если бы ветер — на нас бы сверху сыпались камни, мы не сохранили бы равновесия, мы бы окачнели и высота сразила бы нас. И когда, спиралими опетлив скалу, мы одолеваем ее и выбираемся сзади на ее голфву, мы видим перед собой: горизонтальное пространство, нагромождение глыб и камней и в хаосе — полосы неба... Небо? Какое же небо, если сразу над нами — мраморная стена? Отвесная, гладкая, темная, она кладет на нас холодную тень. И все-таки небо. Или это камни горят? Синим, странным огнем... Это не призрачные болотные огни, они не-

подвижны, они ярки и густые, они каменные... Ляджуар! Мы нашли ляджуар! Я бегу, я прыгаю с камня на камень, я не разбираю провалов и темных колодцев между холодными глыбами. Ляджуар... Вот он! вот она под мой синяя жила, я опускаюсь на камень, касаюсь жилы руками, я еще не верю в нее, я оглаживаю ее ладонями, я вволю дышу. Дышит Юдин, дышат шугнанцы. Хорошо!.. Здесь надо уметь дышать. Синяя жила толще моей руки. Глыба, которую прорезает она, больше серого носа дреднута. Кругом такие же, серые, черные, белые. Безразличная, какая-то чопорная тень тяжелит эти глыбы. Усталости нет, усталость сразу прошла. И такой здесь холод, что невозможно не двигаться. Я поднимаю осколок ляджуара величиной с человеческую голову. Я бросаю его: вон другой — больше и лучше. Мы лазаем по глыбам, мы расползлись, сейчас мы просто любимся и торжествуем. Все эти глыбы сорвались оттуда — сверху, с мраморной этой стены. Стена недоступна. Легенда права...

А где Хабаков? Хабаков! Нет Хабакова. Мы забыли о нем. Сразу встревожившись, ждем. Зовем его, вкличем... Никакого ответа. Юдин посылает за ним вниз Пазора. Пазор уходит, и мы слышим его затихающий голос:

— Кабахо... Кабахо... Ка-а-ба-хо...

Бледный, потный, растерянный, наконец появляется Хабаков.

— Что с вами?

Сконфуженные объяснения:

— Понимаете... вот тут... уже совсем близко, вдруг сердце отказывается работать...

Понимаем. Очень хорошо понимаем. Называется это тутек. Роговые очки запотели. Белобрысая щетинка давно нестриженных волос взмокла, слиплась, топорщится лесенкой, гребнем загибается под затылком, у воротника свитра. По лицу и шее — разводы грязи и пота. Штаны — в клочьях. Хабаков похож на ягненка, вытащенного из пророби. Но он дьявольски самолюбив и обидчив, улыбнуться мы не рискнули. Впрочем мы и сами с виду не лучше.

С мраморной стены, сверху, падают камни. Здесь небезопасно стоять.

И неожиданно — грохот, многопущенный грохот. Замираем: где? что это! — и разом оглядываемся. Это не здесь. Не сверху... Это далеко... Грохот ширится и растет: на противоположной горе грандиозный снежный обвал, видим его от возникновения до конца. Оседают белая громада горы, оседает, скользит и летит вниз со стремительной, пьяной быстротой. А внизу, рассыпавшись, взрывается белым, огромнейшим белым облаком, и удар сотрясает почву. Тяжкий гром дрожит, перекачаваясь десятками эхо, облако снега клубится и медленно распадается, оседая, как дымовая завеса. Зрелище великолепное. Обвал расколыхал спокойствие гор, раздражил равновесие скал, и через минуту, словно зарывшись грохотом, по соседству через висячий ледник — второй обвал, значительно меньший. А во мне вдруг ощущения одиночества и затерянности. Как далеко мы от всего на свете живого!

Анэроид показывал 4.570 метров. На Восточном Памире мы бывали на больших высотах, но ощущение высоты там скрадывали пологие перевалы.

Вокруг нас, как пули, ложились осколки камней, падающих с холодной отвесной стены. Мы стояли на больших, остро расколотых глыбах, сорвавшихся оттуда, быть может, вчера.

13

Небли — самый дорогой и красивый. Цвет индиго; асмани — светлоголубой и суфси — низший сорт, зеленоватого цвета. Так разделяют туземцы ляджуар в афганских копиях. А здесь? Все три сорта, вот он — небли — в белоснежных извивах мрамора, в крупнокристаллическом, каменном его сахаре. Синие гнезда, прожилки, желты, словно синяя кровь забрызгала эти скалы. А вот бутылочно зеленая шпинель, словно выплески зеленых глубин Каспийского моря. Вот обломки ляджуара в три пуда, в четыре, в пять...

Здесь, там, всюду, куда ни помотришь. Сколько всего? Не знаю. Много. Это здесь, в осыпях, сорвавшегося со скалы. А сколько его там, на скале? А сколько его в тех же породах, по всей округе? Не знаю, не знаю, это

сейчас невозможно узнать. Нужно провести здесь месяц, два, нужно поднять сюда инструменты и продовольствие, нужно исследовать все. Нужна специальная экспедиция для изучения и оценки открытого нами месторождения. Мы свое дело сделали. Мы стучим молотками. Сколько можем мы унести на своих плечах? Карманы, сумки, рюкзаки — все набиваем мы ляджуаром. Мы берем образцы. В Ленинграде будут жечь их белым пламенем, — ляджуар улучшается в белом пламени, он темнеет, он приближается к цвету небли, а небли не нужно и пробовать, он синее всего на свете. Мы берем образцы для музеев, для испытания огнем, для славы Шугнана, для зависти всего мира к СССР. Для промышленности, для обмена на золото ляджуар возмучт отсюда те, кто придет вслед за нами.

14

В этот день мы шли, карабкались и ползли ровно двенадцать часов под ряд. Как обезьяны на ветвях, мы перебрасывались над каменными воронками от куста к кусту. А перед тем, спускаясь другим путем от месторождения ляджуара, гребли, по примеру шугнанцев, отчаянно крутую осыпь длинными палками, держа их посередине, как держат двухлопастное весло байдарки. Мыплыли вниз, вместе с потоком камней. Хабаков тащился в полном изнеможении и огрызался в ответ на вопросы о его самочувствии, когда мы задерживались, чтоб его подождать. Но он все-таки двигался, и я уважал в нем самолюбивое это упорство. И все свои передышки он превосходно использовал: когда мы пришли в летовку, в его тетради был рельеф топографической с'емки. Впрочем нам он его не показал.

За эти три дня новая моя ни разу до сих пор ненадеванная обувь превратилась в лоскутья.

Внизу, в Барвозе, заболели Маслов и Юдин, — странное недомогание, жар, слабость, ломота и головокружение. Оба не спали по ночам, а днем засыпали в седле. Все мы, и здоровые, и больные, глотали хину в непомерных количествах, потому что заболевание было похоже на малярию, хотя мы и знали, что малярии на Шах-Даре не бывает. Тропическая малярия и папач свирепствуют много ниже Хорога. по Пянджу — в Рушане.

В Рош-Кала против кооператива мы расстались с Хувак-беком. Он сказал, что остается здесь «проводить собрание, говорить разные слова на собрании». Юдин хотел заплатить ему за сопровождение нас к ляджуару, но Хувак-бек, едва не обидевшись, наотрез отказался от вознаграждения: «У меня есть партбилет, и не ради денег я с вами ходил» — так перевел Зикрак горячее его возраженье.

С Зикраком мы расстались в Тавдыме, и на следующий день крупной рысью, оставив позади Маслова с вьючной лошастью, в'ехали в ворота Хорогской крепости, распахнутые перед нами штыком часового. Он издали радостно заулыбался, увидев нас. Красный плакат «Добро пожаловать» снова мелькнул над нами.

Вавилон и Передняя Азия: вывозили ляджуар, считавшийся священным камнем, в Египет. В эпоху Нового Царства, середины второго тысячелетия до нашей эры, князьки Передней Азии посылали ляджуар как лучшую дань фараону. Мы отправили ляджуар в Геолком Ленинграда.

Из прошлого

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА В. БРЮСОВА и А. БЛОКА

ПИСЬМА В. БРЮСОВА

I. Письма к Е. А. Ляцкому

ПРЕДИСЛОВИЕ

Е. А. Ляцкий, к которому адресованы письма, — историк литературы и фольклорист, автор монографии о Гончарове, ряда статей о Чернышевском, основанных на архивных материалах, и пр. Одно время он принимал близкое участие в редактировании «Вестника Европы», затем состоял членом редакции «Современного мира» и «Современника», работал в издательстве «Огни», ныне — в эмиграции.

1906—1907 гг., к которым относится большинство писем к нему Брюсова, были годами, когда расслоение, дифференциация в рядах символистов стали явными не только для них самих, но и для всех следящих за литературной жизнью. Авторитет «Весов» и их редактора Брюсова перестал быть непоколебимым. Социдаются новые группировки, возникают неожиданные и недолговечные блоки... На страницах «Весов» Брюсов вместе с А. Белым и Э. Гиппиус ведет жесткую борьбу с мистическим анархизмом, но в то же время философские искания и взгляды на искусство Белого и религиозное юродство Мережковских были ему чужды не менее, чем мистический анархизм.

У Брюсова не раз возникает мысль бросить «Весы» и расширить круг личных знакомств и литературных связей. Только на этом фоне может быть понята переписка с Ляцким, которую он затеял, воспользовавшись его благожелательной рецензией на «Венок». В первом же письме мы читаем: «Мне всегда тесно в узком пределе почитателей одной литературной школы и в высшей степени важно, что мой голос находит отклик не только в нашем маленьком кругу, но и в более широком кругу русских читателей». В начале 1907 г. он пишет об окружающей его атмосфере враждебности и «одиночестве среди своих»: «Хотя я извне и кажусь главарем тех, кого по старой памяти называют нашими декадентами, но в действительности среди них я — как заложник в неприятельском лагере. Давно уже все, что я пишу, и все, что я говорю, решительно не по душе литературным моим сотоварищам, а мне, признаться, не очень нравится то, что пишут и говорят они». Вне этого стремления Брюсова выйти за пределы символизма совершенно непонятна

на первый взгляд весьма странная, несуществующая не по его воле попытка сотрудничать в «Вестнике Европы», художественный отдел которого был, пожалуй, более консервативным, чем во всех других русских журналах.

Этой тягой Брюсова умело воспользовались идеологи империалистской буржуазии. Уже в 1906 г. Струве, так сказать, закидывал удочку своей статьей в «Полярной звезде», а с 1910 г. Брюсов стал руководить литературно-критическим отделом «Русской мысли».

Разумеется, знакомство Брюсова с Ляцким не было близким. Небезынтересно, что за месяц до того, как Брюсов разъяснял, почему именно ему дорога похвала в «Вестнике Европы», он писал Перцову о той же рецензии: «Включая» после «Балаганчика» Блока в священное число семи современных поэтов: Соллогуб, Э. Гиппиус, Бальмонт, я, Вяч. Иванов, Белый, Блок — вот эти семь (в политике это называется гептархией). А интересно знать, каких семь (увы! — со мной же) считает Евг. Ляцкий (не знает ли его отчества?) из «Вестника Европы»? Си новые лавры повергли меня в полное смущение. Я готов, как Фокион (кажется, он) в ответ на рукоплекания спросить: разве я сказал какую-нибудь глупость?» («Печать и революция», 1926, № 7, с. 45).

Брюсов в своей переписке всегда большой дипломат, — качество, без которого вряд ли мог обойтись вождь крупной литературной школы; поэтому нельзя безоговорочно принимать на веру все его высказывания, следует постоянно иметь в виду лицо, которому они адресованы. Так, необходимо осторожно относиться к интересным отзывам Брюсова о собственных произведениях («Огненным ангелом», «Земной оси»), в которых он проявил необычайную «скромность».

Заслуживает быть отмеченным письмо от 12 марта 1908 г., в котором поэт подчеркивает, с одной стороны, свое убеждение в ограниченности человеческого познания, а с другой — отвращение к суевериям и мистике.

Неоднократно пишет Брюсов о том, что нужно подвести итоги, распрощаться с прошлым и начать «новую литературную деятельность...»

И. ЯМПОЛЬСКИЙ.

5 мая 1906.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Простите, что я немного продолжу наш обмен приветствиями, так как в надписи на своей книге я далеко не выразил всего, что мне хотелось сказать Вам. Ваша заметка в «В. Европы» (как и заметка П. Б. Струве в «П[олярной] Звезде») дорога и важна мне, как голос не из моего мирка, не из того круга, в котором все воспитаны на одних и тех же книгах, все исполнены одних и тех же преубеждений. Мне всегда гесно в узком пределе почитателей одной литературной школы и в высшей степени важно, что мой голос находит отклик не только в нашем маленьком кругу, но и в более широком кругу русских читателей. Я не могу, наконец, не оценить некоего подвига благородства в появлении Вашей статьи о «Венке» после Вашей статьи о моей предыдущей книге¹⁾.

Верьте в мое сердечное уважение.

Валерий Брюсов.

2

Висби (О. Готланд), 4 июля 1906 ст. ст.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Ваше письмо мне довелось прочесть здесь, среди развалин древнего ганзейского Висби. Опять и опять спасибо за добрые слова. Но я никак не могу принять Ваших приветствий моей «усердной» работе. Напротив, весь этот год я ровно ничего не мог делать. Переводы из Верхарна, собранные в моей книге²⁾, исполнены за последние 5-6 лет и только выправлены для отдельного издания.

Пытаюсь отдохнуть здесь от жестокой русской действительности, но утром, прочтя шведскую газету, долго не мог оправиться от вестей с родины.

Сердечно уважающий

Валерий Брюсов.

3

24 декабря 1906.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Не без смущения посылаю Вам свой новый том: «Земную Ось». Боюсь, что

я покажусь борзописцем, сочиняющим по несколько книг в сезон. По счастью дело обстоит не так. Просто в моей жизни пришла пора подвести итоги тому, что я делал до сих пор, чтобы начать делать иное. Как мои переводы из Верхарна, появившиеся весной, так и выходящие теперь отдельной книгой рассказы — писались в течение последних 5-6 лет. Лично я своими рассказами очень недоволен, более даже, чем показываю то в предисловии³⁾. Но ничему нельзя научиться, не быв сначала учеником: «Земная Ось» — книга ученика. Если вы захотите обратить на нее внимание, как на предыдущие мои книги, я буду Вам признателен за все упреки, как признателен сейчас за приветствия, далеко, конечно, незаслуженные, какими Вы встретили мои «Стихи» о современности⁴⁾.

Сердечно уважающий

Валерий Брюсов

4

19 января 1907.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Благодарю за доброе письмо. Говоря безо всяких условностей, мне очень дорого Ваше хорошее отношение ко мне и к моим книгам. За последнее время я от этого совсем отвыкаю. Ибо, хотя извне я и кажусь главарем тех, кого по старой памяти называют нашими декадентами, но в действительности среди них я — как заложник в неприятельском лагере. Давно уже все, что я пишу, и все, что я говорю, решительно не по душе литературным моим сотоварищам, а мне, признаться, не очень нравится то, что пишут и говорят они. В окружающей меня атмосфере враждебности, в этом «одиночестве среди своих», я живо чувствую каждое проявление внимания к себе.

Но Вы не совсем правы, возражая мне на мое письмо, и отказываясь от права «упрекать». Моя «Земная Ось» именно потому заслуживает упрека, что она не создание свободного художника. И на вопрос Пушкина о своем труде: «Ты им доволен ли, взыскательный художник?», я должен ответить: «Нет, не доволен!» Может быть, тогда не следовало бы издавать книги, но до некоторой степени

мне даже хотелось выставить на показ, на «позорище», свои ошибки. Эти рассказы были писаны, пусть же они займут свое место в облике моей литературной жизни. «Земная Ось» должна послужить мне той доской, оттолкнувшись от которой можно сделать прыжок более высокий.

Впрочем, этим прыжком еще не будут те страницы прозы, над которыми я сейчас работаю, мучительно и безнадежно. Это—мой роман из немецкой жизни XVI в., обещанный читателям давно, а редакции еще раньше. Задуман он был года три назад, если не больше. Он должен был стать завершением тех моих занятий магией, оккультизмом, спиритизмом etc., на которые я, — довольно — таки бесплодно, — потратил лет десять жизни. Теперь все это мне совершенно чуждо, и я работаю над старой рукописью почти механически, безо всякого увлечения. Роман мой, как и «Земная Ось», будет лишь одним из итогов моего прошлого⁶).

Эта работа, между прочим, мешаег и моему приезду в Петербург (как раньше мешала болезнь С. А. Полякова, [р] издателя «Весов», длившаяся полтора месяца). А мне искренно хотелось бы встретить Вас, потому что, кажется мне, Вы не неправы, и у нас нашлось бы многое, о чем говорить и спорить. Может быть, именно о второй молодости писаний, но не только Ваших, но и моих, о том, что мешает литературно помолодеть и Вам и мне.

Сердечно Ваш
Валерий Брюсов.

5

6 марта 1907.

Многоуважаемый
Евгений Александрович!

Ваше предложение, конечно, мне очень дорого. В «Вестнике Европы», — несмотря на все, что можно сказать против него и что Вы знаете лучше меня, — есть что-то выделяющее его из числа всех других журналов. Участвовать в «Вестнике Европы» было и остается честью.

Быть может, это даже хорошо, что Вы предлагаете мне выступить у Вас не

стихами, а статьей. За последние месяцы у меня нет стихов, которыми я был бы совершенно удовлетворен. В разных изданиях я печатаю стихи, которые сам не очень люблю, а это почти мучительно. Не знаю, не излишнее ли это сомнение, но мне все кажется, что мои читатели пред'являют ко мне теперь слишком строгие требования. И невольно я прерываю начатые строфы, спрашивая себя: нужно ли это? не напишет ли того же за меня кто-нибудь другой? или уже не написал ли раньше Верхарн, или Вераэн, или В. Гюго, или Жуковский, или Гете?

Но в Вашем предложении — писать о новинках западной литературы — тоже есть одна сторона, смущающая меня. Ведь это область, давно завоеванная в «В. Европы» Э. А. Венгеровой. В свое время я печатно нападал на Э. Венгерову, обвинял ее в таких-то и таких-то промахах, но, во-первых, не могу отрицать ее заслуг (сколько лиц впервые из ее статей узнали о Верлене, о Россетти, о Блэке, о Ведекинде и т. д.), а, во-вторых, вообще не хотел бы посягать на ее права в журнале⁷). Не можем ли мы с ней размежеваться мирно? Особенно охотно взялся бы я, время от времени, давать критические разборы новых стихотворных сборников, преимущественно французских поэтов, отчасти немецких и итальянских. Этот предмет я знаю и в нем чувствую себя компетентным, имеющим право судить. За Э. Венгеровой остались бы: романы, драмы и все теоретические книги по литературе и искусству.

Для начала я мог бы предложить разбор нескольких сборников молодых французских поэтов, образующих новую группу, новую школу, объединенную вокруг издательства «L'Abbaye». Это—новая попытка приблизить поэзию к современному уровню знания, науки, попытка во многом ненужная и неудачная, но в некоторых своих частях очень замечательная и очень заслуживающая внимания. Вы найдете об этих поэтах, в 1 № «Весов», статью нашего Р. Гиля, партийную и сделанную с французской точки зрения. Я постараюсь написать беспристрастно и имея в виду русских читателей⁷).

В заключение позвольте благодарить Вас за Вашу статью во 2 № «В. Европы». Мне кажется, что все сказанное Вами бесспорно. Сказано же все так ясно и убедительно, что я не знаю, остается ли что возразить Вашим и нашим противникам").

Душевно Ваш

Валерий Брюсов.

6

13 марта 1907.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Я очень рад, что мое предложение Вам по сердцу. Принимаюсь за работу. Но умоляю Вас — не стесняйте меня сроками. «Вестник Европы» журнал аккуратный, может быть самый аккуратный в мире. Мне было бы очень грустно, если бы из-за меня его книжка опоздала хотя бы на один день. Позвольте же мне лучше иметь в виду не апрель, а май, и постараться доставить Вам свою рукопись (конечно, небольшую) к концу марта.

Сердечно уважающий

Валерий Брюсов.

7

17 марта 1907.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Ваше последнее письмо меня совсем поразило. Не говорю уже о том, как мне грустно, что в «В. Европы» прекратится Ваше влияние, которое я научился ценить. Но меня прямо мучит мысль, что в числе причин этого приходится признать и Ваше сочувствие моей поэзии. Я испытываю как бы чувство виноватости перед Вами, хотя и понимаю, конечно, что в своих статьях Вы писали то, что считали правдой, что находили нужным сказать. Но то обстоятельство, что мысли, высказанные Вами в Вашей последней статье, — столь бесспорные, столь аксиоматичные, — могли кому-то показаться предосудительными, мне почти непонятно. Поистине прошла

грань между поколениями и одно просто не постигает логики другого.

Статьи своей в «В. Европы» я, конечно, не направлю, так как писал ее для Вашего журнала, а не для «В. Европы», который уважаю, к которому чувствую некий пиетет, но стучаться в который вовсе не хочу.

Вы могли счесть невежливостью мое молчание на Ваше предыдущее письмо, но то было просто небрежностью, конечно «достойной осуждения» и за которую я очень извиняюсь. Написав Вам ответ, я забыл его отправить и лишь сегодня нашел случайно среди бумаг. Пошлю Вам и это письмо, как Вашу ответственность, хотя оно теперь и не имеет значения.

Уважающий и преданный

Валерий Брюсов.

8

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Благодарю сердечно за Вашу повесть, которую Вы мне прислали. Буду читать и, если позволите, сообщу Вам свои впечатления.

Ваш

Валерий Брюсов.

9

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Благодарю Вас за всегдашнее внимание ко мне. Конечно, я с удовольствием предложу что-либо для «Современного Мира». Но мне хотелось бы знать, что именно ждет от меня его редакция: стихов или статей? — (рассказов нет и, вероятно, долго не будет). У меня есть задуманная для «широкой» публики работа о Верлене (небольшая по размерам), с целым рядом включенных в нее моих переводов. Не подойдет ли?").

Прошу принять посылаемый с этим письмом мой перевод «Пеллеса и Мелизанды». Перевод был исполнен для театра В. Ф. Комиссаржевской в два дня, но с увлечением. К сожалению,

поставлен он был Вс. Э. Мейерхольдом так, что хуже нельзя...¹⁰⁾

Сердечно уважающий
Валерий Брюсов.

Р. S. Кстати: в Петербурге я был всего один вечер, именно на первом представлении «Пеллеаса и Мелизанды». На другой же день я должен был читать в Москве публичную лекцию о Верхарне... Вот почему я, хотя и помнил Ваше любезное приглашение, не мог сделать попытки встретиться с Вами.

28 окт. 1907.

10

6 ноября 1907.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Я был бы очень рад, как Вы того хотите, предложить что-либо уже для декабрьской книжки «Мира». Пошлю Вам четыре стихотворения из которых, может быть, Вы выберете более подходящее Вам. Это — все, чем я сейчас могу располагать. Мне приходится очень просить Вас — известить меня о Вашем решении. Я дал обещания разным изданиям и должен буду немедленно передать им те стихи, какие не пойдут Вам¹¹⁾.

В будущем надеюсь предложить Вам что-либо более «достойное».

Сердечно уважающий
Валерий Брюсов.

11

12 марта 1908.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

К стыду моему я собираюсь писать Вам голько тогда, когда надо мне благодарить Вас. Но мне очень хотелось бы, чтобы это не помешало Вам верить в искренность моих слов. Я прочел Вашу статью обо мне с величайшим интересом. Я прямо гронут тем вниманием, с каким Вы огнеслись к моей юношеской поэзии. Не всегда я умею принудить себя проявить столько внимания при оценке того или другого поэта.

Многое в Вашей статье показывает мне меня самого с самой неожиданной точки зрения. Но с чем я особенно охотно соглашаюсь — это с заключительной частью статьи. Да, для меня трансцендентное есть трансцендентное, т.е. абсолютно непостижимое, и всякого суеверия я чужд совершенно. Дело человека — расширить пределы своего сознания, а не перепрыгнуть через них¹²⁾.

Но принося Вам лично благодарность за Вашу статью, я хочу принести Вам, как одному из редакторов журнала, и жалобу на Вашего сотрудника — г. Неведомского. В февральской книжке «Мира» он позволил себе, на мой взгляд, прямо непристойные выходки против «модернистов». Нельзя обвинять целый круг писателей, что все они, так сказать, «живут на содержании» у каких-то московских купцов. Такое обвинение, во-первых, несправедливо, потому что противоречит фактам, а во-вторых, не может быть бросаемо бездоказательно, глухо и как-то огулом. В № 2 «Весов» мы поместили ответ Неведомскому, достаточно беспощадный¹³⁾.

Сердечно Ваш
Валерий Брюсов.

12

4 апр. 1908.

Многоуважаемый

Евгений Александрович!

Тотчас после появления Вашей статьи о первом томе моих «Путей и Перепутий» я писал Вам, благодаря Вас за то внимательное отношение к моей поэзии, каким я, как критик, не всегда могу похвалиться по отношению к другим поэтам. Я начинаю бояться, что это мое письмо не попало почему-либо в Ваши руки, так как в нем кроме того были «жалобы» на г. Неведомского, на которые Вы, вероятно, захотели бы мне ответить. Что мои жалобы в свое время не были услышаны, это, конечно, не беда, — но что мой отзыв на Ваши слова своевременно не дошел до Вас, это жаль. Много из сказанного тогда под свежим впечатлением теперь не восстановишь.

Я шлю Вам второй том «Путей и Перепутий». Так понемногу я прощаюсь со всем моим прошлым. Осталось напе-

чатать третий том (стихи 1906—1908 г.), собрать более важные из своих статей, перепечатать вторым изданием «Земную Ось» и закончить «Огненного Ангела», — тогда можно будет начинать свою литературную деятельность сначала, или, точнее, начать новую литературную деятельность¹⁴). И это именно то, что я мечтаю сделать Ваш дружески

Валерий Брюсов.

13

7 апр. 1909. Москва, Цветной, 24.

Многоуважаемый

Евгений Алексеевич!¹⁵)

Памятуя Ваше внимание к моим стихам, шлю Вам свою новую книгу. Но так давно мне не приходилось ничего слышать о Вас, что не решаюсь направить ее по Вашему бывшему адресу, а посылаю через редакцию «С. М.». Но Вас почти не видно и в литературе. Что Вы и где Вы? Был бы очень признателен и рад, если бы Вы дали мне весть о себе. Было бы грустно, если бы наши завязавшиеся были отношения кончились ничем.

Неизменно преданный Вам

Валерий Брюсов.

Примечания.

1. Рецензия о «предыдущей» книге Брюсова «Urbī et ogbī» («Риму и миру») (М 1903) была напечатана в № 3 «Вестника Европы» за 1904 г. В ней говорилось о «тяжеловесной неуклюжести его стихов», «нечеловеческих усилиях» поэта, «отсутствии изящества в образах», бедности мыслей. По мнению Ляцкого, свой «небольшой, неяркий, описательный по преимуществу талант» Брюсов губит «декадентским ломаньем и кривляньем», стихи его проникнуты ядом разложения и гнили». Стоя на позициях буржуазного либерализма, Ляцкий опасается за «гражданские» и «национальные» начала; «Г.г. Брюсовы помогают, купно с г. Бальмонтом и прочими присными, предавать и наславлять общественную мысль и совесть, уловляя в сети своего обаяния интеллигентствующее «мещанство», людей равнодушных к достоинству литературы да умственно-незрелых тупиц. Они подыскивают оправдательные формулы для нравственной распущенности и для торжествующей наглости, содействуя притуплению и без того невысокого чувства нашего гражданского и национального достоинства».

Совсем в ином тоне написана рецензия о «Венке» («Вестник Европы», 1906, № 4). «Ото-

шел, как нам кажется, г. Брюсов от прежних декадентов и отвоевал у них свое особое, никем не занятое место поэта спокойных вдумчивых созерцаний, вдохновенный, внушаемых женственной любовью к красоте, кропотливым изучением художников и поэтов... Пусть же он будет сам собою и таким войдет в немногочисленную семью истинных поэтов, чутко отдающихся обаянию дивного и вещего русского слова, — войдет простой, искренний, вдохновенно-размеренный, умно-мечтательный, сдержанно-свободный» Разумеется, этот лейтмотив рецензии Ляцкого свидетельствует о недостаточном понимании сущности брюсовского творчества, которое не имело ничего общего ни с «женственной любовью к красоте», ни с «простотой».

Весьма благожелательная статья о «Венке» П. Б. Струве под названием «Наше „бездарное“ время» появилась в журнале «Полярная звезда» (1906, № 14, 19 марта). Это была недуманная попытка вовлечь крупного поэта в лоно кадетской общественности.

2. Эмиль Верхарн Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова М. 1906

3. В предисловии к книге «рассказов и драматических сцен» «Земная ось» (М. 1907) авторское «недовольство» проявилось в малой степени. В очень сдержанном тоне Брюсов писал, что это — «итог почти десятилетней работы» и отмечал испытанные им влияния Эдг. По. Франса, Пшибышевского Тут же он высказывал уверенность в том, что внимательный читатель признает одно: «В моих опытах, как автора рассказов, есть движение вперед, есть последовательное приближение к цели, хотя еще далеко не достигнутой. Этого признания было бы с меня достаточно».

4. Восторженный отзыв Ляцкого о брюсовских переводах Верхарна — в «Вестнике Европы», 1906, № 11.

5. Речь идет об «Огненном ангеле», печатавшемся в «Весах» в 1907—1908 гг. Нужно заметить, что не всегда Брюсов столь сурово отзывался о нем, — сошлюсь например на его неопубликованные письма к А. А. Измайлову.

6. З. А. Венгерова с самого начала 90-х годов систематически печатала в «Вестнике Европы» статьи о новых явлениях в западной литературе, в том числе и о символизме. Отдел «Новости иностранной литературы» она вела в «Вестнике Европы» до 1909 г.

7. Рене Гиль (1862—1925) — французский поэт и теоретик искусства, основатель школы «научной поэзии»; печатал в «Весах» «Письма о французской поэзии».

В группу «L'Abbaye» («Аббатство»), возникшую в начале XX ст и возродившую с некоторыми вариантами учение Р. Гиль о научной поэзии, входили Жюль Ромэн, Жорж Дюамель Шарль Вальдрак Рене Аркос и др.

Замысел статьи об «Аббатстве» не был осуществлен Брюсовым: отдельные замечания см в статье «Литературная жизнь Франции». II «Научная поэзия» («Русская мысль», 1909, № 6) и в книге «Французские мирики XIX века» («Полное собр. сочин. и переводов» т 21).

8. Брюсов имеет в виду первую половину статьи Ляцкого «Вопросы искусства в современных его отражениях», которая была напе-

чатана не во 2-м, а в 3-м номере «Вестника Европы». В ней Ляцкий в непривычных для «Вестника Европы» сочувственных гонках отозвался о современной русской литературе, в частности о символизме. «Прошлый век литературы в толстых томах, — между прочим писал он, — весь разошелся по шкапам и полкам; его будут изучать с спокойной любознательностью, его будут анализировать с бесстрастием хирурга или с мечтательным умилением. Но волнение наших дней, пожирающий пламень самозабвенной мысли, горячий порыв навстречу жизни, борьбе и счастью принадлежат не им, а тому, что несется к нам из неясного далека грядущего...» В число этого несущегося из «далека грядущего» Ляцкий включал и искания символизма. Несколько страниц непосредственно о Брюсове находим во второй половине статьи — в № 4 журнала. Статья, как видно из письма от 17 марта 1907 г., привела к уходу Ляцкого из «Вестника Европы».

9. Статья о Верлане Брюсов для «Современного мира» не написал. Большая статья (с датой «1911») была помещена в качестве вступительного очерка к книге: «Поль Верлан. Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. М. 1911».

10. В «Голосе Москвы» от 13 октября 1907 г. Брюсов поместил под псевдонимом «Латник» статью, в которой очень резко отозвался о постановке Мейерхольда и декорациях художника В. Денисова и восторженно — об игре Комиссаржевской. В дневник он записал: «Перевод «Пеллеаса и Мелизанды». Позднее в Петербурге на первом представлении. Провал пьесы». («Дневники. 1891—1910», М., 1927, с. 139.)

11. В № 12 «Современного мира» за 1907 г. помещено два стихотворения Брюсова «Служителю муз» и «Из вечеровых песен».

12. Статья Ляцкого «Пути и перепутья в поэзии Валерия Брюсова» («Современный мир», 1908, № 3) была написана по поволу первого тома «Путей и перепутий». В конце статьи он высказывал радость, что поэзия Брюсова «раскрывается все шире и шире навстречу еще несознанным красотам прекрасного реального мира. Это и есть «настоящая» дорога Брюсова. Она одна и другой у него быть не может». А вот место о трансцендентном, с которым вполне согласился Брюсов: «В этой философии нет ничего трансцендентного, а в религии — и тени суеверия, насыщающего воображение мистическими бреднями... Брюсов населяет мир призраками, рожденными «электрическим» светом лунны, вечерними тенями, одиночеством и думой, настроенной к иллюзиям и грезам. Но нигде эти призраки не являютя у него вестниками потустороннего мира. И «тайны» его одинаково далеки и от чудес, и от сверхчувственных постижений. С представлением о его «тайне»... помирятся самые позитивные умы. В самом деле, тайна Брюсова — или вечная, неразгаданная тайна, над которой поставлено безнадежное «ignotavimus»... или мир невоплощенных творческих образов... Он не знает тайны ужаса и беды. Он знает тайну тьмы, но как далека она от мистического трепета, от цепенения мозга!»

13. М. Неведомский в статье «О „навях“ чарах и „навях“ троах» писал о «нескольких богатых (преимущественно московских) купцах-меценатах, естественно склонных «потрафлять» под самоновейший и самооднейший фасон и трогательно беззащитных перед авторитетом любого «модерниста» побойчее». Эти меценаты «питают», по словам Неведомского, ряд журналов «и дают приют десятку писателей, окончательно порвавших с жизнью, надрывающихся в разных «мистических» и эстетических выдумках» и т. д.

В письме к Ляцкому Брюсов пытается отрицать самый факт меценатства купцов и промышленников, несомненно сопутствовавший русскому символизму. В «Весах» же он поступает иначе. «С каких это пор издавать книги стало делом зазорным? — пишет он. — Допустим, что московские меценаты действительно «питают» (т.-е. субсидируют) издания, которые считают нужным поддержать, — разве же это поступок достойный осмеяния?.. Во-вторых, что это за сыск: кто состоит издателем, не купец ли? Ведь это прием «Нового Времени», если не III отделения...» («Весы», 1908, № 2, с. 104—106, «Из журналов»). Брюсов не понимал, что вопрос ставился не только о материальных, но и об идеологических связях. Впрочем, у Неведомского он поставлен действительно довольно примитивно.

14. Третий том «Путей и перепутий» вышел в 1909 г., 2-е дополненное издание «Земной оси» — в 1910, статьи, объединенные в сборнике «Далеким и близким», — лишь в 1912; печатание «Огненного ангела» закончилось в № 8 «Весов» за 1908 г.

15. Описка.

II. Письмо к И. И. Ясинскому

ПРЕДИСЛОВИЕ.

И. И. Ясинский был одним из немногих журналистов и писателей старого поколения, благожелательно отнесшихся к первым шагам русского символизма Брюсов переписывался и, бывая в Петербурге, неоднократно виделся с ним. Еще в 1898 г. он заносит в дневник: «После пришел (к К. К. Случевскому) Ясинский, красивый, могучий зверь, с красивой длинной, остроколючей бородой... Он сказал со мной два-три слова о моей книге: «Смело, очень смело...» («Дневники. 1891—1910», М., 1927, с. 55—56). Поездка в Петербург в октябре 1900 г., которой предшествовало публикуемое письмо, также отразилась в дневнике, между прочим и встреча с Ясинским у Мережковских: «Ясинский очень хвалил мои статьи в «Русском архиве», говорил, что ради них стал читать «Русский архив», и звал писать у него» (там же, с. 96). И Брюсов так же, как Бальмонт, не раз печатал стихи и статьи в журналах Ясинского «Ежемесячные сочинения» и «Беседа».

Публикуемое письмо весьма интересно для характеристики облика Брюсова тех лет — поэта и человека. Это в полном смысле сло-

ва «декадентское» письмо — по скачкам мысли. фразеологии, откровенному позирванию и т. д.

Как и письма к Е. А. Ляцкому, оно хранится в рукописи отделении Института новой русской литературы Академии Наук СССР.

И. Я.

Окт. 900.

Странно утратил я умение писать — и письма, и статьи, и стихи. Делаю, что почитается должным, а другое время брожу по улицам, смотрю, удивляюсь. Чувствую везде возможность — и не выполняю ничего.

Книгу мою ¹⁾ Вы вероятно получили. Говорить о ней наскучило и не стоит. Но напишите, если получили. И — если не в труд — адреса: Случевского, Мережковского, Минского, Сологуба. Пожалуйста. Да, еще М. Лохвицкой.

В четверг мы выезжаем с С. А.²⁾. В пятницу будем в Петербурге. Зачем? Не очень знаю. Былая мысль. Прочту Вам очень-очень много стихов. (Это не противоречие). Видели ли Вы Ореуса?³⁾

Читал Ваши переводы из Эдгара (стихи). Что Вы перевели их — это очень хорошо; должно было. Впрочем Зантэ похищен у Новича.

С магически-печальными словами

(я говорю о начале; почти слово в слово). Два, из тех, которых не знал, совершенство и совершенно он ⁴⁾).

Читал Фофанова — Иллюзии. В Ваших Е[жемесячных] С[очинениях] говорилось, что его значение — что он предшественник Бальмонта. Дважды неправда. Он очень большой поэт. Я редко читаю русские стихи, как стихи, но его читаю ⁵⁾. (Все повторения слов намеренные).

Делю время между спиритами и детской влюбленностью. Смеюсь над собой и над другими. Иногда пытаюсь написать статью для Еж. Соч. и странно — не могу написать двух строк. «Что-то роковое». Боже мой, как хороши безумства и как редко я обретаю их. О, размерность, размерность, размерность! Мне хочется чего-нибудь совсем глупого и совсем некрасивого (не безобразного, а некрасивого). Ах, как будете Вы негодовать на мои стихи, ибо в них все, чего не должно быть.

Мне все равно, мне все равно, слежу игру теней.

Я долго жизнь рассматривал, но пригляделся к ней ⁶⁾.

С каждым днем и годом все ближе, все более вплотную подхожу к знанию, что так нельзя дальше. Все равно что-нибудь. — но нарушение. О мерзость:

Если хочешь, поди согреси.

О мерзость! хочу преступления, отравы, хоть болезни смертельной; уйти на богомолье, уехать не с женой в Каир, хоть детскости, хоть глупости.

Мне все равно, мне все равно...

Только бы не игра теней. А ведь я вовсе не медленно живу. Я что-то даже слишком чувствуем. Я в день прихожу на три свидания. Я в-явь и во-очию беседую с дьяволами. Читаю где-то, какие-то поучения, и все встречаюсь с своими «читателями». Ах, уйти бы, уйти бы...

Ваш

Валерий Брюсов.

P. S. Одно из таких писем, которые прежде я переписывал и обращал в совершенные творения; а сегодня посылаю так.

Примечания.

1. Tertia vigilia (Третья стража). Книга новых стихов (1897—1900). М., 1900.

2. С. А. — Сергей Александрович Поляков, владелец издательства «Скорпион», вокруг которого группировались символисты.

3. Ореус — настоящая фамилия поэта И. И. Коневского (1877—1901), одного из ранних русских символистов, которого высоко ценил Брюсов.

4. Перевод стихотворения Эдгара По «К. Зантэ», сделанный Н. Новичем, был напечатан в сборнике «Русские символисты», вып. 3. М., 1895. «С магически-печальными словами» — строка из этого перевода, заимствованная Ясинским. Интересно, что и сам Брюсов в переводе «К. Зантэ» не смог вполне избежать этого сочетания слов; в его переводе находим:

«Вовек!» о звук магически-печальный... (Эдгар По. Полное собрание поэм и стихотворений. М.—Л., 1924, с. 49).

5. «Ежемесячные сочинения» — журнал, выходявший под редакцией Ясинского. В № 10 за 1900 г. была помещена заметка о последней книге стихотворений К. М. Фофанова «Иллюзии». Автор заметки в общем очень благоприятно отнесся к ней, хотя и с рядом оговорок. Вот место, обратившее на себя внимание Брюсова: «Все-таки стихи его нежны и очаро-

вательны. Все-таки он имеет право, как предшественник Бальмонта, во имя того, что им сделано для русской поэзии, сказать:

Ищите новые пути!» и т. д.

Брюсов не только в молодости, но и в зрелые годы считал Фофанова большим поэтом, — см. некролог Фофанова в «Русской мысли» (1911, № 7) и статью о нем в 5-м томе «Истории русской литературы XIX века» под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского (М., 1911).

6. В «Urbi et orbi» (М., 1903, с. 147) — другой вариант этих строк из стихотворения «Презрение»:

Я долго жизнь рассматривал, я присмотрелся
к ней...

В 3-м томе собрания сочинений Брюсова (СПб., 1914, с. 174) стихотворение датировано 1903 г.

ПИСЬМА А. БЛОКА

1. Письма к Леониду Андрееву

Предисловие

Знакомство Блока с Андреевым было бедно встречами, разговорами, перепиской, но они чувствовали некоторую близость и привязанность друг к другу. «Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства — чаще в «хаосе», реже — в «одиноких восторженных состояниях» — писал Блок в своих воспоминаниях об Андрееве. («Памяти Леонида Андреева» — «Записки мечтателей», № 5, Пб., 1922, стр. 22.) Сближало ощущение окружавшего их социального неблагополучия. К 1916 году, к которому относятся публикуемые письма, Андреев пережил значительный идеологический перелом; окончательно выцвела в нем былая мелкобуржуазная революционность. Работа в «Русской воле» лишь завершила это перерождение. Блок, отрываясь от своего класса, шел в противоположную сторону.

«В конце 1916 года вернулся я в Петербург ненадолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Л. Н. звал меня принять участие в газете «Русская воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской — и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это — газета протопоповская, и я отказался. Л. Н. очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство — навсегда уже». В приведенном отрывке следует отметить две неточности. Во-первых, «обиженное письмо» Блок получил уже на фронте, во-вторых, 21 ноября 1916 г. он ответил на него.

Как известно, Блок не отличался урапатриотическими настроениями, за что ему неоднократно доставалось от друзей даже после смерти. Он устроился табельщиком в 13-й инженерно-строительной дружине Всероссийского земского и городского союза, занимавшейся устойчивым укомплектованием. В его ведении нахо-

дились рабочие дружины. И в поэте просыпается ощущение долга народу, чувство своей вины и стыда перед рабочими, которым он ничем не может помочь: «все равно, ничего не поделаешь (не вылезешь, не обуешь)»; он считает естественным, что «низшие чины», сознавая дистанцию между собою и «старшими чинами штаба», «начинают коситься на нас» (М. Бекетова, Александр Блок. Пб., 1922, стр. 219). Но в то же время сказывается аристократическая безразличность: «среди них много несомненного хамья и природной сволочи. Нам неизвестны конкретные поводы, вызвавшие эти слова; впрочем, в разных местах дневника мы встречаем упоминания то о «нахальстве» рабочих, то об их чрезвычайной неопрятности; раздражало, повидимому, и недоверие к нему, несмотря на то, что Блок считал его вполне закономерным. Аналогичные явления «шокировали» поэта и после свержения самодержавия, которое он принял восторженно: «Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие; думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует». (М. Бекетова, стр. 226.) От барской безразличности Блок вполне (несмотря на «Двенадцать») так и не избавился. Однако в 1917 — 1919 гг. он говорит уже о хамстве не рабочих, а юнкеров и офицеров, пьющих за здоровье Николая II, а слово «сволочь» неизменно обращено к буржуазии: «интеллигенты — прихлебатели буржуазной сволочи» и т. п. (Дневник Ал. Блока. 1917—1921. Л. 1928, стр. 53, 98).

В письмах интересные штрихи, рисующие жизнь поэта на фронте, его отношение к войне, патристическим корреспонденциям из действующей армии, которыми грешили многие крупные русские писатели, к работе художника в газете, к своему творческому бессилию в это время.

Письма Леонида Андреева к Блоку были недавно опубликованы в сборнике «Реквием» (М. 1930).

Василий Васильевич Бруснянин (1867—1919), о котором говорится и в первом («какой-то газетный и «деловой» голос»), и во втором письме Блока, — беллетрист, секретарь Л. Андреева и автор книжки о нем.

И. Я.

1

29 октября 1916.

Офицерская 57, кв. 21.

Дорогой Леонид Николаевич.

Все время я обдумывал, как ответить Вам по существу; когда же между нами (по телефону) втесался какой-то газетный и «деловой» голос, я ответил этому голосу сухо и холодно, как не хочу отвечать Вам.

Все мои близкие горячо убеждают меня не участвовать в газете, приводят

факты и аргументы, которым я не могу не верить. Сам я был совершенно не в курсе дела, газет на фронте почти не видел и о газетной полемике, связанной с новым делом, не знал.

Если бы я захотел участвовать в газете, мне было бы нечего Вам дать все словесное во мне молчит; пол дня я провожу верхом на лошади, сплю на походной кровати, почти не умываюсь; что дальше будет, не знаю, а пока это было только хорошо: проще и яснее; если бы все это описать, вышло бы до нельзя обыкновенно и скучно: обычная газетная статья с подписью: «действующая армия»; стихи тоже никак не выходят; вся суть — в новом ряде снов, в которые погружаешься. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого, когда пройдут годы: из нежной любви к лошади и стыда перед рабочими, которыми я ведаю; среди них много несомненного хамья и природной сволочи, но стыдно до тошноты, и чего — сам плохо знаешь: кажется, того, что, все равно, «ничего не поделаешь» (не вылечишь, не обуешь).

Вероятно, пройдя назначенный путь разочарований, боли и гнева, Вы уйдете из газеты; кроме всего, Вы совсем не для газет. — Как тяжело здесь в городе этой зимой; я в полторы недели успел изнежиться и запутаться; там теперь лучше; хоть все это говорят, это не слова.

Ваш Александр Блок.

2

21 ноября 1916 года.

Ст. Парховск. Полесских

ж. д.

13-я Инж.-Стр. Дружина

В. З. и Г. С.

Многоуважаемый

Леонид Николаевич.

Простите, пожалуйста; получив Ваше письмо, я почувствовал, что действительно ответил Вам не так, как надо; не в деловом отношении, а в человеческом; прошу Вас также извиниться за меня перед В. В. Брусняниным, сказать ему, что всякие городские химеры заставили меня в ту минуту ответить ему так не любезно, отнестись непросто к его простым словам.

Чем далее развиваются события, тем меньше я понимаю, что происходит и к чему это ведет. Всякая попытка войти в политическую жизнь хотя бы косвенно для меня сейчас невозможна. Ничего, кроме новых химер, такая попытка не породит. Живя здесь я по крайней мере как-то участвую в событиях (мало, но участвую), но не в качестве поэта. Вот отчасти объяснение той уклончивости и нервности, которую я проявил по отношению к Вам и к В. В. Бруснянину. Еще раз прошу Вас не думать, что я хотел обидеть.

Искренно уважающий Вас

Ал. Блок.

2. Письмо к П. О. Морозову

Предисловие

С историком театра и литературы, известным пушкинистом П. О. Морозовым (1854—1920) Блок довольно часто встречался после революции в Театрально-литературной комиссии 6. императорских театров, членами которой они оба состояли, в Большом драматическом театре, в издательстве «Всемирная литература». В своем дневнике этих лет Блок несколько раз с чувством симпатии упоминает имя Морозова. Среди бумаг последнего сохранилось пять писем Блока, преимущественно делового характера. В письме от 1 мая 1919 г. стоит отметить отзыв поэта о сделанном Ал. Амфитеатовым переводе пьесы Сем-Бенелли «Рванный плащ», которую предполагали поставить в Большом драматическом театре. «Мне казалось, — писал Блок, — что переводчик не только не владеет стихом, превращая его по неумению и по небрежности в прозу, но, что хуже, искажает самый замысел автора вульгарностью языка и каким-то захватским тоном. Он по-буренински измелечал большую мысль, да еще без буренинской литературности...» Другое письмо, в котором интересны слова об истинной, «не либерально-интеллигентской», не «высокомерной», а «научной и художественной» популярности, мы печатаем полностью.

Первый том «Истории драматической литературы и театра», о которой в письме идет речь, вышел в 1903 г. Это — лекции, прочитанные Морозовым в Петербургском театральном училище. Четыре раздела первого тома охватывают театр Древней Греции и Рима, театр средневековый и испанский. Второй том не вышел. Частичным осуществлением плана Блока явилось издание брошюры Морозова «История европейской сцены», вып. 1. П 1919, в которой в несколько измененном и сокращенном виде были перепечатаны первые два раздела старой книги.

И. Я.

12 февраля 1919.

Глубокоуважаемый

Петр Осипович.

Эти дни я все возвращаюсь к Вашей «Истории драмат. литературы и театра» (том 1, не знаю, был ли 2-й) и имею большую потребность сказать Вам, как меня не только учит, но и радует эта книга — с каждым чтением все больше — своей сжатостью, простотой, ясностью и языком. То, что мне слышится в Ваших речах о любом предмете, я нахожу и на каждой странице этой книги, и для себя называю это «пушкинским» в Вас. Простите за эту лирику, она — от чистого сердца, а, кроме того, клонит к делу, которое заключается в следующем: мне кажется, что Ваша книга обладает двумя качествами редкими и драгоценными также и в данную минуту: во 1-х сжатость и насыщенность, во 2-х — простота, соединенная с науч-

ностью. Поэтому я думаю, что не только надо, но и совершенно возможно (несмотря на бумажный голод), выпустить книгу отдельными главами, так что из этой книги вышли бы четыре; вероятно, у Вас, если не в печатном, то в рукописном виде есть такие же главы и об английском, немецком, французском театрах и т. д. Эти книжки, мне кажется, должны получить и получат самое широкое распространение и способны стать одним из «сеаамов», о которых я все думаю, потому что закладка их — не либерально-интеллигентская, не «высокомерно-популярная», а научная и художественная. Простите, что не могу воздержаться от высказывания своих впечатлений, очень уж я лично благодарен Вам за эту книгу. Не согласится ли Историко-Театральная Секция приступить к ее изданию?

Искренно преданный Вам

Ал. Блок.